ББК 82.3(4)
Д72

Редакційна колегія:
В. П. Андрущенко (голова),
Б. І. Андрусишин, В. П. Бех, Г. І. Волинка, Л. І. Мацько,
В. Ф. Погребенник (відповідальний секретар)

Упорядкування та примітки — В. Ф. Погребенник

Драгоманов, Михайло.
Д72 Вибрані праці [Текст] : у 3 т. [у 4 кн.] / [редкол. : В. П. Андрущенко (голова) та ін]. — К. : Знання України, 2006— . — ISBN 966-316-148-5.
Т. 2 : Фольклористика. Літературознавство / [упорядкув. та прим. В. Ф. Погребенника]. — 2007. — 439 с. ; 21 см. — 1000 пр. — ISBN 978-966-316-199-0.

Нове видання вибраних праць Михайла Драгоманова покликане розкрити перед читачами енциклопедизм ученого — історика, філолога, культуролога й публіциста, борця за ідеали прогресу і свободи в усіх її виявах, познайомити читачів із виданими на батьківщині та за кордоном, у політичній еміграції з царської Росії, центральними працями в непроминальному доробку мислителя.

ББК 82.3(4)+83.34

ISBN 978-966-316-199-0

© Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова, 2007.
© Погребенник В. Ф., примітки, 2007.

МАЛОРОССИЯ В ЕЕ СЛОВЕСНОСТИ

[Рец. на кн.:] Малороссия (Южная Русь) в истории ее литературы с XI по XVIII век. И. Г. Прыжов.

Воронеж, 1869

Оставаясь на точке зрения чисто научной, никто не станет отвергать значительного участия Малороссии в образовании русской культуры, ни вообще южнорусских попыток на литературно-культурное развитие до XVIII века, когда, под влиянием перемещения правительственной централизации, культурные центры России перешли на север, в Петербург и Москву, когда русская культура и литература получили надолго или подражательное или абстрактное европейское направление, или если и стали получать национальную основу и направление, то почти исключительно великорусское. Новейший труд г. Прыжова представляет, несмотря на всю краткость его содержания, довольно полный указатель к старой южнорусской литературе и к тому, что о ней было писано (хотя не без некоторых, незначительных впрочем, промахов); вместе с тем автор дает в сжатом очерке довольно удовлетворительную характеристику разных эпох и памятников литературной истории Южной Руси. Наша литература так бедна сочинениями касательно Южной Руси, что уже поэтому нельзя не обратить внимания на очерк г. Прыжова. Но кроме того, по поводу этого очерка мы считаем нелишним представить, конечно, по необходимости сжато и кратко, несколько добавочных соображений и фактов о предмете, который, несмотря на его важность, весьма редко обращает на себя внимание нашей печати.

Значение Малороссии в русской истории и жизни до сих пор еще хорошо не выяснено в общем сознании. На нее смотрят или как на одну из незначительных провинций России, которая ничем особенно не отличается от других, или как на край, который если и имел своеобразную историю и сохранил многие отличия, то эта история и эти отличия имеют слишком местный интерес, как, напр., особенности истории и

быта какого-нибудь бывшего казанского или астраханского царства. Но весьма редко смотрят на Малороссию как на страну, имеющую оригинальные особенности и в тоже время общие всему русскому миру, только своеобразно[го] развития черты истории и быта, не будь которых история и даже нынешнее состояние всей Руси было бы далеко не таково, как теперь, и которых роль еще далеко не кончена, а которые, напротив, призваны играть немаловажную роль в будущем России, ибо Малороссия по своему положению, этнографии и истории есть переходный член от России к юго-западному славянству, а следовательно, и вообще к юго-восточной Европе. В недавнее время внимание общества обратилось на западные окраины России, в том числе и на Малороссию, но это не привело еще пока к лучшему ее пониманию, а скорее даже удалило от этого понимания, потому что в последнее время стали слишком часто объяснять всякого рода отличия Малороссии от внутренней России польским влиянием. Между тем такой взгляд наполовину ложен, а на другой, при более внимательном рассмотрении прошлого и настоящего Малороссии, — влияние на нее Польши окажется далеко не исключительно гибельным, ибо это влияние было проводником европейского влияния вообще, которое шло из Польши не только в Малороссию, но и в Москву, и здесь представляло начало того культурного наплыва Европы на Россию, который особенно проявился в петровское время и которого благодетельности для России окончательно отрицать не решаются и самые крайние славянофилы. Наша Академия наук вот уже другой год задает тему для соискания премии "Об отношениях Польши и России", не только политических, но и культурных, — и, без сомнения, разъяснение значения последних было бы особенно желательно, причем не обошлось бы дело и без разъяснения культурного значения Малороссии в русской истории, которое сознается вообще слишком мало.

Нельзя сказать, чтоб об нем не было вовсе ничего говорено в нашей ученой литературе, а затем не говорилось и в жизни. Но опять нельзя сказать, чтобы об этом было говорено достаточно полно и даже чтоб вопрос об этом был поставлен удовлетворительно. Все знают, что просвещение Руси началось на юге, в Киеве, что здесь было раньше распространено христианство, что здесь началась письменность, здесь писались летописи, пели Боян и автор "Слова о полку Игореве". Но, говоря о таких проявлениях умственной жизни в Южной Руси в древнее время, мы не представляем себе эту Русь в реальных образах: мы представляем ее только как отвлеченное географическое понятие и, кроме того, полагаем, что после, с татарским погромом, все эти начала цивилизации так и пропали бесследно. Между тем по своим чертам Киевская Русь Владимира, Нестора и автора "Слова о полку Игореве" была тоже юго-западная Русь, которая в слегка измененном виде жила и живет и теперь под именем Малороссии, и если в ней раньше началось развитие цивилизации, то это обстоятельство должно же проявляться и в нынешнем состоянии тамошнего народа; если так скоро после принятия христианства Киевская Русь произвела Нестора, Мономаха, "Волынскую летопись", "Слово о полку Игореве", то должен же был во всем этом принять участие и характер народа, населявшего и населяющего всю эту страну, а не одна только относительная близость к Византии и к юго-западной Европе вообще, хотя и она в свою очередь, не могла же не повлиять на восприимчивость народа к цивилизации.

Все знают также, что Юго-западная Русь, сначала Острог с Волынью, а потом опять Киев стали еще раз рассадником литературы и образования для всего русского мира, с половины XVI до половины XVIII века. Все знают имена Константинов Острожских, Петра Могилы, Дмитрия Ростовского, Лазаря Барановича, Феофана Прокоповича и др. Но, во-

первых, никто почти не знает, какая связь существует между деятельностью этих южнорусских людей XVI-XVIII в. и деятельностью южнорусов XII-XIII в., что появление этих просветителей XVI-XVIII в. было возможно именно вследствие непрерывности просвещения и сношений с образованным миром Южной Руси с древних времен и до XVIII в. Во-вторых, мало кто знает связь деятельности названных замечательных лиц с народом, их родившим. И как относительную просвещенность Южной Руси XII-XIII в. объясняют только византийским влиянием, так в литературе и образовании этой Руси XVI-XVIII в. видят только результат латинско-польского влияния, признавая в ней национальной стороной только одну защиту православия. Во всей этой литературе видят один только подражательный, или церковный, характер, забывая тесную связь тогдашней южнорусской школы и церкви с жизнью и забывая также, что если бы все тогдашнее литературное движение было только подражательно-наносное, схоластическое, то оно не могло бы породить таких русских и таких светских общественных деятелей, каков был, напр., Могила в Южной Руси, Дмитрий Ростовский и Феофан Прокопович в Северной.

Таким образом, в культурной истории Южной Руси неполно понимаются даже и те стороны ее, которыми она оказала влияние на весь русский мир, которые принесли плод даже и на севере Руси. А между тем и в южнорусской политической истории и в истории южнорусской литературы обращают внимание почти исключительно только на те стороны, которыми она соприкасается с историей Руси Московской, развившей наше нынешнее централизованное государство, в котором теперь сложилась и та цивилизация и литература, которыми мы живем теперь. Так, в политической истории Южной Руси мы следим только за группировкой разных племен под властию династии, из которой произошли и цари московские и всея

Руси, и как только эта династия перестает править на юго-западе Руси, мы оставляем историю этой земли, обращаясь к ней только тогда, когда она начинает ломать связи с Польшей и входить под власть династии московских наследников шапки Мономаха, и принимаем царство последних за единственный тип русского государства и общества. Между тем в политической и общественной жизни Руси Владимира Мономаха и Богдана Хмельницкого было немало такого, что, пожалуй, не вошло в струю жизни Московского царства и вышедшего из него нынешнего нашего политического и общественного строя, но что представляет во всяком случае любопытные политико-социальные попытки значительной части тоже русского племени, что оставило по себе глубокие следы в народном характере и быте на значительной территории русского государства и что еще, быть может, пригодится в свое время для социально-политической истории России, как пригодилось пресловутое "русское" (южнорусское) упорство для спасения Юго-западной Руси от унии и Польши*. Так точно и в литературной истории юга России мы ценим, собственно, только сохранение традиций письменности до тех пор, пока она утвердилась в Москве и Петербурге, при помощи правительства, уже в XVIII в., и весьма мало интересуемся содержанием этой письменности, делая исключение только для Нестора и "Слова о полку Игореве", забывая, что, напр., последнее могло развиться только на почве народной поэзии, которая и до

---

* "Упартый, як русин", — говорит польская пословица согласно и с нашей поговоркой "упрям, как хохол". Русин, старое название русского, сохранилось в названии народа Юго-западной, или Малой, России. Название это неправильно считают у нас иногда наносным, выдуманным поляками для отличия *русинов* от *русских*. Правда, что прилагательное от первого правильно — *руський*, а не *русинский*. Для примера галицкое народное четверостишие: "Ой *русине, русине, руснаку*-небоже, не бойся ты баламута, *Руський* Бог поможе".

сих пор на юге России сохраняет близость свою к этому памятнику русской поэзии XIII в., и что "Слово" это, собственно, не оказало ровно никакого влияния на последующее литературное развитие севера Руси (если не считать подражательной "Задонщины") и не имеет с ним ровно никакой связи. Между тем живость и драматизм южнорусских летописей, особенно Волынской, богатство хоть бы одной мемуарно-исторической литературы на юге России в XVII-XVIII в., в то время, когда литературы или почти вовсе не было на севере Руси или она приняла высокопарный, псевдоклассический характер, все это если и мало повлияло на ход развития литературы, которую, faute de mieux*, мы считаем за общерусскую, то представляет, по крайности, любопытное проявление умственных сил народа, которые вряд ли навеки осуждены на безмолвие.

Книжка г. Прыжова любопытна в том отношении, что, несмотря на свою неполноту и краткость, несмотря даже на некоторые ошибки, она часто гораздо яснее передает ход и характер литературной истории Южной Руси, чем довольно обширные курсы русской истории и истории русской литературы; при этом литературная история Южной России как в древнюю пору, так и в XVI-XVIII в. не представляется у г. Прыжова отдельно от жизни и характера народа и теперь населяющего эту область.

Г. Прыжов начинает свою книжку с обзора местности, занимаемой южнорусским племенем, и языка, которым оно говорило и говорит. Автор высказывается за древность и самобытность южнорусского языка, ссылаясь на известнейших русских и иностранных лингвистов, которые о нем писали: Миклошича, А. Шлейхера, Ламанского, Срезневского, Лавровского, Максимовича, Головацкого и, нако-

* За браком *ліпшого (упор.)*.

нец, Бодянского. Затем г. Прыжов описывает старый Киев, средоточие Руси, которая уже с XIII в. стала называться *Украиной*, и широту отношений Киева с разным народом тогдашнего христианского мира, составляющую контраст изолированности, какой отличалось средоточие Руси северо-восточной до XVII в. Эти отношения всего лучше выражаются словами певца Игорева: "Ту немцы и венедици, ту греци и морави поют славу Святославлю". Нам кажется только, что автор несколько увлекся, назвав тогдашний Киев "старшим братом славян", а также, что автор, вслед за г. Костомаровым ("Черты народной южнорусской истории"), впал в ошибку, характеризуя старую киевскую жизнь по былинам владимирского цикла, в которых нет ничего южнорусского, кроме имен географических. По крайней мере, те женщины из былин и те удальцы (Марина и Чурило), по которым г. Костомаров характеризует жизнь горожан и дружины старого Киева, слишком великорусские типы, чтоб их переносить на юг.

Переходя собственно к литературе Малороссии с XI в., г. Прыжов указывает следы южнорусского языка в сборнике Святослава (1073), в грамотах и рукописях XII-XIII в., и притом, говоря о первом памятнике, выражается следующим образом: "Даже Буслаев[1], радикально отвергающий самобытность южнорусского языка, здесь как-то проговорился о *влиянии южнорусского писца* и по поводу **Ѥ**, которое в сборнике постоянно вместо **Ѥсть**, [и] прибавил: "Это по-малорусски" (Хрестоматия, 276, 278). Не знаем, откуда известны г. Прыжову взгляды г. Буслаева на южнорусский язык, но, по крайней мере, печатно московский профессор высказался далеко не в том смысле, как говорит г. Прыжов, и вот тому доказательство. В той же исторической хрестоматии, на которую указывает г. Прыжов, г. Буслаев говорит следующее: "Малорусское наречие отличается от великорусского самостоятельными этимологическими формами в

склонениях и спряжениях, замечательными по большей древности" (стр. 1630). На тех же страницах, на которые указывает г. Прыжов, г. Буслаев, комментируя "Изборник", вовсе не проговаривается, по поводу одного слова, о влиянии южнорусского писца, а говорит решительно: "Правописание Святославова "Изборника", в основе своей болгарское, подверглось значительным изменениям под влиянием южнорусского писца" — и указывает несколько примеров этих изменений. Еще более следов южнорусского языка находит г. Буслаев в "Слове о полку Игореве". В примечаниях к последнему г. Буслаев не только указывает эти следы, но и сравнивает целые выражения из него с выражениями малорусской народной поэзии, перенося в эти примечения сущность отдельной своей статьи: "Об эпических выражениях украинской поэзии" ("Хрестом[атия]", 600 и след.). Сближения, которые делает в этой статье г. Буслаев между "Словом о полку Игореве" и украинскими песнями, не оставляют никакого сомнения, что в "Слове" мы имеем дело с родоначальником украинских дум, сохранившихся с XVI в.

Как и следовало, г. Прыжов посвятил довольно места разбору этого любопытного памятника древней русской словесности и вместе одного из лучших образцов героического эпоса. Множество слов и до сих пор употребляемых в Малороссии: *година, туга, оксамиты, Днипре Словотуци* (Днипро Словут) и т. д., много форм языка, выражения, размер и по местам рифма точь-в-точь как в украинских думах, наконец, характер и дух — все это не оставляет никакого сомнения, что мы имеем дело с украинской думой XII века. Г. Прыжов приводит слова Белинского: "За южнорусское происхождение "Слова" говорит больше всего выражающийся в нем быт народа. Есть что-то теплое, благородно-человеческое во взаимных отношениях действующих лиц этой поэмы; особенно поразительны благородные отношения полов" (Бел., V, 87-88). Надо заметить, что эти слова

написаны Белинским в той статье, в которой он слишком строго отнесся к великорусской народной поэзии и изображаемому ею быту, особенно к былинам. В подтверждение близости "Слова" к украинской поэзии мы позволим себе привести из примеров сходства выражений, указанных г. Буслаевым, особенно выдающиеся. Вот как изображает певец "Слова" поле битвы: "Чорна земля под копыты, костьмы была посеяна, а кровью польяна, тугою взыдоша по русской земли", а вот те же образцы из украинской песни: "Чорна земля заорана и кулями посияна, билым тилом зволочена, а кровию сполощена". Вот из "Слова" изображение наступающего войска: "Чорныя тучи с моря идут, хотят прикрыти четыре солнца, а в них трепещут синии молнии. Быти грому великому", тот же образ в украинской думе: "Из-за горы хмара выступае, — выступае, выхожае, до Чигирина громом выгремляе, на украинську землю блискавкою блискае" и т. д. Знаменитый плач Ярославны есть не что иное, как песня украинской дивчины; а превосходный финал "Слова о полку Игореве" повторяется во многих украинских думах. Для примера укажем в сборнике г. Максимовича (1849) длиннейшую из украинских дум о возвращении запорожского гетмана Самуила Кишки из турецкого плена. Позволим себе сказать, что сравнение выражений поэмы XII в. и украинской поэзии было бы также уместно в статье г. Прыжова, как и сравнение языка "Слова" с малорусским.

Рассмотрев "Слово о полку Игореве", г. Прыжов упоминает о записанных уже в недавнее время украинских песнях и преданиях о временах дотатарских и татарском нашествии, между которыми особенную важность имеют дума о походе старшего князя-язычника в цареградскую землю (Кулиш, "Зап[иски] о Ю[жной] Руси", I, 172) и о службе в Цареграде (Мордовцев, "Сборн[ик]", 192). Краткость предположенного объема и вообще более библиографический, чем критический, прием отношения к народной поэзии заставили нашего

автора ограничиться только наименованиями этих обломков древнейшего творчества на юге России. Но мы позволим себе на них остановиться, обратив при этом внимание на то, что опущено г. Прыжовым потому что, ввиду недавно поднятого спора о происхождении былин так называемого киевского цикла, остатки эпоса великокняжеского в этой земле, где действительно происходили события русской истории великокняжеского периода, получают особенную важность. Дума о походе старшего князя-язычника в христианскую землю напечатанная в "Записках о Южной Руси" г. Кулиша (т. I, стр. 172-178), записана, по словам старого южнорусского этнографа Шишацкого-Ильича, от 80-летней старухи. Начинается этот рассказ прозою и после принимает вид обыкновенной украинской думы, как будто дума эта начала уже переходить в сказку. Это сказание-дума очень верно передает обстановку походов киево-варяжских князей на Цареград и упоминает богов Мокоша[3] и Посвистача, которому молятся, чтоб он "моря не турбовав". Море, однако, заволновалось, и князь-язычник должен был сознаться в бессилии бога своего и принял христианство. Дума эта возбуждает сомнение в своей подлинности именно упоминанием богов Посвистача и особенно Мокоша, которым трудно было сохраниться из столь древних времен; но если она была написана каким-либо грамотеем, то когда — сказать с точностью трудно. Заподозрить Шишацкого-Ильича в сочинении нет основания, хотя в прежние времена не считалось зазорным подделывать народные думы, примером чему служит г. Срезневский с его "Запорожской стариной" и думами, составленными по Рубану и Конисскому[4]. Дума могла быть составлена и в XVII в. каким-нибудь книжником и после приняла более народный склад.

Пока, впрочем, ничего положительного нельзя сказать ни за, ни против этой думы; ввиду же важности вопроса о форме, в какой остались у русского народа предания о

событиях киевского периода, желательно было бы, чтобы те, кто имеет возможность обследовать местность, в которой записал Шишацкий свою думу, поискали, нет ли в народе каких-либо стихов из нее или вариантов.

Другое предание, относящееся к древнейшим киевским временам, есть сказание о Кириле Кожемяке и убиении им змия, сходное с летописным сказанием об "Яне Усмошвеце", напечатанное тоже у г. Кулиша ("Записки о Ю[жной] Руси", т. II, стр. 27 и след.). Оно уже приняло характер прозаической сказки. Но от удельной эпохи Южной Руси в народе остались несомненные памятники в стихотворной форме, только не в виде былины или думы, а в виде колядок, в которых уже сглажены лица и события, хотя и остались общие черты быта удельного периода. Колядки, как праздничные песни, были первоначально, как и теперь, прославлением, обращенным к лицу, но теперь они остались только, так сказать, нарицательными прославлениями, а прежде, по крайности некоторые из них, должны были быть собственно обращенными к Богу или к князю, которого личные подвиги воспевались, и таким образом обрядовая песня принимала явно характер эпический (что можно замечать в поэзии всех почти народов). С течением времени эти "личные" песнопения обращались в нарицательные, и обрядовому их значению мы и обязаны тем, что в колядках остались черты древнейшего гражданского быта русского племени, как и древнейших его религиозных понятий*. Кажется, что на это значение колядок до сих пор не было

* Сколько-нибудь подробное указание этих последних не входит в нашу программу, но не можем не указать в галицких колядках несколько №№, рисующих чрезвычайно древние космические понятия, напр, в Чт[ениях] Московского] общ[ества] истор[ии] и др[евностей], 1864 г., т. I. с. 5, №7 — создание земли, неба и светил тремя голубями, которые достают из моря песок и золотой камень. Стр. 43, 53, 65 и др. — олицетворение солнца и других светил и название солнца Богом и т. п.

обращено внимания. Г. Прыжов называет в числе песен древнейшего происхождения напечатанную г. Костомаровым в "Малорусском сборнике" г. Мордовцева песню о походе в Цареград (стр. 92). Но эта песня — колядка, хотя в упомянутом сборнике она лишена характера колядки посредством откинутых от нее припевов. В "Сборнике галицких песен", изданном г. Головацким, между колядками есть два варианта песни, напечатанной г. Костомаровым, которые, сводя более характеристические стихи, мы представим для наглядности в следующем виде*.

Ой в чистім полі, близько дороги
Ой дай Боже!
Стоять намети білі шовкові,
А в тих наметах всі громадове,
Радоньку радять не єднакую;
Не єднакую, а троякую:
"Ой не справляймо на жони шуби,
На жони шуби, на дочки злото,
Але справляймо мідяни човна,
Мідяни човна, срібнії весла,
Та пускаймося на тихій Дунай,
Долів Дунаєм, під Царегород;
Ой чуємо там доброго пана,
Що платить добре за заслуженьку.
Ой дає на рок по сто червоних,
По сто червоних, по коникові,
По коникові, та й по шабельці,
Та й по шабельці, по парі суконь,
По парі суконь, та й по шапочці,
Та й по шапочці, та й по панночці.

В этой песне царь константинопольский уже стал просто добрым паном, в одном варианте — паном Петром, однако ж она слишком ясно рисует службу русских в числе варягов у императоров Византии. В одном из вариантов раду

* Чт. в Моск. общ. ист. и др., 1864, I, стр. 33, 67.

о походе рядят "молодцы", идя "рано з церковці", но как получение девушек в жалование за службу не совместимо с христианством, то следует думать, что церковь здесь заменила языческое моление перед походом. Другие колядки галицко-малорусские представляют подробности быта времен великокняжеских.

Такова, напр., колядка, изображающая поход воина, называемого "наш панок", на три дороги, в три земли*.

Одна дорога — та в Волоську,
Друга дорога — та в Німецьку,
Третя дорога — та в Турецьку:
З Волощини йде — волики веде,
З Німеччини йде — грошики несе,
З Туреччини йде — коники веде.
Ой воликами на хліб робити,
А грошиками війську платити,
А коніками з військом ся бити.

Названия земель тут, конечно, позднейшие, но обстановка похода и стих — *грошиками війську платити,* — очевидно, относятся к эпохе княжеской феодальной, а не к польской аристократической и не к разбойнической. К памяти о набегах относятся и варианты, изображающие "гордого пана", который сидит в шелковом шатре и к которому приходят три паны (теперь из Вены, стр. 65), и другие, представляющие молодца с тремя трубами (стр. 59). На удельные войны намекает и колядка об осаде города, многочисленные варианты которой называют Киев, Львов, Сандомир и т. п. (там же, 54, 62-65). Весьма характерна также колядка, представляющая отъезд пана в Сандомир суд судить. Песня спрашивает**:

Що ж йому дано за тоти суди?
— Ой дано ж йому та три селечка:

* Чт. в Моск..общ. ист. и др., стр. 61.
** Там же, стр. 33.

А в однім селі — старії люде,
А в другім селі — усе парубочки,
А в третім селі — усе дівочки.

Тут, очевидно, представляется галицкое боярство, производящее суд, по поручению князя, и получающее вознаграждение селами. Трудно теперь судить, на какое событие намекают варианты колядок, которые говорят о плене то "неверного", то "турецкого" царя, которого привозят в "русскую" или "чешскую" землю, в которой нет короля, но изображение в одном из вариантов "короля руського" относит эту песню к временам Данила и его сыновей (стр. 29-30). К временам Данила и, кажется, его молодости следует отнести и несколько колядок, изображающих возврат боярина из угорской земли. Вот характеристические места из важнейших вариантов этих колядок*:

В нашого пана, пана крайника,
Ей красні (о) в него і дворі його
Тисові сінці, яворови сходці.
Ходить, ей, по них молода княгиня,
На той княгині кований пояс,
На тім поясі золоті ремячки,
На тих ремячках мідяні ключі.
Мідні ключі тихо, тихо дзвініте,
Тихо дзвініте, — пана збудите!
Бо тепер пан наш з Угор приїхав;
А з Угор, з Угор, з Угорськой землі,
Зійшлися к нему вшитки панове,
Вшитки панове, його братове,
Сталися його вивідовати:
"Ой пане, пане, што там чувати,
Што там доброго в Угрох слухати?"
"Добре слишано, бо юж поорано
Юж поорано, злотом засіяно,

* Там же, стр. 11.

Пав'яним перцéм заволочено,
Золотим мечем загороджено"*.

В одном варианте пан, вернувшийся из Угор, называется пан Перемысльный (Перемышльский):

Перед ним пляше молоде паня,
На тим паняті рудая сукня (одежда).
На ноженьках ма'т шнуровани бітки,
На бочейках ма'т кований пояс,
На тим поясі жовті ремячки,
На тих ремячках золоті ключі,
На голові ма'т пав'яний вінок,
На ручейці ма'т золотий перстінек.

Пан, говорится в колядке, приехал с войны, но это, очевидно, позднейшее недоразумение; "в Угрох добре слухати", и описание того, что делается там, означает, что уграм заплачены деньги и что там собралось войско, которое блестит павлиными перьями на шлемах и стоит с поднятыми мечами. Если так, то песня говорит об ожидании помощи от угров, а "молоде паня" есть Данило, восстановленный на столе княжеском с помощью угров (следует, впрочем, заметить, что боярин Перемышльский, по летописи, был против Данила). Следующая колядка уже без всяких натяжек относится к аресту Ивана Берладника и таким образом передает и имя, и событие:

А там на лугах, на барз широких,
Там же ми горить терновий огник,
Сам молод, ей, сам молод!
Сам молодейкий на коничейку, сам молод!
Кол огня ходить широкий танець,
А в танці ходить княгиня Іванко,
На головойці сокола носить,
В правой ручейці коничка водить,

* Другой вариант: *обгороджено от злої тучи.*

В лівой ручейці гусевки носить.
Ніхто не видів, лем слиш панскі слузи;
Скоро ввиділи, пану доповіли:
"Ой ідьте, ідьте, Іванка зв'язіте,
Іванка зв'язіте, ту го приведіте,
Соколойка пустіте до соківниці,
Гусовки шмарьте до гусевниці,
Коничка вставте до коничейки,
Іванка всадьте до темничейки".
Соколик квілить, головойки хоче,
Гусевки граут, Іванка споминаут,
Коничок гребе, до поля хоче,
Іванко плаче, до милейкої хоче.

Вот все, что пока собрано из южнорусских преданий и песен о временах великокняжеских. Оно показывает, что на месте действия героев тех времен уже не сохранились былины и думы, т. е. стихотворные рассказы о событиях, а только сказки и колядки. Это отсутствие на юге былин и присутствие их на севере пробовали объяснить (г. Погодин)[5] тем, что нынешние малороссияне не жили в киевский период нынешней территории, на которой жили тогда великорусы. Эти великорусы, будто бы вытесненные татарским погромом, пошли на север Руси и распространились по его северным и южным окраинам, чем объясняется и то, что по этим окраинам, а не около Москвы и Суздаля, записана и большая часть былин. Малорусы же пришли из-за Карпат уже в XIV в. и, конечно, не могли сохранить преданий о киевском периоде. Но сказка о Кожемяке и приведенные нами колядки показывают, что предания эти сохранились. В колядках этих рисуется ясно быт времен великокняжеских: отношения к грекам, вече (громадове), походы, князья, боярство, домы и одежда тех времен рисуются гораздо ближе к действительности, чем обстановка великорусских былин, которая, как показано ясно г. Стасовым[6], не имеет вовсе сходства с действительностью

удельного времени, нет только, исключая Ивана Берладника, собственных имен, которые зато сохранились в великорусских былинах (Владимир, Ставр и др.). Это показывает, что сепаратистическая гипотеза г. Погодина о позднейшем пришествии малорусов не имеет основания, отсутствие же около Киева былин объясняется давностью времени и тем, что события и лица позднейшей демократической эпохи казацкой заслонили в памяти народа события и лица эпохи княжеско-дружинной. Имя самого Ивана Берладника осталось, может быть, потому, что Берлад был род тогдашней Сечи и что этот *изгой*-князь был окружен "худыми" людьми. Чем же объясняется присутствие киевских имен Владимира, Ставра и т. п. в былинах великорусских, при их дальнейшем, чем в южных колядках, внутреннем содержании от быта времен киевских, в этом теперь и состоит вопрос, который, конечно, мы не возьмемся решать.

Раннее разорение татарами Киева слилось в народном сознании с поздними татаро-турецкими набегами, а потому не оставило специальных песен и сказаний, если не считать отрывков, напечатанных в "Записках о Южной Руси", о защите Киева богатырем Михайликом, в котором г. Кулиш думает видеть известного боярина Дмитрия. Из времен литовских в печати известна только одна песня (про поход Малого Гирея, Менгли-Гирея)[7], которая, впрочем, дает полное основание предполагать, что их было гораздо больше. Да иначе и быть не могло, ибо народ Западной Руси в литовское время принимал достаточно большое участие в обороне страны от иноземцев. Любопытен характер этих остатков древнейших песен южнорусских, совершенно сближающий их с позднейшими думами. Южнорусская песня, которая сохраняет следы исторического события или эпохи, сохранила их в возможно конкретном виде, передавая или конкретные подробности быта, или события, или имя. Видно, что песню первоначально сложил народ, который

сам видел и принимал участие в событиях, а не слышал только о них, оттого он иногда удерживал скудные числом предания и черты, но ясные и конкретные, а не припутывал к ним чужих. Оттого даже в древнейших своих памятниках южнорусская поэзия сохраняет в сильной степени исторический, а не сказочный характер.

Г. Прыжов не мог, конечно, останавливаться долго на обломках литературы южнорусской времен литовских и, ограничившись доказательством русского характера государства и официального языка княжества Литовского, спешит перейти к временам столкновения южнорусов с поляками, к которым относится расцвет южнорусской литературы и народной словесности. "И вот теперь, — говорит г. Прыжов, — судьбы мира выводят на позорище истории южнорусский народ с его теплым и светлым христианством, народ, не ведавший ни расколов, ни ересей, чуждый всякой нетерпимости и фанатизма, необыкновенно богатый песнями, в которых слышится его доброе, любящее сердце, горячо преданное своей *матери Украине*, народ умный и честный, не ничтожный народ, а, напротив, хранитель начал высшей гражданственности. Тогда для южнорусского народа опять настало время борьбы *за русскую землю* и в течение этой борьбы в Южной Руси возникают *просвещение* и *поэзия*..." Все это правда, но не без некоторой односторонности. Г. Прыжов, при всем своем уважении к Южной Руси, все еще не окончательно отрешился от обычных отношений к ее истории, по которым последняя имеет только отрицательное, реакционное значение, значение *борьбы* против врагов — против кочевников в удельное время, против татар и турок в литовско-польское и против поляков в казацкое. Борьба борьбою, но в Южной Руси, как и во всякой стране, в которой раз возникло культурное движение, были и свои внутренние задачи общественной жизни и просвещения, которые возникали независимо от

борьбы с внешними врагами и даже прямо страдали от того, что все силы народа должны были направляться на внешнюю борьбу. Притом же, если борьба, напр. южнорусов с поляками, сопровождалась развитием просвещения, то это говорит в пользу того, что просвещение не "возникло" только как реакция во время борьбы, а было уже в известной степени в стране, которая понимала необходимость не одной только материальной, но и нравственной реакции чужому напору.

Следя в южнорусской литературной жизни только за проявлениями борьбы против чужого, г. Прыжов в истории литературы древнекиевского периода остановился только на "Слове о полку Игореве", но опустил летопись, начальную, киевскую и волынскую,[8] и такие памятники, как завещание Мономаха. А между тем в них видны те же черты южнорусской народности, которые с таким сочувствием изображает г. Прыжов в приведенных выше словах. Южные же летописи, особенно волынская (Ипатьевская), выдаются среди древнерусских летописей других областей особенною живостью и полнотою изложения, показывающего, что их составляли не удалившиеся вовсе от жизни монахи, "как дьяк в приказе поседелый", но близкие участники событиях описываемых. Эти летописи — прямые родоначальники тех хроник-мемуаров, которые велись в казацкое время и которые в общем весьма верно характеризованы и г. Прыжовым, а между тем он совершенно номенклатурно говорит о летописных памятниках исторической литературы Южной Руси, а некоторые и вовсе опускает, как, напр., Густынскую. Эта, во многих отношениях слабая, летопись любопытна однако ж потому, что доводит рассказ до 1597 г. и отличается начитанностью составителей в литературе польско-латинской (Длугош[9], Кромер[10], Вагнини[11]) и греческой (Омир[12]) и таким образом связывает древнейшее летописание южнорусское с поздним, кото-

рого представителями могут быть сочтены летописи южнорусские, изданные г. Н. Белозерским и доводящие рассказ до 1750 и 1783 г., а также с мемуарной литературой казацкой эпохи и с такими сводами, как Синопсис[13]*. Останавливаясь преимущественно только на таких памятниках, которые были проявлением борьбы южнорусов с иноземцами, г. Прыжов и в литературной истории XVI-XVII в. говорит обстоятельно (конечно, в пределах статьи) о полемической деятельности Киево-Могилянской академии, о вызванной казацкими войнами историографии, но почти ничего не говорит о литературном движении в Юго-западной Руси, предшествовавшем религиозной унии и казацкой реакции. Это движение имело центрами Вильну, Острог и Львов. До сих пор единственные сочинения, которые знакомят сколько-нибудь с этим литературным движением, — это г. Максимовича "Книжная старина южнорусская" во "Временнике", издаваемом Московским обществом истории и древностей российских, 1849 г., №№ 1 и 3, статья, имеющая, впрочем, преимущественно библиографический характер, и г. Костомарова "Южная Русь в конце XVI в." в III т. "Монографий". Сокращение из статьи г. Максимовича сделано им же в "Письмах о князьях Острожских" (Киев, 1866). Обе статьи дают возможность только предполагать, какой интересный пункт истории просвещения на Руси представляет литературное движение в Юго-западной Руси XVI в., но полного понятия о нем нельзя составить, потому что ни один памятник из напечатанных в то время не был издан вновь ученым образом теперь, а многое остается и до сих пор в рукописи, а все вообще пользуется у наших ученых и педагогов тем (просвещенным, конечно) невниманием, каким награждается у нас все, что относится к прошлому и настоящему

* Летописи изданные Н. Белозерским, тоже опущены г. Прыжовым.

Южной Руси, несмотря на то что она украшена тремя университетами и столькими же учебными округами. Впрочем, для размеров статьи г. Прыжова, для изображения общего характера литературной деятельности старой Малороссии достаточно тех данных, какие представляют названные статьи гг. Максимовича и Костомарова.

У нас вообще слишком односторонне смотрят на западнорусскую литературно-печатную деятельность XVI в. и делают из нее слишком односторонний выбор. На нее смотрят только как на православную реакцию пропаганде католицизма. Между тем литературное движение Литвы и Волыни в XVI в., правда, сосредоточивалось около религиозных вопросов, но было отражением литературного движения эпохи возрождения наук и реформации, общего всем тогдашним европейским странам, в число которых входила и тогдашняя Южная Русь, хотя, конечно, отражением слабейшим. Насильственный характер унии и казацко-крестьянская реакция надломили начавшееся литературное движение и сократили его в борьбу за догматы православия, с каким характером является преимущественно литература киево-могилянского периода. Но более раннее литературное движение имело более широкий характер. На тогдашнем русском (западнорусском) литературном языке, развившемся на почве малорусского и белорусского наречий, писали и католики, и протестанты, как и православные. И дух, пропаганды и свойственное времени реформации внимание к массам народа побуждали тогдашних писателей оставлять латынь и церковнославянщину для языка русского; хотя, с другой стороны, необходимость обращаться к европейскому общественному мнению заставляла борющиеся религиозные и политико-национальные партии писать и полатыни, а нападки католиков и протестантов на непонятность церковнославянского языка и сильная подмесь к

тогдашнему церковному языку западной Руси чужих слов заставляли многих ревнителей православия изучать и обрабатывать свой церковный язык и священные книги и при этом обращаться для сверки к языку греческому. Словом, XVI в. вместе с началом XVII-го для Южной Руси, как и для всей современной Европы, был веком переводов священного писания на народный язык, изучения латинских и греческих отцов и писания политико-религиозных памфлетов, вроде *либеллов*, которыми так богаты литературы Европы в упомянутое время.

Первая книга, напечатанная на русском языке, была "Библия Русска", переведенная с "Вульгаты" католиком доктором Франциском Скориною из Полоцка, вышла в Праге в 1517-1519 г. иждивением виленского мещанина Богдана Онькова. Она предупредила чешский перевод библии (1555) и польские (1561 и 1563 г.). Церковнославянские книги "Часослов", "Псалтырь", "Октоих" и "Триодь" были напечатаны Швайпольтом Фиолем еще в 1491 г. в Кракове, откуда печатник, обвиненный в ереси, бежал в Венгрию. В 1525 г., уже в Вильне, Скорина напечатал в типографии, заведенной в доме бурмистра Якова Бабича, "Апостол", "Псалтырь", "Акафисты" и др. В 1562 г. в Несвиже напечатан "Катехизис для простых людей языка русского", сочиненный кальвинистом Симоном Будным с товарищи, иждивением кн. Николая Рад[з]ивилла Черного. Вот первенцы печати церковнославянской и русской, начало которой обыкновенно несправедливо ставят в 1563-1564 г., когда Иван Федоров с товарищами напечатал "Апостол" в Москве. Московские печатники, обвиненные в ереси, бежали к гетману литовскому и воеводе русскому (киевскому) гр. Ходкевичу, который завел типографию в Заблудове (Гродн[енской] губ.) выпустившую "Евангелие" и "Псалтырь" в 1568-69 гг. Федор переселился, по смерти гетмана, во Львов, где издал "Апостол", первенца печати червоно-

русской в 1573-74 г., а потом в Острог — к кн. Конст. Конст. Острожскому, где, после сверки с греческим текстом, был издан по-церковнославянски "Новый Завет" и "Псалтырь" 1580 г. До 1616 г., когда основана была типография в Киеве, на Руси было напечатано, по счету г. Максимовича ("Книжная старина", продолж. в "Киевлянин", 1850), 112 изданий, из коих в Литве — 12, в Галиции и на Волыни — 42, в Москве — 28. В этой печати принимали участие далеко не одни только православные, а и католики и протестанты. Вообще влияние последних на тогдашнюю Юго-западную Русь было довольно сильно, даже на православных. Об этом свидетельствуют письма кн. Конст. Конст. Острожского, который называл кальвинистов "последователями истинного закона Христова". Когда был поднят вопрос об унии, кн. Острожский писал известному Поцею[14], что он одобряет мысль соединения православных с католиками, но считает унию правильною только тогда, если бы и другие православные, близкие к южнорусам, москвичи и волохи приступили к соединению. Для этого он предлагал владимирскому епископу ехать в Москву, а львовскому — к волохам. При совместном заключении унии кн. Острожский предлагал многое исправить и изменить в церковном устройстве, обрядах, в учении относительно св[ятых] тайн и "отделить от церкви человеческие вымыслы". Поцей не считал что-либо нужным менять в тогдашнем православии, в Москву же ехать решительно отказался, опасаясь "с таким посольством попасть под кнут". Вскоре после брестской унии вышло сочинение "Апокрозис"[15] русина и православного Христофора Бронского, который требовал равного свободного участия светских людей в делах веры наравне с духовными, а учение о безусловном повиновении духовенству называл "наукою и рассказанием не христианских, але жидовских докторов, рабинов и рабасов, которые в "Талмуте" бесчисленное количество глупых и брыдливых, Божему прирожде-

ному и писаному праву противных фальшов и кламств* написавши, под потоплением тому всему своим жидам верити росказали, оже бы ся до обаченья приходити не могли".

В Южной Руси издавна светские люди участвовали в выборе священнослужителей, а Бронский требовал права паствы и низлагать их. Некоторые готовы видеть в Бронском признак только упадка православия вследствие отпадения духовенства в унию, а в словах Острожского — признак ослабления православия вследствие неустройств церкви и слабости просвещения православного духовенства. Но едва ли не правильнее будет видеть в приведенных мыслях Острожского и Бронского, которые оба были ревнители православия, признаки сильного возбуждения мысли в южнорусском обществе XVI в., которое хотело, не отрываясь от ставшей национальною веры, произвести в ней преобразования и дать простор личной совести и уму, а также черты православно-реформационного, чуждого узкого сектанства, свободомыслия, свойственного южнорусам вообще.

Проявление идей реформации и возрождения затронуло близко и другие важные вопросы в Южной Руси: отношение светского образования к духовно-аскетическому и вопрос о языке для богослужения. О положении этих вопросов в умах русских людей в XVI в. можно судить по обличительному сочинению монаха Иоанна из Вишни[16], напечатанному с рукописи Публичной библиотеки, в "Актах Южной и Западной Росии", II т. Православный монах жалуется на чтение Платона и Аристотеля и "других подобных им машкарников и комедийников", жалуется на светскость высшего православного духовенства, на отступление его от строгой воздержности. Очевидно, что и в Южной Руси происходило то же, что делалось в Европе в

* Брехень (упор.).

эпоху возрождения и реформации. Чтение языческих писателей возбудило между прочим свободомыслие, которое не нравилось благочестивым людям. Это свободомыслие, приводившее многих к реформационным идеям, попадая в сферу богатого духовенства, соединилось с непосредственным сенсуализмом и материалистическим скептицизмом, свойственным всем эксплуататорам, подрывало окончательно узы традициональной морали, сдерживавшие в известной мере эгоизм и чувственность. Так было некогда с католическими прелатами-язычниками времен Александра VI и Льва X, так было и с аристократами времен регентства и Людовика XVI. А этот разврат официальных блюстителей морали вызывал в благочестивых людях реакцию против идей, которыми он прикрывался, но в то же время наводил их на мысли о необходимости реформировать церковь и общество, и таким образом реакционеры сходились с свободными мыслителями, как сходились в мысли о необходимости реформы в католицизме и классики Макиавелли и Цвингли, и суровые монахи Саваноролла и Лютер. Очевидно, что нечто подобное, хотя в меньшей степени, творилось и в южнорусском обществе XVI в., и Иоанн из Вишни обличал духовенство своего времени не хуже протестантов и Христофора Бронского. Светское образование и чтение классиков подкапывалось под церковнославянский язык, который тоже защищает Иоанн из Вишни. Под него шел подкоп с двух сторон. Верные своему стремлению распространения веры в массах протестанты и в Западной Руси взялись за народный язык, стараясь на нем изложить вероучение и священное писание, оставив церковнославянский язык как малопонятный народу, хотя по духу пропаганды могли прибегать к этому языку как к средству влияния на православных. С другой стороны, иезуиты, опираясь на важность латинского языка как связи в то время всех образованных народов

Европы, старались эксплуатировать эту важность в пользу католической латыни и против церковнославянского языка (Скарга[17] "O jedności wiary"). При этом дух интриги и пропаганды заставлял и иезуитов прибегать и к народному русскому, и к церковнославянскому языку, хотя и тот и другой в большинстве случаев был им ненавистен. Ревнители православия по реакции должны были крепче прилепиться к церковнославянскому языку как к внешнему признаку православия. "По дьявольскому навождению, — говорит Иоанн из Вишни, — славянский язык обмерзел многим: его не любят и хулят; но он есть плодоноснейший и любимейший Богом язык человеческий именно за то, что на нем нет ни грамматики, ни риторики, ни диалектики, ни прочих коварств дьявольского тщеславия". Издательская деятельность в Остроге и потом в Киеве имела целью поддержание церковнославянского языка, причем киевские деятели на наивной защите Иоанна из Вишни не остановились, а почувствовали необходимость для церковнославянского языка грамматики, риторики и диалектики, а вообще для православного человека — науки. При этом необходимость вести борьбу за веру и народность заставила православных прибегать и к латинскому и польскому языку (М. Смотрицкий, П. Могила). Неизвестно, чем бы кончилась эта борьба вер и языков в Юго-западной Руси, если бы ей предоставлено было свободное развитие, но насильственные меры в пользу унии привели к преобладанию католицизма и польского языка в дворянстве, усилили реакцию в пользу церковнославянского языка в небольшом числе оставшегося православного духовенства, а национально-сословная вражда масс к шляхте сблизила их с православной партией в духовенстве, так что умственное религиозное движение XVI в. сильно сузилось. Впрочем, оно не осталось вовсе без следов: язык литературы киево-могилянского периода все-таки прибли-

зился к народному, известная доля прежнего свободомыслия давала возможность развиться достаточно сильной терпимости, даже в духовенстве, как можно видеть на примере таких людей, как Феофан Прокопович; на нем же и даже на таких лицах, как Дмитрий Ростовский, можно видеть, что не прошло без следа для южнорусского общества и то знакомство со светским, классическим образованием, которое проникало из Италии и Германии в Польшу и Западную Русь в XVI и XVII в. Политическая и социальная борьба с Польшею вызвала богатое развитие исторической литературы и поэзии, известное же сближение веры с жизнью вызвало зародыши национальной драмы.

Деятельность Киево-Могилянской академии, равно как и историческая и драматическая литература XVII и XVIII в. в Южной Руси характеризованы сжато, но довольно полно в брошюре г. Прыжова, котя и местами и недостаточно систематично. Г. Прыжов дает довольно большое значение казачеству, даже в умственной деятельности Южной Руси. Г. Прыжов выражается так: "Несправедливо говорили ляхи, что казаки — это ни больше, ни меньше, как разбойничья шайка, несправедливо писал и Самойлов[18], что запорожцы — это мамилюки, разбойники, бродяги, развращенные", и, наконец, сами историки великорусского народа говорили, что казаки — это не что иное, как искатели зипунов" (стр. 43). Историк политический не может не ценить Запорожья в деле поднятия знамени русской народности, оставленного южнорусским дворянством скоро после унии, и в деле сближения с крестьянством казачества, которое было до того отдельным сословием и восставало прежде (бунт Косинского) только за свои сословные права. Обе стороны значения Запорожья делаются заметными с эпохи Сагайдачного и окончательно проявляются во время Богдана Хмельницкого. Но казачество не оставалось без

влияния и на ход литературного развития Южной Руси. "В это время, — говорит г. Прыжов, — в Южной Руси совершается необыкновенно замечательное явление. Церковь и гражданин соединяются в одно: монах подает руку воину. Вся прошедшая жизнь приводила к тому, что монах часто становился в ряды казаков, а казаки делались монахами. Монахи благословляли казаков на битву, они же святили ножи, и в тоже время запорожец шел в монахи, а войсковой судья вдруг делался митрополитом. Монах и казак однаково были гражданами своей земли, одинаково служили просвещению, заводили школы, изучали свою историю, занимались поэзией.

Тим-то і сталась по всему світу
Страшенная козацькая сила,
Що у вас, панове молодці,
Була воля і душа єдина!..

Этот братский союз всей земли сказался особенно в двух великих людях Южной Руси начала XVI в., в гетмане Петре Конашевиче Сагайдачном и киевском митрополите Петре Могиле. Гроза турок и татар, суровый Петр Конашевич Сагайдачный дает сиротствующему киевскому престолу митрополита Иова Борецкого, на свой счет возобновляет Богоявленское киевское братство, учреждает фундацию на школу братства львовского, и рука, которая вчера еще громила турок, теперь пишет объяснение на унию". Петр Могила — сын Семеона Могилы, бывшего господарем Молдавии. Родился он в 1597 г. и, по преданию, воспитывался в Париже, потом служил в польских войсках и участвовал в битве с турками под Хотиным (совместно с Сагайдачным). В 1626 г. он является в Печерском монастыре, а в 1628 г. избран митрополитом. Он сам так рассказывал о своей деятельности: "Когда Бог благословил мне быть пастырем столицы митрополии киевской, и прежде того еще архимандритом Печерской Лавры, — с того времени,

видя упадок *благочестия* (православия) в народе русском ни от чего иного, как от того, что не было никакого наставления и науки, я положил обет мой Господу Богу, все мое имущество, доставшееся от родителей и что только, за должным удовлетворением святых мест, мне вверенных, останется от доходов с имений, им принадлежащих, обращать частию на обновление разрушенных домов Божих, которых жалкия остались развалины, и частию на основание школ в Киеве, прав и вольностей народа русского". Известно, что Петр Могила полнил свой обет, как об этом свидетельствуют учреждения братской школы, превращенной потом в Киево-Могилянскую коллегию, печерской типографии, литературная деятельность и деятельность на сеймах в пользу православия, поддержанная казаками.

Близости духовенства с казачеством, а следовательно, с массами народа, следует приписать проявление жизненности в южнорусской литературе XVI-XVIII в., которая иначе грозила остаться исключительно схоластической или псевдоклассической. Несмотря на приверженность к церковнославянскому языку, киевское духовенство в конце XVI в. приготовило изложение православного исповедания на малорусском наречии, на печатание которого получило дозволение от московского патриарха Адриана. В других родах литературы струя жизненно-народная была еще сильнее. Вследствие жизненности религии в Южной Руси, как несколько раньше в Западной Европе, создалась церковная драма, которая все больше принимала народный характер и переходила в политическую драму и даже комедию. Уже вертепная драма, времен Сагайдачного (1600-1620 г.), написанная на церковнославянском языке, вставляет интермедию на народном языке и в число действующих лиц вводит не только Ирода и компанию, но и лиц из народа, поляка, казаков, вводит и народную песню:

Да не буде лучче,
Да не буде краще,
Як у нас на Україні, —
Що не має жида,
Що не має ляха,
Не має Унії.

Драма Феофана Прокоповича "Милость Божия, Украину через Богдана Хмельницкого освободившая и возвеличившая", представленная в Киеве в 1728 г., есть уже народно-политическая драма. В комедиях и мистериях Довгалевского[19], учителя пиитики в Киеве (1736), выводятся казаки, литвины, москали, ксендзы, жиды, поляки, живые лица, говорящие живым языком, а сцена, изображающая ляха-пана с литвинами (белорусами) — подданными, представляет решительный протест против крепостного права, которому подобного тщетно бы мы стали искать в тогдашней аристократически-придворной литературе северной России, равно как и такой жизненности изображений! Церковная драма переходила с юга России и на север, но здесь она не пользовалась благорасположением и оставалась в тесных библейских рамках. Скоро она заменилась театром псевдоклассическим, тоже чуждым жизни народной и русской, каким он оставался до самого XIX в. На юге России обстоятельства не позволили развиться более совершенной народной драме, и хотя попытки Котляревского представляют любопытные для своего времени (конец XVIII и начало XX в.) опыты народной драмы и комедии, довольно родственной старым опытам, но, к сожалению, малорусская сцена дальше не пошла, несмотря на то что народная жизнь, песни и история полны драматических сюжетов.

Другая сфера литературной деятельности в Южной России уже прямо обязана своим развитием казачеству. Это историография, богатство которой в XVII и начале XVIII в.

представляет такой контраст бедности национальной историографии в тогдашней северной Руси. Далеко не все памятники историографии Южной Руси дошли до нас, не все из того, что уцелело, издано, а все почти не пользуется вниманием нашей науки и школы, а потому едва известно по именам. А между тем одно перечисление важнейших памятников этой историографии указывает на их значение. Это "Летопись Самовидца о войнах Хмельницкого", "Диариуш" Самуила Зорка , писаря в Коше, не дошедший до нас, но послуживший источником Величку; "Сказание о войне казацкой" Величка, реестры всего войска запорожского, бывшие в руках Максимовича и им описанные, но до сих пор не изданные и, по всей вероятности, пропавшие (г. Прыжов, кажется, считает их напечатанными), летопись Максима Плиска, доведенная до 1780 г., Григория Грабянки "Небывалая брань Б. Хмельницкого с поляками", Марковича записки[20], "Диариуш" Ханенка, "История русов" (псевдо) Конисского и т. д. Отличительная черта исторических сочинений южнорусских — большое внимание к актам, которые иногда целиком приводятся в сочинении, а через то значительная обстоятельность. При этом весьма многие авторы обладали значительною для своего времени начитанностью, знакомством с всеобщей историей, с польскими и литовскими хрониками, русскими летописями, важнейшими историко-политическими трактатами западноевропейской литературы, напр. "Историей Германии" Пуффендорфа и т. п. Замечательно, что относительная ученость не мешала прелестной наивности рассказа, которою особенно отличается "Сказание Самуила Величка", представляющее, бесспорно, одно из лучших произведений старинной русской историографии. Это сказание, равно как и "История русов", превосходит все остальные произведения южнорусской литературы XVIII века.

Г. Прыжов кратко характеризует их, и мы имеем только два возражения против его слов: первое — что он напрасно отдает последнему произведению первенство в южнорусской историографии, а во-вторых, что он напрасно оспаривает мнение г. Максимовича, ныне признанное всеми, что "История русов" писана не Конисским. Промахи и противоречия ее с другими сочинениями, несомненно принадлежащими Конисскому, слишком явны; притом же сам Конисский не говорит, что он писал "Историю русов". На это произведение надо смотреть как на памфлет в пользу прав и вольностей русов, т. е. малороссиян, памфлет, местами чрезвычайно едкий и даже художественный (напр., там, где он изображает насилия, производимые солдатами, по словам которых, "куры, гуси, девки, молодицы, все наше, по праву воина и по приказу его благородия"), а не как на внешне фактическую историю, тогда он составит незаменимый памятник состояния просвещения и политических идей Малороссии в половине XVIII в. Но, к сожалению, с этой точки зрения "История русов" не была никем рассмотрена. Нам казалось бы, что теперь, когда печатаются речи и записки малороссийских депутатов в комиссии 1767 г., в которой они защищали равноправность сословий и свободу крестьян, настало время оценки и "Истории русов", которая была передана Конисским роменскому депутату Полетике как руководство истории его родины, необходимое для справок члену комиссии составления законов. По поводу Велички мы сделаем только одно замечание г. Прыжову, что он напрасно называет Величка войсковым писарем (стр. 32). Войсковый писарь был чин генеральный и соответствовал канцлеру или министру иностранных дел, — Величка же был просто канцелярист гетманской канцелярии.

Если конец XVII и начало XVIII в. в Малороссии изобилуют историческими сочинениями лиц, близко участвовавших в событиях казацко-украинской истории, то вторая

половина XVIII в. обильна сводами исторических сведений о Малороссии и ее географическими и статистическими описаниями. Из последних особенно важно многотомное румянцевское описание Малороссии[21], послужившее материалом для Чепы, — "Записки о Малороссии, ее жителях и произведениях" (1798) и Шафонского "Краткое географическое и историческое описание Малой России" (1786). Румянцевское описание Малороссии составлялось коммиссией с 1765-68 года. Конисский говорит, что оно нечаянно уничтожилось, но г. Лазаревский[22] нашел из нее в архиве черниговской казенной палаты 148 фолиантов около 1000 листов каждый, обнимающих полки Черниговский, часть Киевского, Нежинский, Стародубский, часть Прилуцкого и Смелянскую сотню Лубенского. В настоящее время эти томы находятся в библиотеке черниговского губернского статистического комитета и часть из них (полки Нежинский, Киевский и Черниговский) описаны г. Ал. Лазаревским ("Обозрение Румянцевской описи Малороссии", изд. черн[иговской] губ[ернской] стат[истической] ком[иссии], вып. I и II, Чернигов, 1866 и 1867 г.). В обработке истории Малороссии принимали участие и малороссияне, воспитанники киевской академии, как Симоновский (учившийся потом за границей), Бантыш-Каменский, Рубан и другие, так и иностранцы Ригельман[23] (поселившийся в Малороссии) и Миллер[24]. Централизация образования в Москве и Петербурге отвлекла к концу XVIII в. умственные силы Малороссии, а с другой стороны, пособия правительства обратились на изучение истории Руси Московской, а потом так блистательно начатое изучение судеб Южной России ослабело. Как ни почтенны в своем роде труды Бантыша-Каменского (младшего) и Н. Маркевича для истории Малороссии, но их нельзя поставить наряду с современными им трудами по истории северной Руси, и едва ли не следует упрекнуть г. Прыжова в преувеличении, когда он говорит,

что Д. Н. Бантыш-Каменский обессмертил себя историей Малой России. Да и трудно было, и трудно до сих пор равняться изучающим историю и жизнь Малороссии с изучающими Русь северную. Последние издавна воспитывались в лучших учебных заведениях, университетах, которые Южная Русь получила позже, опирались и опираются на правительственные пособия, на ученые общества, занимали и занимают университетские кафедры на севере и юге России, имеют органами своих трудов журналы, сосредоточенные в Петербурге и Москве, которые, хотя и сбываются в немалом количестве на юге России, однако ж (что, пожалуй, и естественно, хотя не совсем справедливо), имеют в виду удовлетворение интереса ближайшей к ним публики и весьма редко помещают статьи по истории и этнографии мало знакомого им юга России. Люди, изучающие жизнь Малороссии, были прежде воспитанники духовных заведений, отставшие в образовании от воспитанников университетов, потом, если и университетские, то, не занимая независимых и богатых досугом мест, должны работать для своей специальности урывками между других, большею частью посторонних дел, принятых ради приобретения средств к жизни, должны издавать свои труды исключительно на собственные средства, так что еще удивительно, что все-таки немало сделано для истории и этнографии Южной Руси. Только с сороковых годов, благодаря тому, что г. Бодянский стал редактором "Чтений в Московском обществе истории и древностей", началось печатание важнейших памятников историографии южнорусской XVII и XVIII в. и в то же время политическое положение западного края побудило правительство помочь ученой разработке истории изданием документов, которым занялась Археографическая комиссия в Киеве и петербургская. Эти издания, можно сказать, создали южнорусского историка, которого смело можно поставить в числе лучших

современных историков, Н. И. Костомарова. Во всяком же случае даже новые труды гг. Костомарова, Кулиша и др. по истории Южной России еще далеко не исчерпали даже того материала, который дают до сих пор изданные акты и памятники южнорусской историографии XVII и XVIII в. А сколько еще не издано!

Если памятники этой историографии были результатом солидарности южнорусского казачества и наиболее образованного в старой Руси сословия — духовенства, то плодом солидарности казачества с народом была богатая народно-историческая поэзия Украины. Г. Прыжов говорит, что ни один славянский народ не имеет такой богатой исторической поэзии. С этим нельзя согласиться: из славян богаче всех в этом отношении сербы. И это совершенно понятно: общенародная героическая жизнь протянулась у них до самого XIX в., когда, наконец, внимание образованного общества всей Европы обратилось к народной поэзии, а потому сербский эпос записан в такой полноте, как ни один из славянских. Между тем южнорусский исторический эпос обратил на себя внимание записывателей только тогда, когда народно-героический век довольно далеко отодвинулся в прошлое, а потому мы имеем его далеко не в полном виде и только по таким образчикам, как думы о Кишке, Хмельницком и др., можем гадать, что эпос этот был не меньше, а может быть, и больше сербского, и оценить всю потерю, которая была последствием небрежения нашего общества к Южной Руси с половины XVIII века. Южнорусский исторический эпос, всецелое произведение казачества, может всего лучше опровергнуть мнение, что казаки Южной Руси были только разбойники и искатели зипунов, элемент противообщественный. По странному совпадению обстоятельств в таком взгляде на южнорусское казачество сходятся польские писатели и наши историки московско-государственного направления. Понятно, что поляки с

трудом согласятся смотреть иначе на южнорусское казачество. Русские историки до тех пор будут так смотреть на него, пока не признают в истории Малороссии некоторых особенностей сравнительно с историей Руси Московской. Несколько узковатый взгляд на казачество как на противообщественный элемент имеет еще некоторый смысл в применении к казачеству восточному — донско-уральскому, но вовсе не годится для оценки казачества западного, малорусского. Казачество восточное имеет значение как протест против крепостных порядков XVI-XVIII в. и как проявление русской колонизации в степях. Но в первом случае оно имеет чисто отрицательное значение, а во-вторых, слишком местное: казаки донские, уральские весьма редко отождествлялись с остальными московскими землями, и если даже поднимали восстание крестьян в соседних областях, то при Стеньке Разине. Следует заметить, что и при Разине, и при Пугачеве в восстаниях восточных казаков принимали участие и люди из западного казачества. Во всяком же случае казачество восточное представляло только один слой русского народа — низший; слои же, которые были так или иначе, но все же культурные — духовенство и дворянство, не принимали в них никакого участия. Протестуя против существовавших в Московском государстве порядков, казаки только инстинктивно чувствовали возможность других порядков и, будучи слабы в культурном отношении, не могли подняться до сознательных, не только положительных, но и отрицательных, начал. Притом же протестовать им приходилось против правительства единоверного и единонационального, т. е. такого, отвергнуть принципы которого могли бы только весьма сознательные головы. Поэтому великорусский удал-добрый молодец, до самого Пугачева включительно, путался, когда желал определить свою речь, как видно очень хорошо и из народных песен. Так, одна песня жалуется на воевод за то, что он "вор-собака

заедает жалованье", но особенно за то, что мешает грабить корабли на Волге; другая жалуется, что казаков зовут ворами и разбойниками, и объясняет: "Мы ведь, братцы, не воры, не разбойники, Стеньки Разина мы работнички", и дальше заявляет, что "гуляем мы на Волге не первый год, воровства и грабительства довольно есть". От этого удал-молодец по большей части, в конце концов, сознает себя виноватым и или винится перед царем и народом на плахе, или старается заслужить свои вины перед государем, как Ермак в песне и действительности. Казачество, кроме протеста против тяжких для народа общественных порядков, имеет еще в русской истории значение элемента колонизующего и защищающего русскую землю от чужеземцев. Эту роль исполняло как казачество западное, так и восточное, но обстоятельства, при которых действовала каждая часть казачества, были различны, а потому различны были и формы действия и нравственный склад обеих частей действующего элемента. На Дону, Волге, Урале и в Сибири казачество достигло своего полного развития тогда, когда уже на восток России инороднический элемент был в значительной степени ослаблен деятельностью Московского государства, казачество здесь не имело уже значения оборонительного элемента, а было уже наступательным, особенно на Урале и в Сибири. Такой же характер имели и набеги донцов и яицких казаков по Черному и Каспийскому морю, особенно последнему: персы никогда ведь не угрожали русским. Поэтому война с неверными восточного казачества по большей части носила характер добывания зипунов, весьма часто бывшего чрезвычайно вредным для государства. В том же случае, когда казачество это служило государству, как, напр., в подчинении закамских инородцев, наступательный напыв на последних, ничем с их стороны не вызванный, должен был развить в наступателях бесчеловечно эгоистическое презрение к чужакам, быть может, и

полезное для государственных целей, но вредное в нравственном отношении.

Всех указанных особенностей были далеко не чужды и казаки западные, малороссийские: они тоже далеко не прочь были поискать зипунов; да и кто от них отказывался в те времена? кто отказывается и теперь? Но дело в том, что рядом с этими чертами в малорусском казачестве были и другие, и это происходило вовсе не от каких-либо природных преимуществ одних казаков над другими, а от различия условий, в которые каждые были поставлены судьбою. Начавши разбоем и протестом за свои сословные права (бунты Наливайки и Косинского), малорусские казаки поставлены были в необходимость слить свое дело с делом всего южнорусского народа (Сагайдачный и Богдан Хмельницкий). Так как высшее южнорусское дворянство отпало от своей народности и веры, то казаки остались сильнейшими представителями того и другого, приняли в себя и часть дворянства, оставшуюся верною народности и православию, и вступили в тесный союз с литературно-религиозными представителями южнорусской народности. К казакам присоединился сын господаря, человек европейского образования Петро Могила и достаточно образованные шляхтичи, как Сагайдачный и Хмельницкий или Даниил Братковский, автор сатирических произведений на польском языке, казненный шляхетским судом за замысел восстания православно-крестьянского населения на правой стороне Днепра, совместно с казаками Палия; южнорусское казачество принимало даже гонимые в других землях, относительно высокие культурные элементы, как ариане из Польши, давшие Южной Руси Немирича[25], влиянию которого, а также протестантанта Верещака, на Выговского следует приписать внесение таких условий в гадячские статьи, как основание университетов и свободы печати; из бежавших из Пруссии еретиков происходил Иннокентий

Гизель, член киевского духовенства, которое так тесно связывалось с казачеством. Как принятием в свою среду всей массы южнорусского народа казачество малорусское в свою лучшую пору расширило свои стремления, так принятием в себя культурных слоев населения оно достигло сознательности этих стремлений. Сознательности их помогало и то обстоятельство, что бороться южнорусским казакам пришлось против чужого, а не своего государства. Борьба южнорусских казаков с Польшей по всем этим причинам не была только потестом инстинктов, как борьба донских и уральских казаков против Московского государства, но борьбою принципов.

Также отличны были условия и формы борьбы малорусских казаков против неверных. Крымское ханство существовало до самого конца XVIII в., не то что Астраханское и Казанское; оно было силой, наступавшей на русский народ, не то что инородцы сибирские и уральские. Вместо далекой и безобидной для России Персии тут была Турция, которая наступала в самую глубь Южной Руси и одно время владела Каменцем. Тут, следовательно, была борьба на жизнь или смерть, и притом борьба со стороны малорусского племени более оборонительная, чем наступательная, а потому и менее противная чувству гуманности. На походы южнорусских казаков в Турцию и Молдавию вовсе нельзя смотреть как на стремление только добыть зипунов, которое ссорило польское государство с турецким. Польское государство имело право быть недовольным тем, что казаки нападают на Турцию, потому что польскому государству, как и московскому до тех пор, пока оно не завладело Малороссией, не было надобности воевать с Турцией, достаточно удаленной от собственно польских областей; но казаки малорусские, самовольно воюя с турками, были представителями самостоятельной народной политики, на которую наталкивало Южную Русь ее поло-

жение. Иван Свирговский, украинский гетман XVI столетия, которого деятельность так хорошо оценена и рассказана в монографии г. Костомарова, Иван Свирговский, затеявший совместно с молдаванами и волохами восстание православных христиан против Турции, есть народный начинатель восточного вопроса на Руси, вопроса, за который государство русское взялось только в XVIII веке. Беспристрастный читатель должен согласиться, что такая постановка вопроса должна была возбуждать в народе и другие, высшие побуждения, чем искание зипунов.

Все сказанное можно было бы обильно подтвердить фактами из южнорусской истории, но так как мы имеем в виду только историю словесности в Южной Руси и касаемся политической истории только по связи ее с историей литературы, то и подтверждения сказанному приведем из памятников народной словесности.

Обзор последней у г. Прыжова, к сожалению, почти исключительно номенклатурный, хотя, как библиографический указатель, заслуживает полного внимания и благодарности*. Имея в виду хотя краткое, но наглядное подтверждение высказанных нами мыслей о южнорусском казачестве, мы приведем несколько отрывков из самих исторических песен и дум малорусско-казацкого эпоса. Борьба малорусского казачества с татарами и турками предшест-

* Впрочем, указатель г. Прыжова заключает некоторые неточности и пропуски. В перечислении дум цикла турецкого пропущена важная дума о Марусе Богуславке; песни о насилиях польского рейментаря и о насилии пана Каневского над Бондаривной отнесены к слишком ранней эпохе — до Хмельницкого, между тем как они говорят о событиях века XVIII, века гайдамацкого, а не казацкого. То же следует сказать и о думах о Саве Чалом. Аллегорическая песня о чайке и ее детях сочинена не Хмельницким, а последним кошевым Запорожья Кальнишем. Нельзя не заметить, что малорусское ухо обижается несклонением малорусских имен; г. Прыжов пишет: "Дума про Морозенко". Малороссияне же свои имена на о склоняют в мужеском роде, ибо о все равно, что ъ.

вует борьбе его с поляками. Песен о нападениях татар и турок чрезвычайно много в южнорусской поэзии, причем в Галиции больше говорится о турках, а в Украине — о татарах. Множество песен рассказывает печальную участь пленников русских, уведенных татарами и турками, причем иные передают чрезвычайно драматические случаи, как, напр., плен сначала дочери, которая становится женою турка, а потом матери, которая делается нянькою своего внука ("Русалка Днестровская", стр. 5, "Сборник" г. Головацкого в "Чтениях", ч. I, 42). Вот как изображает песня набег турок и пленение жен и детей южнорусских:

Поле ж моє широкоє!
Не могла'м тя проглянути
Черненькими очеиьками;
Тепер є'м проходила
Біленькими ноженьками!
Що ся в полі забіліло,
Ой чи гуси, чи лебеді?
Тепер гуси не літають,
Ні лебеді не пливають,
То татаре полон женуть:
Один полон з жіночками,
Другий полон з дівочками,
Третій полон з діточками.
Стали кошом під Яришом
Та взялися паєвати:
Дівка впала парубкові,
А тещенька зятенькові.
Взяв він її попри коні,
І попри коні на ремені.
Ой, кінь біжить дорогою,
Тещу веде терниною;
Терня ноги пробиває,
Кровця сліди заливає,
Чорний ворон залітає,
Тоту кровцю іспиває.

Такое обращение, конечно, не могло вызвать к туркам и татарам сочувственного отношения, а потому старая пленница, попавши в няньки к своему внуку, обязанная, кроме того, еще прясть и пасти стадо, припевает так:

Люлю, люлю, татарчятко,
По донечці унучятко!
Бодай стадо виздихало,
Бодай кужель (прядево) спопеліла (сгоріла),
Бодай дитя скаменіло!

Когда дочь узнает свою мать и говорит ей:

Мати моя рідненькая!
Скидай с себе свої лати (рубище в заплатах),
Вберай дорогії шати!
Будеш з нами панувати!..

Мать отвечает:

Ліпші мої вбогі лати,
Ніж дорогі твої шати.

Разговор дальше оканчивается такими словами:

Мати ж моя рідненькая!
Чи схочеш тут панувати,
Чи поїдеш в рідні краї?
— Волю, схочу дома бідувати,
Як в чужині панувати.

Без сомнения, что народ, сложивший подобный разговор, не был особенно падок на чужие зипуны.

Еще нагляднее рисует турецкую неволю дума, изображающая жизнь невольников мужчин, которых заставляли работать на каторгах (галерах). Вот эта характерная дума:

У святу неділю не сизи орли заклекотали
Як то бідни невольники у тяжкій неволі заплакали,
Угору руки підіймали, кайданами забряжчали,
Господа милосердного прохали та благали:
Подай нам, Господи, з неба дрібен дождик,
А з Низу буйний вітер!

Хоча й би чи не встала на Чорному морю бистрая хвиля;
Хоча й би чи не повиривала якорів з турецької каторги!
Да уже ся нам турецька бусурманська каторга надоїла:
Кайдани-залізо ноги повривало,
Біле тіло козацьке молодецьке коло жовтої кості пошмугляло (істерло).
Баша турецькій бусурманський,
Недовірок (ренегат) християнський,
По ринку він похожає;
Він сам добре тее зачуває (слышит);
На слуги свої, на турки-яничаре зо зла гукає:
"Кажу я вам, турки-яничаре, добре ви дбайте (здесь: старайтесь),
Из ряду до ряду захожайте,
По три пучки тернини і червоної таволги (кустарник — spirea) набирайте,
Бідного невольника по тричи в однім місці затинайте!"
То ті слуги, турки-яничаре, добре дбали
Із ряду до ряду захожали,
По три пучки тернини і червоної таволги у руки набирали,
По тричі в однім місці бідного невольника затинали,
Тіло біле козацьке молодецьке коло жовтої кости обвивали,
Кров християнську неповинно проливали.
Стали бідні невольники на собі кров християнську забачати,
Стали землю турецьку, віру бусурманську клясти-проклинати:
"Ти, земле турецька, віро бусурманська,
Ти разлуко християнська!
Не одного ти розлучила з отцем, з матер'ю,
Або брата з сестрою,
Або мужа з вірною жоною!
Визволь, Господи, всіх бідних невольників
З тяжкої неволі турецької,
З каторги бусурманської!
На тихі води,
На ясні зорі,
У край веселий,

У мир хрещений,
В города христіанськи!
Дай, Боже, миру царському
Народу христіанському
Славу на многи літа!"

Дума эта, надеемся, ясно показывает мотивы войн малорусского казачества с турками и татарами и историческое значение "рыцарства" Запорожья.

Малорусские думы описывают несколько примеров избавления христианских пленников от такой неволи. Это передают варианты думы о побеге трех братьев из Азова, об уходе из плена Самуила Кишки и о Марусе Богуславке. Мы остановимся на последних двух сюжетах, потому что они, во-первых, отличаются большим драматизмом, а во-вторых, изображают не только пленников, остававшихся твердыми в христианстве, но и ренегатов, поведение которых, в конце концов, показывает, насколько все-таки велика была и в них сила народного чувства и нравственных начал. Дума о Самуиле Кишке начинается описанием выплывавшей из Трапезонта галеры "трьомя цвітами процвітаной, мальованой". В той галере гулял Алкан-паша, "трапезонское княжа", имея с собой избранного люду: семьсот турок, янычар четыреста да бедных невольников триста пятьдесят человек, не считая старшины войсковой. Между последней выдавался Кишка Самойло, гетман запорожский, и лях Бутурлак, сотник переяславский. Этот был тридцать лет в неволе, двадцать четыре — как стал на воле.

Потурчився, побусурманився,
Для панства великого,
Для лакомства нещасного, —

а сделан был ключником галерским. Галера едет в Козлов (Евпаторию), по дороге к Кафе (Феодосия) Алкан-паша видит сон, будто турки его порубали, а самого его Кишка на три части изрубил и в Черное море бросил. Лях Бутурлак

объясняет сон так, что нужно строже следить за пленниками, и привязывает их крепче, как в предыдущей думе. Алкан-паша отправляется в город пировать с невестой. Тогда Кишка обратился к ляху Бутурлаку:

"Ой Ляше-Бутурлаче, брате старесенький!
Колись і ти був в такій неволі, як ми тепера:
Добро нам учини,
Хоч нас, старшину, одомкни;
Хай би і ми у городі побували,
Панське весилье добре знали".
Каже Лях-Бутурлак:
"Ой Кішко-Самойло, гетьмане запорожський,
Батьку козацький,
Добро ти учини,
Віру християнську під ноги підтопчи,
Хрест на собі поломни!
Аще будеш віру християнську під ноги топтати,
Будеш у нашого пана молодого за рідного брата пробувати!"
То скоро Кішка Самойло зачував,
Словами промовляв:
"Ой Ляше-Бутурлаче, сотнику Переясловський,
Недовірку християнський!
Бодай же ти того не дождав,
Щоб я віру християнську під нозі топтав!
Хоч я буду до смерти біду да неволю приймати,
А буду к землі козацькій голову християнську покладати!
Ваша віра погана,
Земля проклята!"

Ренегат бьет старого товарища по щеке и обещает пуще заковать в цепи, о чем шпион доносит Алкану-паше. Успокоенный паша шлет вино своим прислужникам на галеру. Вино пробудило совесть ренегата, сокрушенную тридцатилетней тяжкой неволей:

Став Лях-Бутурлак дороги напитки пити-підпивати;
Стали умисли козацьку голову клюшника розбивати:
"Господи! єсть у мене, що іспити і ісходити,
Тилько ні з ким об вірі християнській розговорити..."

Лях-Бутурлак начинает угощать Кишку, но Кишка не пьет, а выливает, ренегат же клюшник пьет, пока не сваливается. Кишка отмыкает замки у пленных товарищей и после разных приключений, с помощью и самого очнувшегося Бутурлака, приводит галеру в лиман Днепра-Славута с великой добычей. Добычу эту делят бывшие пленники между собою и казаками запорожскими, причем третью часть золота и серебра

...брали, на церкви накладали,
На святого Межигорського Спаса,
На Трехтемировський монастир,
На святую Січовую Покров давали,
Котори давнім козацьким скарбом будували,
Щоб за їх, встаючи і лягаючи...
Милосердного Бога благали.

Дума оканчивается такими словами:

Правда, панове, полягла
Кішки Самойла голова,
В Кієві-Каневі монастирі*.
Слава не умре, не поляже!
Буде слава славна
Поміж козаками,
Посміж друзьями,
Поміж рицарями,
Поміж добрими молодцями.
Утверди, Боже, люду царського
Війска запорожського
Донського
С сією чернью Дніпровою
Низовою
На многія літа
До конця віка!**

* *В Каневском монастыре погребены были три героя запорожские: Подкова, Шах и Кишка. Монастыря этого теперь нет; на месте его стоит высокий холм, под которым погребен Тарас Шевченко.*

** Сборник украинских песен, изд. М. Максимовича, I, 1849, стр. 31-48.

"Дума о Марусе Богуславке" начинается описанием темницы на берегу Черного моря. В этой темнице сидят семьсот невольников, которые уже тридцать лет не видят "солнца праведного". К ним приходит "дівка-бранка" (пленница), Маруся, попівна Богуславка, и спрашивает, знают ли они, какой теперь день в "нашій" земле христианской. Пленники забыли счет дней.

"Ой козаки, — говорить Маруся, —
Ви бідни невольники!
Що сегодня у нашій землі християнській Великодная субота,
А завтра Святий празник, роковий день Великдень".
То тоді тії козаки тее зачували,
Білим лицем до сирої землі припадали,
Дівку-бранку,
Марусю, попівну Богуславку,
Кляли проклинали:
Та бодай ти, дівко-бранко,
Марусю, попівно Богуславко, —
Щастя і долі собі не мала,
Як ти нам святий празник, роковий день Великдень сказала!"

Маруся просит не проклинать ее и обещает выпустить казаков, когда выедет паша в мечеть, а ей оставит ключи. Выпуская казаков, Богуславка говорит:

"Ой козаки,
Бідниї невольники!
Кажу я вам, добре дбайте,
В городи християнські утікайте;
Тільки прошу я вас, одного города Богуслава не минайте,
Моєму батьку і матері знати давайте:
Та нехай мій батько добре дбає,
Ґрунтів, великих маєтків нехай не збуває,
Великих скарбів нехай не збирає,
Та нехай мене, дівки-бранки,
Марусі, попівни Богуславки
З неволі не викупає;

Бо вже я потурчилась, побусурманилась,
Для розкоші турецької,
Для лакомства нещасного!'"*

Думы, из которых мы только что привели отрывки, кажется нам, доказывают, что в борьбе казачества южнорусского с турками были и другие мотивы, кроме стремления к поживе, что жизнь тогдашней южной Руси производила типы, которые не могут не возбуждать сочувствия и нынешнего человека.

Другой цикл поэтических сказаний южнорусских порожден борьбой казаков с поляками и жидами. Думы этого цикла не забывают тоже похвалиться добычей — так, одна дума оканчивается следующими словами:

Тогді-то не один козак за пана гетьмана Хмельницкого
Бога просив,
Що не один жидовськiй жупан зносив.

Но дело в том, что здесь, как и в думах первого цикла, дума не ограничивается одною добычей, а указывает на другие, более крупные причины борьбы народа южнорусского с поляками и жидами. Так, одна дума начинает рассказ свой о борьбе Хмельницкого с поляками следующим образом:

Ой чи добре пан Хмельницький починав,
Як із берестецького року
Всіх ляхов-панів на Україну на чотирі місяці висилав,
І велів панам-ляхам на Україні чотирі місяці стояти,
А *ні козаку, ні мужику жадної (никакой) кривди починати.*

. . . . . .

То ще ж то ляхи, мостивиї пани, по козаках и по мужиках стациєю постали,
Од козацьких, од мужицьких комор стали ключи одбірати

* Кулиша, Записки о Южной Руси, I.

Да стали над їх домами господарями:
Хозяїна на конюшню одсилає,
А сам із його жоною на подушках почиває.
То козак альбо мужик із конюшні прихожає,
У квартирку* поглядає,
Аж лях, мостивий пан, іще із його жоною на подушках опочиває,
То він один осьмак у кармані має.
Пійде з тоски та з печалі у корчму та й той прогуляє.
То лях, мостивий пан, од сна уставає,
Юлицею іде,
Як свиня, ухом веде.
То лях до корчми прихожає,
Як свиня, ухо до корчми прикладає.
Іще слухає, прослухає,
Що козак альбо мужик про ляхів розмовляє.
То лях у корчму убігає і козака за чуб хватає.
То козак козацький звичай знає,
То будто до ляха медом і оковитою (aqua vitae) горілкою припиває,
А тут ляха за чуб хватає,
І скляницею межі очі шмагає,
І келепом** по ребрам торкає,
Іще стиха словами промовляє:
"Ей ляхи ж, ви, ляхи,
Мостивії пани!
Хотя ж ви од нас ключі поодбірали,
І стали над нашими домами господарями...
Хотя б ви на нашу кумпанію не находжали".

Другая дума рисует "лядскую неволю" вместе с "жидовською".

Як од Кумівщини (восстание 1637-1638 р.) да до Хмельнищини,
Як од Хмельнищини... дай до свого ж то дня,
Як у землі кралевській да добра не було:

* Квартирка называется небольшое окошечко в задней стене украинской хаты.
** Палка с молотком.

Як жиди-рандарі
Всі шляхи козацькі зарандовали,
Що на одній милі
Да по три шинки становили,
Становили шинки по долинах,
Зводили щогли (шести) по високих могилах.
Іще ж то жиди-рандарі
У тому не перестали:
На славній Україні всі козацькі торги заарандовали,
Да брали мито-промито:
Од возового
По півзолотого
Од пішого пшениці по три денежки мита брали,
Од неборака-старця
Брали кури да яйця,
Да іще питає:
"Ци нема, котик, сце цого?"
Іще ж то жиди-рандарі
У тому не перестали:
На славній Україні всі козацькі церкві заарандовали.
Которому б то козаку альбо мужику дав Бог дитину появити,
То не йди до попа благословиться,
Да іди до жида-рандаря, да положж шостак, щоб позволив церкву одчинити,
Тую дитину охрестити.
Іще ж то которому б то козаку альбо мужику дав Бог дитину одружити,
То не йди до попа благословиться,
Да пойди до жида-рандаря, да положж битий таляр, щоб позволив церкву одчинити,
Тую дитину одружити.
Іще ж то жиди-рандарі
У тому не перестали:
На славній Україні всі козацькі ріки заарандовали.
Который бы то козак альбо мужик ісхотів риби вловити,
Жінку свою з дітьми покормити,
То не йди до пана благословиться,

Да піди до жида-рандаря, да поступи йому часть оддать,
Щоб позволив на річці риби вловити,
Жінку свою з дітьми покормити.

Вслед за описанием подобной неволи украинского казака или мужика обе думы заключают почти одинаково следующие слова:

Тоді ж то як у святий день божественний у вовторник Гетьман Хмельницький козаків до сходу сонця у поход виправляв,
І стиха словами промовляв:
"Ей козаки, ви, діти, друзі!
Прошу вас, добре дбайте,
Од сна вставайте,
Руський *оченаш* читайте,
На славну Україну прибувайте,
Жидів-рандарів (или ляхів, мостивих панів) упень (до корня) рубайте,
Кров їх у полі з жовтим піском мішайте,
Віри своєї християнської у поругу не подайте.

Кажется, что эти отрывки подтверждают сказанное выше о достаточности оснований и сознательности восстаний казацких против польського панства и порядков XVII века. Раскаяния и уступки со стороны восставших тут и быть не могло. И это ясное сознание права своего на свой труд, волю и землю и сознание права своего низвергать то, что их отнимает, ни на минуту не покидало украинского народа. Ляха украинец ненавидел всегда, но не как человека чужой нации, даже не как человека чужой веры, а как лицо, с которым связывается понятие о заедании чужого труда, о насилии и развращении его жены и дочери. "Тікай, ляше, — говорит одна украинская пословица, — бо все що на тобі, то наше!" И потому-то украинец пользуется всяким случаем выгнать "ляшків-панків геть аж за Віслу". Не удалось это сделать казакам в XVII веке, пробовали сделать это гайда-

маки в XVIII веке, когда, по словам песни, даже отрубленная голова одного из гайдамак на укоры: "Било б тебі ляшків-панків не бить" — отвечает:

"А я того, вражі ляхи, та і не забуду,
Як і била ляшків-панків, так і бити буду".

Насколько тяжелый гнет крепостного права, освященного силою русского государства, которой недоставало польскому для охранения господства панов над народом, не смог все-таки переломить свободолюбивое упрямство малоросса, свидетельствуют даже песни "крепацкие" и рекрутские. Мы позволим себе привести здесь отрывок из одной из них, а другую, которая не была напечатана до сих пор, всю.

Батькам було добре
На Вкраїні жити,
А синам досталось
Панщину робити.

Далее жалуется ветер, у которого орел спрашивает, не видел ли он казацкой славы.

А вот рекрутская песня, в которой прекрасная форма старой украинской песни уже попорчена, но еще остался старый дух протеста:

Прийшла карта до двора, до двора,
Що рекрутов брать пора.
Прийшов соцькій, прийшов війт,
Прийшов війт, я із хати та на тік.
Я із хати та на тік, та й на тік,
Там сховався в житній стіг.
А в стогові та найшли, та найшли,
Назад руки зв'язали,
Назад руки зв'язали, зв'язали
Та в присутствіє повели;
Та в присутствіє повели, повели,
Та під міру підвели.
Хлоп до міри не достав, не достав,
Панок грішми підсипав;

Панок грішми підсипав, підсипав,
Хлоп навіки та пропав.
Літ за двадцать я вернувсь, я вернувсь, —
Ні до кого пригорнутьсь:
Жінка з журби померла, померла,
Дочку взяли до двора,
Мого Гриця та й били, та й били
Та навіки забили.

XIX-ый век не представлял условий благоприятных для поднятия тех гражданских войн, какие поднимались в XVII и XVIII веках в области южнорусского племени. Но старый казацкий дух не раз покушался прорваться в местных крестьянских восстаниях, которые, если представлялся удобный случай, угрожали охватить обширный край. Таких удобных случаев было в недавнее время по одному на галицко-угорских русинов и на народ нашего Юго-западного края. 1846-48 гг. в Австрии были временем венгерско-польского движения. Народ южнорусский, подвластный венгерским и польским панам, не поддержал их и даже высказался прямо за цезаря, которого правительство, угадав стремления народа, поспешило издать несколько полезных для него мер. Две песни гуцулов (русские горцы в Карпатах), напечатанные в сборнике г. Головацкого, в "Чтениях Московского общества истории и древностей" (1864, IV), отлично характеризуют отношения тамошнего народа к полякам и венграм, с одной стороны, и к правительству — с другой. Поляки и венгры, видно из песни, подбивали народ к восстанию, указывая на самое тяжелое для народа бремя государственной жизни: на наборы. Но, как говорит одна галицкая коломийка:

Ой волю я, пане брате, цісарю служити,
Ніж я маю вражим ляхам панщину робити! —

что и не удивительно при австрийском коротком сроке солдатской службы, а потому масса не поддалась революци-

онной пропаганде и сочла для себя более выгодным поддержать "цісаря". Вот целиком другая гуцульская песня, которая представляет один из новейших памятников русского народного творчества в роде исторической песни. Кстати, читатель может видеть образчик языка одних из ближайших наших родичей между австрийскими славянами:

А Господи милосердний!
Єк ми бідовали,
А поки ми та панщину
Кежко відбували.
Слава Богу, же нам горазд
Тепер сесі літа,
Аже би наш тісар здоров,
Та й жив многі літа.
Бога просим за тісаре,
Ше чес, ше години,
Нам паншіну подарував,
Абых не робили.
Бога просім за тісаре
Сараки (серые) — руснаки;
На тісаре нагнівав се
Венгер та поляки.
Ай бо венгер та й поляки
Біду наробили,
Тілько було в царе землі,
Усю сколотили (возмутили),
Ой Підгір'є спудилосе (испугалось),
Ше венгер женесе, —
Бога просім за тісаре,
Тісар не дається.
Ой Підгір'є спудилосе,
Ше пас венгр зітне,
Бога просім за тісаре,
Чей се тісар зішре.
Спудиласе уся Польша,
Польша та й Іршава, —
Та бо чей нас поратує
Сила москалева.

Венгр Руса не боєвсе,
Не мав тої дійми,
Бо він не чюв, ше іде москаль
Вороними кіньми.
Того войска не богато,
Лиш три міліони.
А єк війшли в Венгершину,
Стали на загони,
А лиш тілько московского
Венгер війска збачив,
Як загулив в загороду,
Окропом опарив.
То бо москаль поправивсе,
Заложив канони (пушки),
От так убив Венгершину,
Господи борони!
От так убив того венгра,
Ше лиш став, єк курка,
Вхопив собі толпу войска,
Та й утік під турка.
А газетье не читаєм,
Ніхто то не чює,
Але чи го видев турок.
Чи він там газдує (хозяйничает).

Этот "мотивированный цезаризм" составляет в последнее время самую характеристическую черту русского простонародья в Галиции. Австрийское правительство пользуется им, хотя, конечно, вполне последовательно не идет в ту сторону, куда желает народ; правительство принимает этот мотивированный, условный цезаризм за безусловный и думает, что, сдержав подогреваниями его революционное направление поляков или венгров, оно может успокоиться и даже попустить им слегка вожжи, рассчитывая опять, при надобности, поднять народный цезаризм. Опыты несколько раз удавались после 1846 года, и теперь в Венгрии русины предоставлены на волю венгров. Но весьма может статься, что правительство цезаря ошибется в рассчете, особенно

когда, становясь парламентарным, оно окончательно станет аристократическим для Венгрии и Галиции. Тогда народ увидит и то, что цезарское правительство не исполняет условий, которые, положим, никогда не были юридически скреплены между народом русским и цезарем, но которые народ тем не менее в душе своей весьма сознательно считал заключенными; народ увидит, что и в правительстве уже нет цезаря, а остался только "венгр та поляки". Что он предпримет? Подавят ли народ или он восторжествует? Если случится последнее, то кто унаследует австрийскому цезарю? Во всяком случае, судя по песням, народ русский в Австрии глубоко и сознательно недоволен социальным порядком, и русские провинции этой империи стоят на вулкане.

Отношения южнорусского народа к последнему польскому восстанию в Юго-западном крае весьма напоминают отношения другой части его к революции польской и венгерской 1846-1849 г. Что делалось и, особенно, что думалось по селам и хуторам Юго-западного края между 1861-1864 г., до сих пор подробно неизвестно, но и теперь уже можно сказать смело, что предоставленный сам себе народ в Юго-западном крае покончил бы круче и радикальнее и, конечно, жесточе с польским восстанием и с обрусением края. Настроение народа против поляков настолько сильно, что его заметила еще администрация сороковых годов, которая, как известно, не очень-то обращала внимание на массы народа. Результатом этого внимания к народно-политическим отношениям Юго-западного края было составление инвентарных правил, которому не упустил народ посвятить и свои песни. Две из них напечатаны, и так как они помещены в малораспространенном провинциальном издании, то мы приведем их вполне.

Вот песня, рисующая панщину и прославляющая генерал-губернатора Димитрия Бибикова, превращенного народом в Никиту:

Вставай, вставай, громадонько,
Вставай, не лінуйся.
Та пійдемо до церковці
Богу помолимся.
Помолимось йому щиро (горячо),
Як за батька діти,
Щоб дав щастя й долю добру
Панові Микиті.
А пан той — наш губернатор,
Він нас слобоняє,
От проклятих панів-ляхів
Добре бороняє.
Слава тобі, генерале,
В віки вічні од нас;
І памятувать і дяковать (благодарить)
Будемо посякчас.
Було перше ми днюємо
В пана на роботі, —
Спочивку не знаємо, —
Робимо голоті (голым панам).
А тепер ти зупинив їх
Цими *йвантарами*.
Налякав їх. Може, й буде
І правда і між нами.
Слава тобі, генерале,
Ти наш славний тату!
Може, тепер веселійші
Ввійдем в свою хату.

Вот другая песня, изображающая, что сталось с инвентарями:

Губернатор наш Бібіков
Дав нам янватарі,
Щоб робити панам п'ять (?) день
Із кождої пари,
І по три копи з чоловіка,
А дві копи з жінки,
Щоби жали в тиждень (неделя) літом
Панові в відрібки.
Зразу добре родилися,

Зполняли йвантарі,
А там стали шкури дерти.
Як і спершу дерли,
Цілий тиждень верзувати,
Як і верзували,
А в неділю ранесенько
До випису гнати.
Атамани з батогами,
З нагаєм гуменний,
На роботу цілий тижень
Гонять, мов скажених (бешених).
Правдивії янвантарі
Твої, генерале,
У кухверки поховали (спрятали)
Чортові невіри!
Становії, що читали
Янвантари тії,
Подружилися з ляхами,
Мов брати рідні.
Вкупі б'ють нас,
Вкупі й обдирають
І до тебе, генерале,
З листом не пускають...
Ой не дай нас, генерале,
Тяжко забиджати, —
Свою долю сирітську
Гірко проклинати.
Не дай же їм, генерале,
Нас поневіряти (обманывать), —
Бо будемо й тебе, добрий,
Й тебе проклинати!*

Едва ли мы очень ошибемся, если скажем, что эта песня, наравне с другими, приведенными здесь, принадлежит к числу

* См. "Юго-западный край в последнее двадцатипятилетие (1838-1863)" В. Шульгина[26]; отд. отписк из "Киевлянина"[27]. Кстати, отчего так мало распространена эта во многих отношениях любопытная брошюра, тогда как плохие творения виленских историков переводятся даже на французский язык?

характернейших образцов обличительной поэзии последних времен. А ведь они сложены неграмотным народом!

Между 1861-1863 г., когда волновались поляки и приготовляли последнее восстание и в то же время их мировые посредники отрезывали у крестьян поземельные участки и вводили выкупные договоры по "добровольному" соглашению с участием войск, — приготовлялся к чему-то и народ. Поляки что-то чуяли, чего-то боялись, приписывали враждебное настроение народа пропаганде украинофилов, на которых и старались направить преследования правительства, то силились сами овладеть народом, приодевшись украинофилами. Нашему обществу смутно известна эта темная история, о которой еще не пришло время говорить с полнотою и беспристрастием историка, для которой нет почти обнародованных материалов. Настроение народа 1861-63 г. и его отношение к польскому восстанию характернее всего рисуется несколькими песнями об отмене крепостного права и одной песней о самом повстании, которые напечатаны в "Киевлянине". Одна из этих песен так рисует положение крестьян при крепостном праве:

Ой, не треба гірше,
Як це ми зазнали,
От тих панів-ляшків
Лиха скуштовали!
Мучили нас та й валяли
Ці ляхи завзяті,
Гадюками називали.
Нех вони прокляті!
С паном мужик, як стрінеться,
То до землі низько гнеться,
Бо мусили так робити,
Коли хотіли ще жити.
Колись били, катували
Посторонками в'язали,
А пан-лях ще сміється,

Люльку курить та й дереться:
"Бийте моцній мужика,
Нехай знає psia jucha,
Що пан стоїть уваженья,
І нема тут ізвіненья,
Нехай шапку здіймає.
Не хтів — в шкуру достає!"

Другая песня изображает отлет панщины и беспомощность панов и отношение крестьян к тому, от кого пришло им освобождение:

Ой летіла зозуленька поверх гори, села,
Чогось наша громадонька смутна, невесела.
Сіла собі на заборі та й стала кувати:
"Збирайтеся, громадонька, щось маю казати!"
Наїхали становиї, стали говорити:
"Не будете, люди добри, панщини робити!"
Наїхали мировиї та й стали казати:
"Не будете пред панами шапок здиймати!"
Ой летіла дика качка, сіла в очереті,
Утікала панщинонька в темни пущі, нетрі;
Не сама ж вона утікала, громадонька гнала!
Як загнала в пущи, нетрі, там вона пропала.
Ой летіла птиця-пава, серед села впала,
А в місяці февралі панщина пропала;
А два пани, а два пани, а два атамани
Вісімнадцять ланових, а єден підданий.
Аж виходить стара пані на затинні двері:
"Вернись, вернись, панщинонько, хоча до вечері!"
— Не вернуся, не вернуся, я вам була вірна,
Не вміли мене шановати, я с того не винна! —
А в нашого оконома нагай за плечима,
За ковніром купа вошей з чорними очима*.
Збираються комісари на тихеє озерце.
Чим би мужика пиняти? Щоб виняли серце!

* Намек на другую песню, в которой изображается процветание крепостного права: там на экономе "червоная шапка" и "шовкові онучі" теперь же остался от старой роскоши только "нагай", которым некого бить.

Як вони там зібралися, стали говорити:
"Що ми будем, panie bracie, тепера робити?
Бо не вмієм ми косити, наші жінки жати,
А нема вже нам кому панщину отбувати,
Хіба підемо на шляхи учитися красти!"
Подякуймо бо ми Богу да своєму цареві,
Що він зробив добродійство в своєму краєві,
Подякуймо ми цареві і своїй цариці,
Бо не ходять на панщину наші молодиці,
Подякуймо ми цариці, ще своїй царевні,
Що вона нас порівняла с ляхами нарівні!

Понятно, что при таком образе мыслей народ не мог отнестись сочувственно к новому восстанию в 1863 г. Одна песня изображает повстание как один из выходов, который придумала себе шляхта, лишившись крестьян. В самом деле, некоторые шляхтичи думали поправить свои обстоятельства в случае успеха повстания:

Єден праграв добри коні,
Другій продав сани нові,
А остатній догадався,
За шильгину — в ліс сховався!
А ми їх ціпами гнали
І Посторонками в'язали;
Колись пани кров з нас пили —
За те ж ми їх віддячили!
Пановань є нам вбищали,
Золотую (грамоту) нам читали;
Власне паньство їх в Сибірі
Ой широко! Нема міри.

Наконец, следующая песня, рассказывающая об одной из крупнейших стычек во время повстания в 1863 г. в Юго-западном крае в селе Соловьевке Радомысльского уезда, представляет отношение крестьян и панов-повстанцев во всей их жестокой реальности:

Шли поляки на войну
За свою рідну ойчизну:
"Або нам Польшу одбити,
Або на світі не жити".
Там їх нещастя спіткало, —
Вийшло мужицтва немало,
Стали поляків спиняти,
Стали поляки казати:
"Ви, люде добрі, не бийте нас;
Ми вас одзволим от біди,
Тілько не робіть нам шкоди".
Так збиралася громада,
Була меж ними порада:
"Нум ми поляків, нум бити,
Бо вже нам з ними не жити!"
Забрали булавки в руки,
Предали смерти ще й муки:
Свердлами груди вертіли,
Гроші забрали — лічили (считали).

Песня, как видно, находит даже естественным со стороны поляков восстание, называет их поражение "несчастием", передает вполне сознательно предложения от инсургентов, не скрывает жестокостей и грабежа крестьян, но передает главный мотив жестокости: "нам з поляками не жити..."

Такое ясное сознание народа делало *обязательным* выкуп крестьянских земель и те меры, которые приняты были в Юго-западном крае по крестьянскому вопросу с 1863 г. Положили ли они хоть начало мирному сожительству народа с "ляхами"? Покончили ли они тот великий национально-социальный вопрос, который народ считал открытым в течение трехсот лет и за решение которого он то кроваво, то мирно принимался столько раз? На это ответит будущее.

Таким образом, мы проследили в главных чертах ход литературного малорусского творчества от времен варяжских до последних дней. Какой же характер оно носит, где его идеи? Чем проявилась Малороссия в ее истории словесности? Нам кажется, вот в чем: во времена великокняжеские народ южнорусский или, по крайности, высшие его слои были, разумеется, движимы военным духом и желанием добычи, но это военное настроение рано приняло характер земской защиты ("Завещание Мономаха" и "Слово о полку Игореве"); во всяком же случае, век героический на юге Руси представил грандиозные образы воинов, в которых непосредственная дикость военная скрашена тем эстетическим колоритом героизма, который является всегда, когда военные движения народа получают и другую цель, кроме добычи, напр., защиту слабого (смерда — у Владимира Мономаха), войну за веру, наконец, славолюбие. Этот же героический эстетизм поднимает на юге России, как и везде, положение женщины, по крайней мере, хоть исключительных женщин. Образы героев, которых "слава не умре, не поляже", их "милых" мелькают перед нами и в приведенных колядках и особенно в "Слове о полку Игореве" и остаются навсегда отличительною принадлежностью украинской поэзии и жизни. С XVI в., кроме земской и национальной защиты, которой посвящена казацкая поезия и историография, в южнорусской жизни и литературе сильно проявляется стремление к просвещению с довольно сильним стремлением к свободе и разнообразию личного мышления. С конца XVII и в XVIII в. видно стремление к самосознанию в историографии и в попытках того реально-сатирического отношения к жизни, которое могущественно повлияло и на великорусскую цивилизацию через Гоголя. Историография южнорусов с XVII и XVIII в., в особенности "История русов", пыталась вместе с тем провести известные начала самоуправления, а народ своей

историей показал, что он готов на все ради получения свободы личной, в своей же поэзии показал, что он вполне сознательно боролся за эту свободу. Почти на всех пунктах книжной литературы в Южной Руси XVIII-й век представляет какой-то обрыв. В религиозном же движении в сторону протестантизма и религиозного разнообразия мы видим обрыв его в XVII веке, и только в народной поэзии тянется нечто непрерывное — это стремление к социальной свободе и протест против рабства. Оттого, начав речь о южнорусских думах времен казацких, мы не могли остановить ее на цветущих временах этих дум и должны были дойти до песен о венгерском и польском восстаниях 1848-63 годов. Несмотря на меньшее совершенство формы, эти последние произведения ясно показывают, что народное творчество не оскудело окончательно, что народная мысль внизу сохранила еще до сих пор свои характеристические черты и основное направление. Как же велик перерыв, совершившийся в истории южнорусской мысли и слова в XVII и XVIII в. вверху общества? Был ли он или есть окончателен? Или и здесь продолжалось в известном направлении народное творчество и здесь оно создало что-нибудь, хоть сколько-нибудь прочное, сколько-нибудь пригодное для нравственного капитала русского общества? Но ответ на это выходит из предела задачи настоящей статьи.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАЛОРУССКОГО НАРОДА С ОБЪЯСНЕНИЯМИ ВЛ. АНТОНОВИЧА И М. ДРАГОМАНОВА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Благодаря собраниям Цертелева (1819), Максимовича (1827, 1834, 1849), Срезневского (1833-38), Лукашевича (1836), Метлинского (1854), Кулиша (1856, 57), Костомарова (1859) и др. в России и Вацлава з Олеска (1833), Паули (1839-40), М. Шашкевича (1837), Головацкого (1863-72) и др. в Галичине, Буковине и Венгрии давно уже обращено внимание на малорусские народные песни и давно уже рядом с эстетическими достоинствами лирических песен высоко оценен знатоками *исторический* характер многих малорусских *дум* и *песен*. В каждом из сборников малорусских песен мы встречаем и отдел песен, которым у нас, в России, присвоено название *исторических*, т. е. таких, которые говорят о *лицах* и *событиях*, большею частью известных и из писанных источников и игравших видную роль в истории народа (в других странах часто называют историческими вообще песни повествовательные). Относительная многочисленность в таком смысле исторических песен в ряду других уже сама по себе составляет одну из характерических особенностей устной поэзии малорусского народа. Для полноты оценки таких песен чувствуется потребность систематического их свода, тем более необходимого, что они печатались в течение более чем 50 лет в разных изданиях, из коих иные теперь стали библиографическою редкостью. Необходимо свести тексты и варианты песен, необходимо затем объяснить их, сообразно той степени, на которую теперь поднялась наука истории малорусской; необходимо, наконец, и отделить, что есть подлинного, народного в том, что принималось и выдано за таковое в прежние, менее разборчивые времена, а что поддельного. Только после такой

работы историческая поэзия малорусского народа станет вполне понятна и станет сама надежным источником для истории народа, а затем может быть верно оценена и творческая сила самого народа, ее произведшего и удержавшего в памяти в течение веков.

Настоящее издание есть опыт такого полного и критического сборника исторических песен малорусского народа. Мысль и план этого сборника были встречены собирателями и исследователями с большим сочувствием: покойный М. А. Максимович, Н. И. Костомаров, П. А. Кулиш, Н. М. Белозерский, Н. В. Лысенко, прежде издавшие записаные ими песни и доставившие немало материала для других сборников, напр. для сборника покойного А. Л. Метлинского, предоставили в наше распоряжение как печатные, так и рукописные сборники свои. Кроме того, нам переданы рукописные собрания гг. Неговского, Маркевича, Носа, Мартынова, Новицкого, Чубинского, Сенницкого, Штангеева, Стоянова, Шиманова, Андриевского, И. Я. Рудченка, А. Я. Рудченко, А. И. Лоначевского, Е. В. Судовщикова, Л. В. Ильницкого, Русова, Залюбовского, Лободовского, Ганенка, Зайкевича, Симашкевича, Руданского, Кропивницкого и др. и из Галичины — гг. М. Бучинского, Белинского, Стефановича и др. лиц, которые поименованы дальше под песнями, ими сообщенными. Большая часть этих лиц, а также много других помогали нам советами, справками, наконец, трудом при переписке и сведении вариантов настоящего сборника. Нам нечего говорить о нашей личной благодарности за весь этот труд и эту предупредительность, так как услуга эта оказана дорогому всем просвещенным людям делу изучения народа.

Ход работы по выбору, сведению и объяснению тех песен, которые с первого взгляда принимаются за исторические, т. е. песен с именами лиц и событий, записанных в

летописи, привел нас постепенно к необходимости принять термин *исторические песни* несколько шире, чем принимали его другие издатели. Именованные лица и события могут быть поняты только в связи со всею обстановкою, их окружавшею; они — только внешние показатели тех процессов, какие происходят в общенародной жизни. Поэтому мы остановились на мысли издать под привычным, хотя и не совсем точным по своей общности, именем "Исторических песен малорусского народа" все песни, в которых отразились изменения *общественного строя* этого народа, как другие песни отразили на себе историю его религиозно-обрядовой, другие — семейной, экономической жизни. Отобрав в печатных и рукописных сборниках песни в этом смысле слова исторические, как бы они не назывались по их форме, мы получили *поэтическую историю общественных явлений в Южной Руси* по крайней мере от IX в. до таких современных событий, как прекращение панщины и венгерское восстание в Австрии в 1848 г. и как освобождение крестьян и польское восстание в России в 1861-1863 г. Богатство такого рода песен и яркость, с какою сохранились в них черты столь долговременной стории, тем более поразительна, что все наши песни записаны в мое последнее время, в XIX в., и все сохранены в памяти неграмотного сельского народа. Чтоб оценить с этой стороны значение малорусской народной поэзии в науке сравнительной истории словесности, довольно будет напомнить, что в стране со столь давней и разнообразной писанной историей, как Сицилия, только несколькими стихами в одной песне вспоминается время короля Гульельма (II), правившего в к[онце] XII в., упоминается с намеком на его закон de violatione thori, — и вообще отдел исторических песен далеко не богат и состоит большею частью из коротких песен, редко касающихся событий и жизни раньше

XVI в.* Самая старая песня образцово изданного Мюнхенской академией с помощью короля Максимилиана II сборника Р. Лилиенкрона "Die historischen Volkslieder der Deutschen vom 13 bis 16 Jahrhundert" (Leipzig, 1865-1869, I-IV, с музыкальным приложением) относится к событию 1243 г., да и она, как и все почти песни сборника, взята из старой рукописной хроники, так что такие песни могут быть сравниваемы скорее с нашими памятниками, как "Слово о полку Игореве" или виршами XVII в., чем с народными песнями в русском смысле слова. Отчего бы ни произошло такое богатство песен исторических у сельских малорусов, хотя бы оно обусловливалось не только более общенародным, чем сословным характером старой истории края, но и относительно слабым развитием городских классов и их писанной литературы, во всяком случае это богатство остается явлением замечательным, облегчить изучение которого назначен настоящий сборник.

Мы разделили сборник наш на части, сообразно изменениям истории народа и участия его в определении судеб родины. Не заходя в очень седую древность, исследование которой на основании народной поэзии будет всегда полно натяжек, мы принимаем за исходный пункт политической истории южнорусского народа образование военных дружин, которые, имея потом во главе своей князей из рода Рюриковичей, заведывали судьбами Южной Руси до татарского нашествия и после изменения правящей династии на Гедиминовичей —до ½ XVI в., до Люблинской унии Литовской Руси с Польшею. Хотя под более или менее аристократическою дружиною на Руси пользовались более или менее сильным значением и народные общины, но дружина, как

* Смотр.: Biblioteca delle tradizioni popolari Siciliane per cura di Giuseppe Pitre, Palermo, 1871, I, 97-130, 399-410 (Storia, anecdoti) и II, 114-373 (leggende e storie, где большая часть песен балладного и религиозного характера).

наиболее активная часть населения, очевидно, превосходила другие части в творчестве песен политического характера, почему мы и должны были дать первой части песен нашего сборника заглавие 1) **Песни века дружинного и княжеского.** Пересмотрев эти песни, читатель увидит, что городские веча, — рада мещан, — если и встречаются в них, но на втором плане, сравнительно с дружиной, которая потом перешла в боярство, и ее вождями.

С XVI в. в области малорусского народа, попавшего в государство Литовско-Польское, начинает сильно проявляться процесс отделения высших правительственных слоев от мас народа, причем эти высшие слои принимают чужую, польскую, народность; в то же время, вследствие появления турок на берегу Черного моря, с 1475 г. вновь поднимается сила татар, которые было усилиями литовско-русских князей с XIV в. и русской колонизации, дошедшей в XV в. до самого моря, были отодвинуты в Крым и к устью Дуная. Из народа начинает выделяться вторичный военный элемент, казачество, который берет на себя инициативу в защите страны, труда и цивилизации от татар, а затем и в защите народности и свободы от польского правительства и панов, начав борьбу с ними из-за уравнения своих прав с правами старого дружинного сословия, превратившегося в поземельную аристократию. В начале борьбы с татарами и турками новый, казацкий, элемент совпадает с некоторыми представителями старого, княжеско-боярского, а в деле борьбы с польской аристократией он сливается с духовенством, недовольным унией 1595 г., и с народными массами, поспольством, недовольным складывающимся постепенно крепостным, панско-жидовским строем хозяйства. Эта сложная и многосторонняя борьба казачества с враждебными ему элементами приводит к подчинению части Малороссии Московскому государству в 1654 г. Тут, с прев-

ращением этого последнего в Российскую империю, с одной стороны, продолжается казачеством то совместно с силами руского государства, то самостоятельная борьба против татар и турок, борьба против польской аристократии и католического духовенства, а с другой — начинается борьба местного казацкого строя с центральным государственным строем; вместе с тем казачество малорусское призывается на служение военным интересам государства в новых местах: на северо-западе и юго-востоке империи. Среди таких обстоятельств, в которых находилась значительная часть области, населенной малорусским племенем, а особенно Поднепровье, с XVI — по половину XVIII в. развилась богатая II) **Поэзия казацкого века,** составляющая вторую часть нашего сборника.

Между тем как казачество доживает на левом берегу Днепра и на Запорожье; в XVIII в. на правом берегу и в Галичине, оставшихся под властью польского государства, продолжаются религиозные преследования против православных, достигающие максимума между 1764 и 1768, особенно во время Барской конфедерации 1768, кроме того, вновь усиливаются порядки крепостного панско-жидовского хозяйства. Народ попрежнему стремится свергнуть их и выделяет из себя как протест в Галичине *лемников*, по-польски *опрышков*, в Украине *гайдамак*, из коих первые связываются с разбойниками, не переставшими водиться в горах Карпатских, а вторые — с Запорожьем, не переставшим считать своей обязанностью борьбу за *веру* и *волю*. Результатом всех этих причин является взрыв, известный под именем Уманской резни, или Колиивщины, — 1768 г. Среди таких условий, продолжающихся до самого раздела оставшейся у Польши области малорусской между империями Русской и Австрийской (1772-1795), образуются III) **Песни века гайдамацкого.**

Уничтожение гетманства казаков малороссийских (1765), разорение Сичи (1775), закрепление народа, "поспольства", старшине казацкой, превращенной, согласно давнему ее желанию, в великорусских дворян, и этим последним получивших богатые поместья в Малороссии (1782-1793), падение Польши (1772-1795) с укреплением прав польских панов над малорусским крестьянином Грамотою о дворянстве и более мягким для крестьян австрийским регламентом о работах, *панщине* (1774), подробная регламентация участия масс народа в военной службе русской и австрийской — все это явления почти одновременные. Они открыли новую эпоху песенного творчества малорусского, создали IV) **Песни века рекрутского и крепацкого,** которые вобрали в себя и преобразовали и многие песни более ранней эпохи. Там и сям мелькает в песнях этих воспоминание о прошлом, память о современных событиях государственной жизни, преимущественно военных, но главное внимание народная песня сосредоточивает на тяжести рекрутства и крепостной работы, отвечая сначала сочувственно, а потом с разочарованием на такие опыты, как введенные в 1847 г. в Юго-западном крае инвентари.

Отмена обязательных в пользу панов работ в Австрии в 1848 г. и освобождение крестьян в России в 1861 г. создают новые V) **Песни про волю;** обе эмансипации сопровождались восстаниями нерусских аристократических элементов против центральной власти, в австрийской Малороссии — поляков и венгров, в русской — поляков, а потому малорусские песни о воле сливаются с песнями о венгерском и польском движении в Австрии в 1848 г., в России в 1863 г.

Вот те *пять частей,* на которые естественно делится наше собрание и которые, в свою очередь, распадаются на несколько отделов.

В настоящем томе мы помещаем *первую часть* "**Песни века дружинного и княжеского**" и первый отдел *второй части* "**Песен века казацкого**" — "**П[есни] о борьбе с татарами и турками**". Другие отделы этой части: 2) Песни о борьбе с поляками при Хмельницком; 3) П[есни] о гетманщине до 1709 г.; 4) П[есни] о падении казачества; 5) Песни казацкие без ясных следов определенного времени — все эти песни должны быть, по необходимости, отнесены в следующий том, который не замедлит появиться в свет.

В настоящем своем виде первый том, с песнями от IX в. до второй половины XVII в., представляет собою нечто целое, насколько существует сходство в мотивах жизни общественной древней Руси Киево-Галицкой и казаччины XVI-XVII в. Большинство песен первой части рисует первые непосредственные проявления военной энергии южнорусов в степи и на море и первые их усилия распространить свою колонизацию на юго-востоке и северо-западе и защитить ее от набегов кочевников — те самые мотивы, которые легли в основу более развитых песен и дум о борьбе казаков малорусских с более организованною силою турок и татар в XVI-XVII в.

Редкая песня в нашем сборнике оставлена нами без примечания; из этих примечаний, надеемся, составятся перед читателем и картины эпох, в какие возникла и сложилась та или другая песня, а потому нам нечего много говорить здесь о тех эпохах, от которых остались нам песни, приводимые дальше. Мы скажем лишь немного о выборе и о расположение нами песен в этом томе и о характере и цели наших примечаний к песням.

Большая часть песен первой части такого рода, какой, благодаря старому поверхностному делению песен на лирические и эпические, долго оставлялся без внимания

исследователями древнейших остатков исторической (общественной) поэзии русского народа. Это *колядки, щедривки* — обрядные и *гаивки* — игровые песни. Что такие песни древнее всех других по образованию (исключая, конечно, тех, которые складываются по образцу старых, напр., христианские славословия, по образцу колядок, и т. п.), что обрядное значение этих песен способствует сохранению их в более древнем виде — это не требует доказательств. Но нынешнее, преимущественно праздничное, употребление этих песен делает исследователей наклонными к априорному мнению, что в них можно найти исключительно мифическо-религиозный материал. Между тем, если даже не касаться той стороны дела, что везде эпос исторический связывался с эпосом мифическим, вряд ли теперь априори можно оспаривать то предположение, что если в колядках, щедривках, не носящих на себе следов христианства, следует искать остатков древнейшего русского славословия богам, то в колядках же и щедривках надо искать и древнейших славословий героям и князьям. Уже г. Кулиш в "Записках о Южной Руси" (1856, т. I, стр. 196) указал на вероятность того, что между щедривками есть песни, которые должны были петься в честь князей древнерусских. В 1870 г. в статье "Малороссия в ее словесности", напечатанной в "Вестнике Европы" за май, были приведены несколько колядок как остатки русского героического эпоса эпохи великокняжеской. Те же колядки были признаны за таковый остаток г. Костомаровым в статье "Об историческом значении южнорусской народной поэзии", напечатанной в "Беседе" 1872 г. Теперь мы помещаем те колядки, щедривки и т. п., в которых, по нашему мнению, можно видеть явные следы дружинно-княжеской эпохи, сопоставляя их с летописными сказаниями и выраже-

ниями*. Быть может, не все наши объяснения к этим песням будут признаны читателем чуждыми натяжек; мы не стоим особенно на всех тех объяснениях, в каких мы усматриваем связь той или иной песни с известным определенным лицом. Гораздо больше придаем мы значения тем чертам *быта и эпохи* удельной, какие, думаем мы, вполне ясны в большей части, если не во всех песнях, приводимых нами в I части. Доказывая, как мы думаем, ясно, что на юге Руси, в той самой стране, где сосредоточивалась история Руси домонгольской, остались яркие следы этой истории в народной поэзии, хотя и не в форме былин великорусских, но в форме бесспорно глубоко древней и национальной, песни, приводимые в нашей первой части и другие, в таком роде, которые могут быть открыты или указаны другими исследователями, должны быть принимаемы во внимание прежде всего при обсуждении вопроса о древнейшем русском героическом и историческом эпосе и о древности и национальности самих великорусских былин. Почти все песни такого рода, выбранные нами в первую часть, составляют принадлежность исключительно Южной Руси: только некоторые их выражения находим мы в соответственных песнях западных славян; только одну колядку находим мы и у поляков в целом, да и то в таком месте, которое дает основание предполагать заимствование у червонорусов [...]; ту же колядку находим и в белорусских "волочобных песнях", которые вообще отвечают малорусским колядкам, что при отличии их от песен даже столь близких народов, как

* Колядки героического характера, но с резким фантастическим характером в целом или в подробностях, как ни интересны они для вопроса о переходе эпоса мифологического в героический, мы оставили в стороне. А их очень много напечатано в сборниках г. Головацкого и г. Чубинского — "Труды этногр. экспед. в Юго-зап. край", т. III.

поляки и великорусы, говорит в пользу древности и туземности как колядок, так и волочобных песен. Указываем в заключение на то обстоятельство, что песни, в каких мы видим наиболее следов удельной эпохи, доставлены главным образом западной Малороссией, Подлясией и Галичиной, что и естественно, если вспомнить, что Поднепровье часто опустошалось и, будучи центром позднейшей казацкой истории, развило и сохранило преимущественно песни казацкой эпохи, от XVI в., Галичина же и Волынь продолжали и в XIII-XIV в., после разгрома Киево-Переяславской земли татарами, ту жизнь, какая преобладала на всей удельной Руси в XII в. Песни с чертами более поздней боярской эпохи доставлены главным образом тоже частью Галичиной и Волынью, частью Полесьем, так как в Галицко-Волынской земле преимущественно окрепло феодальное боярство еще в XII в., а Волынь и Полесье были одними из центров феодального Литовско-Русского княжества в XIV-XV в. Таким образом, каждая часть старой Руси дает нам преимущественно перед другими материал для характеристики последовательных наслоений ее культурной истории.

В большинстве песен второй части следы эпохи их сложения запечатлелись так ярко, что трудно не заметить их. Это XVI-XVII в. Только относительно песен, которые в общих чертах рисуют татарские набеги, песен, которые мы ставим во главе отдела, может быть поднят вопрос, но не о том, новее ли они XVI в., а скорее о том, не древнее ли они, не зачались ли они в первую эпоху татарских набегов, в XIII-XIV в. В песне №22 читатель найдет намек на бытовую подробность глубокой древности, засвидетельствованную письменным памятником VI в. Не отрицая возможности зарождения многих из песен о татарских набегах и в раннюю пору, ни того, что многие песни глубокой древ-

ности о борьбе русского народа с разными врагами могли потом приспособиться к песням о народе, с которым дольше всего приходилось бороться, с XIII по XVIII в., как приспособились и некоторые песни первой части (№№6, 7, 8), мы все-таки думаем, что наиболее характерные песни наши о набегах татарских скорее следует отнести к XV-XVII в., чем к XIII-XIV в. Как ни тяжко было нашествие Батыевых татар на Киево-Галицкую Русь в XII в., но все-таки эта Русь скоро оправилась от погрома и даже внушала к себе страх у татар и скоро перешла к наступательным действиям против них, так что эта эпоха вряд ли может быть названа временем *ига монгольского* для Руси Юго-Западной в той мере, какой она была для Руси Северо-Восточной. Уже при Даниле Галицком русские осмеливались побивать татар, а Ольгерд[1] и Витольд[2] нападали на татар в самом Крыму, в степи Пятигорской и уводили татарских пленных на Волынь и и Литву. Еще в XIV в. Ольгерд очистил от татар Подолию, и в XV в. литовско-русские поселения между Днестром и Днепром доходили до самого моря, откуда в Константинополь шла правильная торговля хлебом. Буджакская орда у нижнего Дуная и Крымская орда были таким образом разделены и должны были жить мирно с Юго-Западной Русью. Появление турок в 1475 г. в Крыму и затем у Очакова, подчинение ими Крымского ханства, Молдавии, заложение крепостей на северном берегу Черного моря открывает в истории Южной Руси эпоху, которая если не может быть названа временем ига татарского, так как и теперь власть татар над этой Русью не была признана и еще менее могла быть речь о поголовной переписи и дани, чего не делали татары в Руси Киево-Галицкой и в XIII в., то зато эта эпоха может быть с полным правом названа временем наиболее тяжкого действия над южнорусами меча и бича татарского. Набеги следовали за набегом со времени Менгли-Гирея, тем более, что с этого

времени Малороссия становится и предметом и отчасти театром спора между Литовско-Польским и Московским государствами, причем начиная с союзника Ивана III, Менгли-Гирея, татары становятся орудием то одного, то другого государства. Южная Русь обращается в место ловли татарами невольников, а Крым становится одним из главных невольничьих рынков в мире, снабжая нашими пленными Турцию, отчасти Азию и Африку и самые христианские государства, которые не стеснялись покупать у турок пленников русских для своих галер. (См. примечан. к №№30, 31, 45.) Так прошел конец XV и большая половина XVI в., пока казацкая колонизация в степях южных опять не вступила с татарами и турками, которые, заметим, з наших песнях стоят рядом и смешиваются, в спор за обладание и степью, и берегом моря. В эту эпоху должны были сложиться приблизительно в том виде, как мы имеем их теперь, те песни, которыми мы начинаем II часть. В эту же эпоху окончательно сложилась и характерная форма украинской думы, которой самые старые образцы, конечно, дума о *неволе турецкой* (№№30 и 31) и о *побеге трех братьев из неволи турецкой из Азова* (№35). Если, как это всеми признано, дума украинская по своему более мерно-прозаическому, чем стихотворному изложению сходна с "Словом о полку Игореве", которое можно назвать южно-русскою думою XII в., не имевшею только рифмы новейшей украинской думы, то во всяком случае характерно, что некоторые кобзари, дожившие до наших дней, называли всякую думу *невольницкою псальмою* (*"се невольницька, псальма настояща"*). Впрочем, и "Слово о полку Игореве" есть на добрую долю сказание о неволе братьев Игоря и Всеволода у половцев. Прочитав эти "невольницкие" думы и прозаические показания современников, приводимые нами в примечаниях к каждому №-ру, читатель яснее поймет

историческое значение казачества, которое собственными силами начало борьбу, сделавшую возможным правильный труд на огромной полосе России, начало в то время, когда удаленные от театра турецко-татарских набегов центры государств Польского и Московского не могли еще последовательно приняться за дело реакции татарам (на юге) и туркам; поймет, почему казаки, аванпост русской колонизации, непосредственно подверженной нападениям, не могли сообразовать своих отношений к татарам и туркам с колебаниями польской и московской дипломатии, которая периодически вступала в мирные договоры с государствами мусульманскими.

Со второй половины XVI в. начинаются песни, которые можно уже смело приурочивать не только к известной эпохе, но и к известным лицам и событиям, как в этом убедится читатель из сопоставления текстов песен с выписками из исторических сказаний, приводимыми нами в примечаниях к песням.

Делая вообще эти примечания, мы руководствовались, кроме объяснения состава песни, имен и важнейших предметов, в ней упоминаемых, главным образом желанием выписать из прозаических источников, туземных и иностранных, как можно более материала для того, чтоб можно было судить, *насколько песни, сохранившиеся в памяти поселянина малорусского в течение стольких веков, представляют поэтическое воспроизведение реальных образов действительности* этих веков, последовательно сменявшейся. Мы далеки от мысли, что привели все, что должно было привести в объяснение каждой бытовой подробности, напоминаемой или изображаемой песнею. Над нашими песнями еще много предстоит труда в том роде, какой мы сделали в примечаниях к ним, и только тогда песни эти явятся во всей своей цене. Во всяком случае, наде-

емся, что и настоящее издание покажет читателю реальный художественный характер песенного творчества малорусского народа.

Каждый отдел мы заключаем такими песнями, которые, нося в своей редакции следы той эпохи, куда они помещены, в то же время по сюжету не принадлежат исключительно малорусской поэзии и должны быть причислены к роду *бродячих песен*, более или менее общеевропейских. В таких случаях мы приводим в примечании ближайшие варианты из песен других народов по возможности целиком, другие сходные резюмируем. Так как окончательное решение вопроса о месте образования и способе распространения бродячих песен и рассказов требует обширного исследования песен и сказаний всех народов, для чего теперь еще далеко не собран весь материал, а даже из собранного мы далеко не все можем иметь под рукою, то мы и не брали на себя решать вопрос о происхождении всех тех из бродячих песен, какие помещены у нас. Мы считали только своею обязанностью указать на известные нам родственные нашим песни других народов и разгруппировать их по степени их сходства. Собственно, такие песни столь мало заключают в себе оригинально-национального, что редкая из них может быть принята в наш сборник. Но таких песен, общих малорусской поэзии с другими западными, немало. Мы выбрали из них только те, которые носят на себе следы редакции, совершившейся под влиянием известной определенной исторической обстановки. И эти немногие помещенные нами песни такого рода указывают на настоятельную необходимость предпринять сравнительное изучение малорусской народной поэзии как в видах отделения в ней туземного от пришлого, так и в видах определения степени культурного общения малорусов с другими народами, прямого и посредственного.

Сравнительные примечания найдет читатель и при некоторых песнях, туземность которых мы не думаем подвергать ни малейшему сомнению. Сравнение в таких случаях помогает освещению характерных особенностей наших песен, какие, впрочем, выставляются во многих подробностях передачи и тех песен, которые трудно признать туземными.

Нам остается сказать еще об одном обстоятельстве. Читатель не встретит в настоящем томе некоторых песен и дум, которые помещены были в других, прежде бывших изданиях. Дело в том, что и с малорусскою народною поэзией повторилось то же, что со всеми почти другими: ее памятники не только подправляли издатели, как это делал, напр., с великорусскими песнями Макаров, считая их в подлинном виде слишком грубыми, мужицкими, как сделано это с большею частью песен в доставленном нам рукописном сборнике Мартынова, из коего мы поместили некоторые образцы (см., напр., №42, вар. Д), но иные песни совсем переделывались, а другие — подделывались. Подобный пример в Западной Европе представляют признанные теперь всеми знатоками переделки и подделки в произведшем в свое время столько шуму и представляющем действительно большие достоинства, литературные и этнографические, сборнике бретонских песен Barzaz-Breiz Вилльмарке (1 изд. в 1839 г., с тех пор до 1867 г. семь изданий)*. В числе вопросов для Congrès scientifique de France, который собирался в 1872 г. в Saint-Brieuc, был заранее поставлен вопрос: "faire l'histoire *authentique* des chants populaires de la Bretagne" , — и с тех пор кельтисты Франции, Англии и Германии решили вопрос не в пользу

* См. об этом: Luzel "De l'authenticité des chants du Barzaz-Breiz de M. de la Villemarqué", 1872. О других подделках кельтских песен см. у Luzel, "Cwerzion Breiz Izel", 1868, p. 284, 285, 74, 75.

подлинности песен Вильмарке. В программе третьего русского археологического съезда поставлены вопросы о малорусских думах, аналогические с вопросом о кельтской, и трудно сомневаться, что и тут строгая критика признает подделки, вроде тех, какие открыты в кельтском сборнике. Кроме какого-то странного инстинкта к фальсификации, переделывать и подделывать песни и думы малорусские заставляли многих своеобразный патриотизм, русский и польский, стремление показать в народных песнях следы памяти о глубокой древности, что заметно в подделке думы "О походе князя-язычника в Византию" , сообщенной г-ну Кулишу Шишацким-Ильичем, в песнях, в коих упоминается Чернобог, Радзивилл и т. п., помещенных в "Памятниках нар[одного] творчества в Северо-зап[адном] крае", то провести приятные авторам мысли, напр., доказать поддельною думою симпатии казаков к Стефану Баторию[3] и польскому правительству (напр., в думе, сообщенной для "Запор[ожской] старины", I, стр. 77) или же, наоборот, перенести чувства виленских патриотов 1863 г. к полякам в народную песню ("Памят[ники] народного творчества Северо-зап[адного] края", стр. 7-116) и т. п. и т. п. Надо, впрочем, сказать, что из всех дум, которых подделность мы считаем возможным доказать, некоторыми литературными достоинствами отличаются только дума "Поход на поляков", или "О трех полководцах", помещенная в первой книжке "Запорожской старины" Срезневского (1833), откуда ее заимствовал сборник Максимовича, 1834 г. (стр. 27-35), сильно нравившаяся Гоголю, Белинскому (Сочин[ения], т. V, 86-90), помещенная в "Историч[еской] хрестоматии" г. Буслаева (стр. 1625) как "превосходная дума" и "образец малорусского наречия", изложенная также в "Истории русской литературы" Галахова (I, 213-214)*, и дума "Восстание Наливайка", помещ[енная] в "Запорожской старине", I, 86.

Остальные подделки до того полны ошибок в языке, до того различаются от народных песен в характере, что даже странно, как могли они вводить так долго в заблуждение людей, знакомых с характером неподдельно народных песен и дум малорусских. Большая часть поддельных песен и дум (надо сказать, что в этих подделках смешиваются весьма неумело внешние особенности песни и думы) говорит о времени казачества от Наливайки до Хмельницкого, и тут мы видим занесенными в эти quasi-народные памятники все заблуждения и ошибки историков 30-х годов, а именно доверие к "Истории русов", с которою большинство поддельных дум согласно в рассказе фактов в противность другим источникам и актам, чего в народных думах именно и не замечается, — перенесение Савы Чалого из XVIII в. в XVI, во время Наливайка, которому поддельные думы делают современником и современника Чалого Гнатка Голого, делая в тоже время из *кравчины*, т. е. отряда, лицо, издатели принимают за Наливайку, и т. д. и т. д. (См. напр., Максим[овича] сборн. 1834, 20 и след. 78-95.).

Мы решились поступить с такими песнями и думали так: чтоб сложить с себя всякую ответственность в субъективизме, мы не выключим совсем песен и дум, какие считаем поддельными, из нашего сборника но поместим их в самом конце с нашими примечаниями, которых изложим, почему какую мы считаем поддельною. Так из числа тех песен и дум,

---

* В думе этой, кроме странного, неисторического подбора имен, из которых Максимович Степана Кукурузу (?) почему-то считает Степаном Остряницей (Остряниным), бросается в глаза отсутствие всякого действия, замененного тремя монологами, и в заключение разгульная песня, которую будто бы сочинил один из героев думы, Карпо Пивтора Кожуха, коего "История русов" заставляет быть похороненным в "горелочной бочке" (!). Песню эту находим дальше в сборнике, в отд. бытовых, и она будто бы до того понравилась народу, что он усвоил ее и "переделал на разные лады" — Макс, op. cit., 47. Замечательно, что, несмотря на похвалы, которые снискала эта дума, Максимович не поместил ее в сборник 1849 г.

какие читатель мог бы, по их содержанию, надеяться встретить в настоящем томе, мы относим в категорию поддельных следующие:

1) Дума-сказание о морском походе старшего князя-язычника в христианскую землю, см. "Записки о Южной Руси" Кулиша, т. I, стр. 172-178, сообщил Шишацкий-Ильич. Дума будто бы записана от бабы Гуйдулихи, наполовину прозою, наполовину стихами, с непонятными и будто бы архаическими словами.

2) Две песни:

a) "Быв на Руси Чорный Бог,
Пред ним стояв Туров рог" и пр.

b) "В лиси в темном у Выслици
Среду бору на Кислици" и пр.

Стихи эти были напечатаны в "Вестнике Западной России" за январь 1865 с подписью А. С., а потом помещены в издании г. Гильдебрандта[4] "Памятники народного творчества в северо-западном крае", стр. 115-118, как "прекрасные песни, переданные М. О. Кояловичем"[5]. Замечания против подлинности их см. у г. Бессонова, "Белорусские песни", XLIX-L.

3) Отрывок о набегах татарских "Скоро й коні заржали", напеч[атано] у Метл[инского] (436-437) с пометкою: "Записал от старика в м. Олишевке Шишацкий-Ильич".

4) Такой же отрывок о "Малом Гарее", т. е. будто бы Менгли-Гирее; Метл[инский], стр. 373; помечено: "Записал от стариков в м. Олишевке Шишацкий-Ильич".

5) О казацком походе: "Розпустилися парості ясної зорі", Метл[инский], 436; из повести Гребенки "Иван Золотаренко".

6) Отрывок о Венцеславе, будто бы Венжине Хмельницком (Маким[ович], 1834, 82, Метл[инский], 374), который есть собственно часть распространенной в рукописных сборниках западного края песни о Скалозубе и помещен-

ной у г. Головацкого (Чтения в И[сторическом] моск[овском] общ[естве] истории и др[евностей], 1870, III, 113), песни о Ревухе, видимо, сочиненной каким-либо украинствовавшим польским поэтом в честь Ржевусского[6], пародировавшего перед 1830 казачество XVI в.

7) Одна дума и 4 песни о Серпяге, в котором видели казацкого вождя Подкову:

a) Дума, напечатанная в "Запорожской старине" Срезневского, 1, 123, с пометкою: "Со слов бандуриста" и повторенная в сборнике Максимовича 1849 г., стр. 27-30.

b) Песня, начинающаяся: "Ох і сила, сила силу подоліла", помещ[енная] в "Запор[ожской] стар[ине]", I, 34 и в "Украинск[их] нар[одных] п[еснях]" Максим[овича], 1834, 78, 79.

c) Песня "Ой у городі у Львові зашуміли верби", "Зап[орожская] стар[ина]", I, 33. Может быть, безымянная казацкая песня, подправленная.

d) Песня "За росою за бистрою б'еться турок з молдавою", помещ[енная] в сб[орнике] Костомарова в "Малор[усском] сборн[ике]" Мордовцева, стр. 183-185, повторена с переменою одного слова у г. Стецкого[7] — "Wołyn" 7, t. I, 116, без изменений у г. Пероговского[8] — "Волынские малор[усские] песни", 35-37, с изменениями нескольких слов в рукописном сборнике г. Краевского, Ворон[ежской] губ., Острогожск[ого] уезда.

Кроме того, у нас есть в рукописном сборнике А. А. Мартынова одна песня о Серпяге, приближенная к обстоятельствам истории Подковы.

8) Песня о Лободе и Сулиме, перепеч[атанная] Максим[овичем] (1834, 88-90) из "Запорожской старины"; в сб. Мартынова с изменениями.

9) Отрывок об атамане Случае, помещенный] у Макс[имовича] (1834, 118).

10) Дума "Про Дмитра Самійленка-Коломійця", приведенная Метлинским в его сборнике (стр. 374-376) с пометкою: "Записал около 1820 г. в г. Умани Киевской г. от Якова Самійленка-Коломієнка. В. Изопольский. "Athenaeum"[9] (виленский) 1844 г., т. V, стр. 26 и 27". Как во всех почти поддельных думах, и в этой размер песенный перемешан с речитативом дум. Дума эта с изменениями и в виде песни с равностопными стихами помещена в издании М[иколы] Г[атцука] "Ужинок рідного поля". М., 1859, стр. 272 и след.

Песни и думы, которые мы считаем поддельными и которые говорят о других эпохах, будут указаны в своем месте.

Кроме того, в настоящем томе читатель найдет несколько песен и отрывков, которые, по разным соображениям, мы не решились отнести в конец издания как вполне поддельные, но которые мы однако же считаем во всяком случае подправленными, иные до потери ими всякого научного интереса. Таковы №№39, 41, 48. Сомнение возбуждает и № 47. Под каждым № читатель найдет замечания, что́ мы имеем против и что́ можно сказать за подлинность песни.

Варианты песен и дум в нашем издании сгруппированы в следующей системе. Имея несколько вариантов одной и той же думы или песни, мы выбирали из них больше типический по содержанию и принимали его за основной, печатая впереди прочих и обозначая буквою А. Затем следуют прочие варианты: Б, В, Г и т. д. Если эти варианты оригинальны, то они напечатаны у нас целиком; если же они очень близки с предыдущими, то, для сокращения объема книги, мы печатали только строки, не сходные с предыдущим вариантом, указывая на сходные строки посредством цифр. Таким образом, выражение "11 Б = 10 А" означает, что 11 стих варианта Б совершенно сходен с 10 стихом

основного варианта А; выражение же "5 Д = 6 А... *козак*" означает подобное же сходство, за исключением одного слова *козак*, которое стоит в 5 строке варианта Д вместо соответствующего слова в 6 стихе варианта А.

Мы употребили эту систему, считая ее, с одной стороны, более удобною в типографском отношении и избавляющею читателя от чтения одного и того же несколько раз; в то же время думаем, что она дает исследователю полную возможность восстановить каждый сокращенный нами вариант во всей его целости.

УЧЕНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ В ЗАПАДНОРУССКИЙ КРАЙ

[Рец. на кн.:] Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западнорусский край, снаряженной Императорским русским географическим обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д[ействительным] чл[еном] П. П. Чубинским, в семи томах.

Последние 10-12 лет в русской ученой литературе характеризуются, между прочим, значительным вниманием к народной словесности. Большое количество изданий народных песен, сказок, пословиц, а также немалое число статей, монографий и книг по этому предмету начинает выгодно отличать нашу литературу даже среди других европейских. Но в этой литературе русской народной словесности есть один довольно крупный, хотя и не всеми примечаемый, недостаток, а именно — неполнота и односторонность: большая часть изданного в предпоследнее время материала относится к Великой Руси, и монографии и книги по народной словесности, быту и т. п., несмотря на общее название "русский", стоящее на их заголовках, почти исключительно занимаются великорусским бытом, великорусской поэзией, великорусским народным мировоззрением. А между тем нередко даже люди глубокой учености и тонкого анализа, делая свои заключения на основании одного только быта, словесности, мировоззрения великорусского, придают однако ж своим заключениям широкое значение суждений о всем русском племени. Таковы, напр., за этою оговоркою, достойные всякого почтения последние труды Г. Щапова[1].

Подобная неполнота и односторонность, составляя в научном отношении только источник неверных построений, отражаются, по необходимости, и в общем образовании, в школе, в журналистике уже более невыгодным образом. В то время, как, напр., горячие любители народной словесности, курсы, статьи и брошюры, популяризаторы толкуют юношеству, обществу и народу об Илье Муромце, Василисе Микуличне и т. п., входя часто в самые мелочные подробности, это юношество и это общество

воспитываются в полном неведении о том, напр., что такое малорусская дума и ее герои, не уступающие ни в народности, ни в значении великорусским, и можно встретить даже людей с высшим образованием и даже, трудно поверить, специалистов, которые имеют лишь весьма смутные понятия о малорусской народной словесности. Такого рода односторонность порождает особый, большей частью бессознательный, великорусский *партикуляризм**, тем более нежелательный, что он ведет за собой, как естественное свое последствие, партикуляризм и малорусский. С этим последним нельзя покончить иначе, как оказывая внимание, в науке и жизни, во всех тех случаях, где приходится иметь дело, кроме общерусского, *общественного*, элемента, с народным, в равной степени народному элементу обеих великих разновидностей одного русского народа, взаимно пополняющих и равно необходимых друг другу в целом**.

Вышеупомянутая односторонность отчасти может быть объяснена тем, что издания памятников малорусской народной словесности, явившиеся большей частью до 60-х годов, как, напр., издания гг. Максимовича, Срезневского, Метлинского, Кулиша, Костомарова и др., стали библиографической редкостью — именно потому, что упредили временем своего появления эпоху усиленного интереса к народному быту в наших культурных центрах. С 1863 г. в "Чтениях московского общества истории и древностей" печатаются "Народные песни Галицкой и

* Відокремленість (упор.).

** В последние годы все более выходит из тумана, составившегося из старых шляхетских привилегий и нашего невежества, еще третий русский народный мир, говоря словами г. Бессонова, "мир особый, на общерусском корне параллельный малорусскому и посредствующий между Русью Великой, с одной стороны, между западным славянством — с другой, — мир белорусский" (Бессонов, Белор. песни, III).

Угорской Руси", собранные г. Головацким и др.; сборник этот весьма не систематичен, варианты одной и той же песни встречаются в нем разбросанными, напр., таким образом: в 1 № "Чтений" за 1864 г., на стр. 1, 4, 13 и 71; разделение его отличается наивностью, напр., "песни и думки казацкие", "песни вояцкие", "думы о событиях обыкновенной жизни", "думки и песни образованного сословия" (отличаются в большинстве смесью приторности с цинизмом) и т. п. Но, во всяком случае, по богатству материала это одно из самых крупных и важных изданий в таком роде. В целом, напечатанное до сих пор составляет три объемистых тома; множество песен в нем отличается высокими эстетическими достоинствами и характерностью национальной и древностью, как местной, галицкой, так и общеюжнорусской, наконец и общерусской; другие поражают своей близостью с песнями западных славян и даже западных народов вообще. Появись подобное собрание на любом западноевропейском языке, или хоть даже на азиатском, но только в Западной Европе, о нем бы заговорила критика, им бы воспользовались исследователи, оно бы признано было крупным, плодотворным вкладом в национальную литературу и общечеловеческую науку. Но у нас не произошло ничего подобного: о собрании г. Головацкого было упомянуто только один раз вместе с другими этнографическими работами в одной из статей проф. Ор. Миллера в "Журнале Мин. нар. просвещ." за 1866 г., и до сих пор это богатое материалом издание прошло бесследно для нашей ученой литературы. Что до общества и публицистики, то, конечно, они еще меньше оказались в состоянии оценить такое издание и воспользоваться им. Не помогли и патриотические возгласы о "западном крае" и "братьях галичанах", ни личная история самого г. Головацкого, так интересовавшая некоторые наши издания. Наши журналы и

публика говорили больше о том, как г. Головацкий стал из австрийского каноника русским статским советником, чем о его богатом сборнике, а публицистика довольствовалась противоречивыми фразами то "об исконном руссизме" западной Руси, то "об ополячении" ее вместо того, чтобы заняться разбором песен, представляющих одно из верных зеркал народного быта этого края.

Между тем как специалисты и люди, которые по профессии должны бы были заниматься малорусской этнографией, оставили ее совершенно вне круга своих интересов, в противоположность 30-м и 40-м годам, когда изданием и объяснением малорусской народной словесности занимались люди с такой подготовкой, как Срезневский, Максимович, Метлинский, частные люди на юге России понемногу взялись за собирание и издание, если не за объяснение, богатого местного этнографического и художественного материала: в 1864 г. вышел обширный сборник "Украинских пословиц" г. Номиса и тощенький, но с почтенной попыткой на систематичность сборничек любовных песен (Пісні про кохання. Киев) г. Лавренко. Перед этим незадолго вышел музыкальный сборник "Українські пісні" г-жи Баллиной (Харьков, 1863), который заключает и не напечатанные дотоле варианты, интересные не только по музыке, но и по словам, равно как и небольшой сборник г. Гулака-Артемовского (Нар. укр. пісні з голосом. Киев, 1868) и изящный и богатый в музыкальном отношении сборник г. Лысенко (Збірник українських пісень. I-II. Лейпциг. Киев, 1869, 1871), который только в самое последнее время дождался рецензии специалиста вместе с сборником проф. Рубца (Нар. укр. песни. I-III. С.-Петербург, 1871-1873). В 1869 и 1870 гг. вышли в Киеве два выпуска "Народных южнорусских сказок" под редакцией г. Рудченко. Но издание, о котором мы сейчас упомянем, показало, что это все только небольшая часть того материала, какой лежал

бесплодно для науки в тетрадях любителей, рассеянных по южной Руси.

Императорскому русскому географическому обществу принадлежит честь сосредоточения и возбуждения усилий, направленных к изучению юга Руси в этнографическом отношении и восполнения в русской науке того пробела, какой образовался благодаря отсутствию там таких учреждений, как московские — общество любителей русской словесности, общество истории и древностей, и небрежению к местному народному этнографическому материалу. Косвенно помогли тут те толки о "западном крае", которые заняли наше общество и печать после польского восстания 1862-1863 гг.

С 1862 по 1869 г. географическое общество, по инициативе бывшего министра народного просвещения г. Головнина, обсуждало разные программы для этнографо-статистического исследования так называемых западных губерний в трех их областях: литовской, белорусской и украинской, или, точнее, малорусской. В обе первые были отправляемы и экспедиции, но до сих пор мы не видим в печати трудов их, а одну из экспедиций, а именно в Белоруссию, комитет общества прямо признал "не увенчавшейся успехом". По всему видно, что в Литве и Белоруссии не оказалось местных сил, которые бы дали опору для ученой экспедиции; приезжие же "силы", вызванные после 1863 г. служебными льготами, оказались не на высоте задачи этнографического изучения края, который многие из них считали даже в корень "нечистым", или же их хватило только на широкие планы. Действительно, мы видим, что до 1863 г. этнографические работы о Белоруссии принадлежат почти все полякам (Чечет[2], Зенькевич[3], Киркор[4] и др.). В 1863-64 г., если не считать серьезного описания Гродненской губернии г. Бобровского (2 т., 1843 г.), то окажется, что русских сил хватило только

на издание беспорядочного и слабого во всех отношениях сборника "Памятников народного творчества северо-западного края", изданного при "Виленском вестнике" под редакцией г. Гильдебрандта. В довершение, в этом сборнике помещены как народные песни заведомо сочиненные виленскими литераторами, которые перед тем печатались в местных журналах с авторскими подписями*. Два толковых сборника белорусских песен г. Бессонова и г. Шеина[5] появились в самое последнее время (в 1873 и 1874 гг.); оба принадлежат людям частным и посторонним краю, а первый снабжен предисловием, весьма резко относящимся ко многим деятелям в северо-западном крае и к их отношению к белорусскому народу. Серьезный труд по белорусской этнографии, сделанный русским местного происхождения, мы имеем только в белорусских пословицах, собранных г. Носовичем[6] и изданных императорским географическим обществом. Г. Носович участвовал богатым вкладом и в вышеупомянутый сборник г. Шеина.

Если планы географического общества относительно описания третьей части западного края, малорусской, увенчались лучшим успехом, то этому причиной то обстоятельство, что здесь местное общество было приготовлено к такой работе умственным движением предыдущего времени, благодаря которому здесь русские этнографические труды, большей частью уже упомянутых выше лиц, взяли перевес над, во всяком случае, достойными почтения трудами польскими гг. Руликовского ("Opiś powiatu Wasilkowskiego". Warszawa, 1853). Новосельского ("Lud ukraiński", Wilno, 1857), Стецкого ("Wołyń pod względem statystycznym, historycznym i archeologicznym". Lwów, 1864). В 1869 г. географическое общество возложило на члена своего, г. Чубинского,

* См. об этом и вообще критику издания г. Гильдебрандта у г. Бессонова, Белорусские песни, I, XLIX и след.

поручение объехать область малорусского племени на правом берегу Днепра, т. е. губернии Киевскую, Волынскую, Подольскую, южные части Минской, Гродненской, край холмский, часть седлецкого и люблинского, что и было исполнено г. Чубинским в три поездки в 1869-1870 г. Во время этих поездок г. Чубинским и его помощниками было собрано множество разнородного этнографического материала (4000 песен, 300 сказок и т. п.). Кроме того, едва ли не больше доставлено было разными лицами, уже и прежде занимавшимися малорусской этнографией, не только на правом берегу Днепра, но и на левом и отчасти в Новороссии, до сих пор еще мало исследованой в этнографическом отношении. Из таких лиц, как видно по заметкам в "Трудах" экспедиции г. Чубинского, особенно много доставили материалов гг. Костомаров, Кулиш, Дыминский (2000 вариантов песен), Новицкий (5000 вариантов песен, записанных им и другими лицами), Залюбовский, Андриевский и др. Г. Лысенко положил на ноты много свадебных и обрядовых песен, отличающихся наибольшей древностью, а потому в особенности интересных для истории русской музыки. Гг. Новицкий и Ефименко приняли участие в составлении программ для экспедиции, г. Кистяковский — в приведении в систему решений волостных судов, г. Антонович доставил данные для истории колдовства, г. Полинковский составил большую часть статьи о евреях, г. Михальчук принял участие в составлении статьи о поляках, г. Симиренко доставил фотографии с предметов бытовой обстановки и с типичных лиц. Многие лица доставили замечания о хозяйстве и других сторонах быта народного.

Не мудрено, что при таких условиях в результате экспедиции г. Чубинского составилось собрание материалов поистине изумительного количества, особенно если примем во внимание, что варианты песен приведены г. Чубинским не

вполне, а по особой системе, с приведением только тех мест и слов варианта, которые отличаются от слов основного. Весь материал, доставленный г. Чубинским, географическое общество предположило издать в семи томах: Том I-й (два выпуска): общее предисловие; легенды, загадки, пословицы, колдовство. Том II-й: сказки мифические и бытовые. Том III-й: народный календарь. Том IV-й: песни обрядовые. Том V-й: песни бытовые. Том VI-й: волостные суды. Том VII-й (два выпуска): евреи, поляки; статистика малорусского населения; обзор малорусских говоров; жилище, пища и одежда малороссов. Вся эта коллекция печатается под общим заглавием: "Труды этнографическо-статистической экспедиции в западнорусский край, снаряженной Императорским русским географическим обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. П. Чубинским".

По настоящее время напечатаны: 1 выпуск 1-го тома (1872 г., 224 стр.); III т. (486 стр., 1872 г.); 1-й выпуск VII т. (1872 г., 406 стр.) и V т. (1874 г., 1209 стр.). О них-то мы и думаем дать краткий отчет читателю, исключив один первый выпуск седьмого тома как относящегося к всельникам*.

Из указания числа страниц напечатанных до сих пор томов материалов, доставленных и собранных г. Чубинским, можно составить понятие об объемах этой громадной коллекции. Из перечня содержания каждого тома можно видеть также, что вся эта коллекция не отличается систематичностью и логичностью в распределении материала: мы видим то слишком частные подразделения, не соподчиненные никакому общему, как в I томе и в VII, то слишком общие, как в V томе: ведь все песни бытовые, и

* Этому выпуску была посвящена у нас особая статья М. П. Драгоманова "Евреи и поляки в юго-западном крае", в июле 1875 г., стр. 133. — Ред. ["Вестника Европы"].

действительно, мы видим в V томе всякие песни — от любовных до исторических; то видим, что заглавия не выдержаны логично: обрядовым песням отмечен особый том, IV-й, но ведь и колядки, напр., и веснянки тоже в своем роде обрядовые; в III т. собраны песни, и поверья, и обряды, привязанные к каким-нибудь дням в году, почему этот том и назван "Народный дневник", но тут многие поверья и песни о святых совершенно того же рода, что и в первом томе, напр., особенно духовные песни. Не сомневаемся, что во II томе, где будут помещены сказки, мы найдем много совершенно однородного с рассказами и поверьями о зверях, растениях, чертях, которые мы видим в I томе. Останавливаемся на всем этом потому, что вообще в наших этнографических изданиях классификация материала — слабая сторона и будет такою, пока в основу ее не положена будет генетическая классификация частей антропологии и социологии. По этой классификации материал, представленный г. Чубинским, должен бы был расположиться приблизительно в таком роде: Числовое описание племен, населяющих юго-западный край; антропологическое их описание. Данные быта семейного. Данные быта общественного. Данные для характеристики мировоззрения народного (языческие, христианские знания). Народная беллетристика — сказки и баллады, т. е. такие песни, как, напр., об убийстве разбойником брата жениного, отравление сестрой брата и т. п., которые теперь г. Чубинский поместил в бытовых песнях в таких главах, как "отношения к родственникам жены", или для которых он придумал такой отдел, как "отравление", между тем как песни такого рода вовсе не отражение типических сторон быта, но поются ради эффектности сюжета, как ради того же слушаются сказки, и большей частью, как и сказки, принадлежат к числу так называемых "бродячих рассказов", т. е. встречаемых чуть не у всех европейских и у многих азиатских народов. Само

собой разумеется, что в каждом отделе данные должны быть распределены, елико возможно, по культурно-историческим эпохам. Но если этого сделать нельзя, то лучше всего распределить их по какой-нибудь легкой внешней системе, в роде алфавитной или календарной для святых, зоологической или ботанической, как, напр., это сделано в "Deutsche Pflanzensagen" Пергера (1864), в которой только, к сожалению, как и у г. Чубинского, в I томе, растения не названы по-латыни, а только народными именами. Тогда, по крайней мере, хоть легко можно бы было пользоваться материалом для справок и пополнять его, что вовсе не легко при теперешних системах распределения этнографического материала, в том числе и той, какая принята в собрании г. Чубинского.

В этом последнем издании, чем больше всматриваешься во внутренность каждого тома, тем больше видишь следов необдуманности классификации материала не только по томам, но и по отделам и главам. Так, в первом томе видим целые главы, напр., I, II, 1-й отдел V, или, пожалуй, всю V главу, совсем без заглавия; пятую главу видим озаглавленной и разделенной следующим образом: мир духовный (после какого заглавия стоят легенды о сотворении мира, сказания о Боге, Христе, сказания и песни о святых), духовные песни, черти, духо-человеки (между которыми встречаем, рядом с русалками, и ведьм, знахаря и даже мясо гада!), мифические существа (в числе коих видим змея, коего встречали и выше, грифа — и пигмеев, богатырей и т. п.), олицетворения (напр., доля, смерть, — а "злыдни" в предыдущей главе! — и рахманов [7], которым место рядом с сыроедами, пигмеями и т. п., и даже страшный суд, которому совсем тут не место). Миновавши все странности и нелогичности, только что отмеченные, нельзя не заметить, что все почти предметы V главы могут быть названы одинаково удобно мифическими существами или олицетворениями. Подобные же стран-

ности и нелогичности встречаем и в разделении песен, наполняющих огромный V том, названный окончательно: песни любовные, семейные, бытовые и шуточные. Первые, напр., разделяются между прочим на "любовь девушки, любовь парня", а дальше еще "счастливая любовь", а посередине: "посещение девушки парнем", или дальше: "несчастная любовь", а особо "разлука", "измена" и т. п., и даже "отчаяние" и т. д., и т. п. Особый отдел для "шуточных песен" был бы только тогда понятен, если бы эти песни были в свою очередь разделены логично, сообразно делению песен нешуточных, и если бы в этих последних мы не встречали особых отделов, как "пьяницкие", "сословные", которые совершенно одного рода с помещенными в "шуточных". А хуже всего в данном случае то, что в отделах, названных так нешуточно, как "любовь девушки", "любовь парня" и т. п., встречаем не только однородные песни с шуточными, но прямо варианты этих последних. Так, напр., исследователь впадет в большую ошибку, если будет видеть серьезные типические черты "любви девушки" малорусской в таких песнях, как №19 (стр. 9), с такими стихами, как:

На вгороді бузина корінистая,
Чортова дівчина норовистая.

Но и этим не ограничивается слабая сторона издания г. Чубинского по части систематизации материала. На какие бы отделы ни был разделен его сборник, в какой бы отдел ни попала известная песня, но можно требовать, чтоб все ее варианты были в одном месте, особенно при системе издания и счета песен и вариантов, принятой г. Чубинским, по которой песни отмечаются цифрами 1, 2, 3 и т. д., а варианты каждого номера буквами А, Б, В и т. д. Но какое же серьезное значение имеет счет г. Чубинского, если у него встречаете то и дело варианты одной и той же песни как отдельные номера, помещенные через несколько песен от

своих товарищей, и почти всегда независимо от того новые варианты еще и в других отделах. Так, напр., в том же отделе "Любовь девушки" находим варианты одной и той же песни под №11 и 51, под №14 и 46 или же под №44 и далее под №214, и потом в отделе шуточных (стр. 1179) под №230 и еще там же под №236. Мы нарочно привели все почти эти примеры из одного отдела — для того, чтоб читатель видел, как много небрежностей в систематизации песен представляет сборник г. Чубинского и как легко было избежать их, так как удержать в памяти содержание песен одного отдела во время редакции его вещь не трудная, а при общей редакции тома достаточно было пересмотреть внимательно оглавление его, чтоб заметить, в каких случаях варианты одной и той же песни и с одним и тем же характером помещены в разных отделах. Мы привели примеры все почти из одного отдела и далеко не исчерпали их; но каждый отдел V-го тома сборника г. Чубинского полон примерами такой же небрежной систематизации, и мы бы не скоро кончили, если бы вздумали перечислять даже важнейшие примеры*. Довольно сказать, что даже варианты таких известных и характерных песен, как "Королевич" (смерть жены от родов), помещены на стр. 365 в отделе любовных песен с наивным названием "болезнь и смерть" и на стр. 766-778 в отделе семейных песен, под заглавием "смерть жены" и проч.; "Немерівна" помещена на стр. 625 в

* Вот еще несколько примеров: на стр. 335-337 помещены варианты А, Б, В, Г номера 660, а под №662 еще один вариант помещен как особая песня, и потом опять новый под №664 и под №690; №678 есть только вариант №663, № 668 — вариант №665, №677 — вариант №673; 678-663, №684, 685, 686, 687, 693 не отвечают тому отделу, в котором помещены. №709 — вариант 698. В отделе казацких песен вар. 1 номера 21 есть вариант №26 и №46; №27 — вариант №25, №29 — №21, №36 — №9, №37 - опять №21, вариант к №41 встречаем далее под №127. Варианты известной юмористической песни "Мищанка" видим на стр. 1075 и 1171. "Птичью свадьбу" — на стр. 1124 и 1144.

отделе "невыгодные последствия положения женщины" и на стр. 892 в особом отделе "положение дочери в семье"; песни о свадьбе брата с сестрою - на стр. 201 в отделе "несчастная любовь" (совсем соответственно содержанию песни) и на стр. 910 в отделе, тоже довольно странном, "братья и сестры" и т. п. Все эти примеры приведены нами из V тома, но и в III томе мы встречаем не меньше примеров такого же разделения вариантов одних и тех же веснянок, колядок, щедривок и т. п., и сведéния разнородных вместе, благодаря только сходству двух-трех случайно приросших стихов (ср. напр. в колядках №1 и 39, Д, или №59, Е). Некоторые из разлученных произвольно вариантов сведены посредством подстрочных указаний (см., напр., в колядках №5 и 32 и т. п.), но многие так и остались удаленными один от другого (напр. №42 от 5 и 32 или №№25, 28 и 132). Вообще же колядки расположены совершенно без системы и колядки народные перемешаны с книжными, с виршами, чисто языческие с христианскими, серьезные с пародиями, как будто нарочно возможно бессистемнее*.

В I томе песен немного, а потому такой разбросанности материала, как в III и V т., быть не могло. Но зато тут встречаем часто бессодержательные заявления, как, напр., на стр. 152: "Луцкий уезд. О Спасителе народ имеет правильное понятие". Что за исключительный Луцкий уезд! Или на стр. 159: "Ушицкий уезд. О святом Духе народ имеет пра-

* К числу вещей, вызывающих улыбку, в собрании г. Чубинского надо отнести вопросительные знаки, которые он ставит подле искаженных слов, о которых однако ж совсем не трудно догадаться, что они значат; между тем иной подумает, что это слова, неизвестные собирателю. Так, напр., *кіоству* — очевидно не что иное, как к *різдву*, *счолося — счалося*, *дрегло — древо* и т. В иных случаях искажение могло случиться при записывании мало приготовленным лицом. Почему же поставлен знак непонимания при стихе: дочка до неньки сміло фука (стр. 415), совсем непонятно. Что непонятного в слове *цукюйки* (стр. 392, т. III) — уздечка (Zügel)?

вильное понятие". И больше ничего не говорится о представлениях народа о св. Духе! На стр. 25 находим даже такое уверение, что в Холмской Руси "дождь, снег, град, роса объясняются физически правильно". Это тем более удивительно, что до сих пор и ученые не знают правильного объяснения образования грозы. Все такие уверения означают просто, что иные из доставлявших г. Чубинскому сведения лиц или отличались малой догадливостью, или старались наполнить все рубрики программы ответами как попало, а г. Чубинский все эти ответы и внес в свои книги*.

Том VI (решения волостных судов) отличается наибольшей систематичностью в распределении материала, особенно решений уголовного характера. Правда, что такой материал наиболее легко подчиняется сортировке; рубрики же для него готовы благодаря систематике уголовного и гражданского права. Решениям предпослана обстоятельная статья г. Кистяковского "Волостные судьи, их история, настоящая их практика и настоящее положение", в которой кажется только странным, что автор, имея в виду материал народного суда в Малороссии, говорит довольно подробно о народном суде в Московском государстве и совсем ничего не говорит о суде в литовском-польском; чтобы говорить о последнем, правда, пришлось бы обратиться к актам, грамотам и вообще к сырым материалам. За статьей г. Кистяковского следует несколько афорическая вначале, но довольно живая статья г. Чубинского "Краткий очерк народных юридических обычаев на основании прилагаемых гражданских решений". Жаль, что автор не привел здесь всей статьи своей "Очерк народных юридических обычаев и понятий в Малороссии", в коей,

* Не лучше и такое сведение, какое находим во II т., стр. 223: "29 июня. Женщины в этот день празднуют "брикси". Что это за "брикси" — не сказано.

между прочим, сделано несколько интересных сближений черт народного права в Малороссии с древнерусскими, отразившимися в "Русской Правде", "Псковской судной грамоте" и т. п.

Разбор юридического материала, заключающегося в VI томе, предоставляем специалистам*. Общий интерес в нем имеет вопрос о доброкачественности крестьянского суда, и уже по этому вопросу мы укажем на предисловие г. Чубинского, который говорит, между прочим, что, пересмотрев книги множества судов и выбрав из них более 1000 копий решений, он не встретил ни одного нелепого и явно недобросовестного решения; что, несмотря на недружелюбное отношение крестьянского населения к евреям и польским помещикам, последние очень часто (30% всех случаев) обращаются к волостным судам, к чему они не обязаны по закону и чего не делали бы, если бы суды эти были плохи и т. д.

Вообще, несмотря на недостатки систематизации, которые произошли, видимо, от поспешности работы, собрание г. Чубинского представляет в своем роде редкое, а в нашей литературе едва ли не единственное издание по богатству и разнообразию материала. Без сомнения, научная разработка его может занять не одного ученого и на долгое время. В настоящей рецензии мы желали бы только указать вообще на значение этого издания и остановимся только на немногих частностях.

Как ни многочислен и ни интересен материал для характеристики разных сторон народного быта, преимущественного семейного, какой представляет огромный V том "Материалов", мы, однако, не будем говорить теперь о

* VI том "Трудов экспедиции" г. Чубинского послужил уже, между прочим, материалом для статьи г-жи Ефименковой в "Знании" "Народные юридические воззрения на брак".

нем, пока не выйдет IV том, обещающий обрядовые песни, где, вероятно, будут главным образом свадебные песни. Мы полагаем, что заключения о народном быте по памятникам его словесности тогда только будут носить научный характер, когда они не будут опираться на абсолютный метод, забывающий, что народная словесность настоящего времени все равно что земная кора для геолога, заключает в себе осадки различных культурных эпох, а кроме того, в народе есть разные положения, разные характеры и т. п., что народ, словом, не безразличная масса, которая *вообще* может быть характеризована по словесности ее. Обрядовы песни заключают в себе черты быта от древнейших его форм до новейших, а потому они должны быть, по нашему мнению, точкой отправления при изучении народной словесности.

Но 1-й вып. I тома и III том "Материалов" заключают в себе довольно законченный круг данных для характеристики верований малорусских поселян. Мы не считаем себя вправе оставить речь о настоящем издании, не сказавши хоть несколько слов об этих данных. Достаточно однако беглого взгляда на эти данные, на поверья, легенды, сказки, песни, вирши и т. п., чтобы пришла в голову мысль: как можно было говорить столько о том, что русская народность древнейшего исторического русского края, в коем народ до самого последнего времени не переставал проявлять себя активно, испортилась или затемнилась, утратила свой русский характер, ополячилась и т. п.? Конечно, в быту народа, жившего и действовавшего в течение 1000 лет в известных отношениях с другими народами, имевшего различные культурные слои, не могло не накопиться много нового, много сходного с чужим. Но в то же время теперь, когда о быте, верованиях, словесности правобережной Малороссии и Галичины мы имеем благодаря сборникам гг. Головацкого и Чубинского такое множество материала,

скорее приходится сказать, что вряд ли где-либо сохранились в таком количестве древнейшие черты русской народности, как в этих будто бы "ополяченных" краях. И если мы воздерживаемся от решительного произнесения такого приговора, так это потому, что боимся, как бы в этом выводе не играло роль главным образом то, что другие края теперь оказываются просто меньше исследованными, чем Галиция и юго-западный край.

Недавно вышедшие сборники белорусских песен гг. Бессонова и Шеина показывают, например, тоже множество древнейших русских бытовых черт в другом крае и опять-таки в том, который многие считают "не чисто русским".

Как бы то ни было, а верования и песни I и III тома "Материалов", собранных экспедицией г. Чубинского в юго-западный край, на каждом шагу заставляют вспоминать древнейшую Русь, дотатарскую, ее летописи, проповеди духовных, обличения, а также юго-западных славян и в то же время очень часто и великорусских раскольников, их духовные стихи, книгу Голубиную[8] и т. д. Таковы, например, рассказы о сотворении мира с участием черта, о происхождении гор, верования, представляющие любопытнейшую аналогию с богумильскими и манихейскими и через эти последние с зендскими, изложенными в Бундегеше*. Напечатанные в III т. "Материалов" г. Чубинского колядки представляют целые Веды[9] южнорусские, по которым можно проследить оттенки религиозных представлений от древнейших времен до

* Чубинск., т. I, стр. 143, 185, 191, 192, 142, 145, 146, 147, 151. В Бундегеше творение существующего мира производится при борьбе злого духа с первосозданными Азурой предметами; Justi, Der Bundehest, VI-XI. Ближайшие к напечатанным у г. Чубинского верования южнорусские, севернорусские и др. приведены у Афанасьева — "Поэтич. воззрения славян на природу", т. III, стр. 458 и след. Богумильское влияние на южнорусскую народную словесность не подлежит сомнению: многие колядки, напр., прямо подходят к песням попа Богумила, "как Христа в попы ставили" и как "Христос плугом орал" (см. ниже).

позднейших. Вот, например, колядка, которая своими образами напоминает гимны Индре[10] и многие псалмы, воспевающие бога, проявляющегося в громе:

Ой із-за гори, з-за зеленої
Виходить нам чорна хмара (туча),
Але не є то чорна хмара,
Але но є то Напередовець,
Напередовець, красний молодець.
Заперезався чорною ожиною (ежевикой),
За тою ожиною та три трубоньки:
І Перша трубонька та роговая,
Друга трубонька та золотая,
Третя трубонька та жубровая (зубровая).
Та як затрубить та в роговую,
Та врадуєся весь звір у полі;
Та як затрубить та в золотую,
Та врадуєся вся риба в морі;
Та як затрубить та в жубровую,
Та врадуєся весь мир на землі (стр. 291).

Другие варианты этой колядки больше приспособлены к восхвалению пастуха и почти совсем чужды космических образов (там же, стр. 293, 469); но вот еще новые образы из одного варианта:

Як затрубить в золотую,
І пішли голоса попід небеса,
Небеса ся ростворили,
Всі святі ся поклонили* (стр. 405).

* Ср. Rig – Veda, 1, 4, г. 8, перев. Langlois ("Biblioth. oriental", 1872, I), стр. 75: "О, Магавон (Индра)... твое могущество не знает соперника! Страшным громом ты заставляешь звучать реки и волны!!" ...стр. 89, гимн XIX — 14, "Бог, носящий молнию, от звука, который ты производишь, возбуждаются все существа одушевленные и неодушевленные, и сам Твашгри (Гефест), испуганный твоим гневом, дрожит, о Индра, видя, как ты освящаешь царство твое". В малорусских поверьях тучи также часто представляются чертями, как в Ведах Азурами. См. Чубинского, т. I, 22-25.

Место не позволяет нам больше выписывать текстов колядок из III тома "Материалов", и мы ограничиваемся только указанием их наиболее интересных и отличных одна от другой категорий. Таковы, 1) колядки с явными следами древнейшего натуралистического культа или мировоззрения, явно образовавшиеся из древнейших религиозных гимнов, в роде Вед или гимнов так называемых гомеровских, как, например, вышеприведенная; ср. также о заре колядки на стр. 281, 391, 395, 420; о солнце, месяце, ветре и т. п. на стр. 409, 404, 415, 452-453; о коне и герое, устроящих небо (стр. 291-292)*; 2) колядки, в которых слиты образы христианских святых с образами антропоморфических богов, покровителей земледелия (св. Петр, Илья или сам Бог орут ниву, ходят за овцами и т. п.), напр., на стр. 385, 321, 346, 348, 421, 428, 450-451, 453, 337, 352, 390, 453; 3) колядки со следами религиозного мировоззрения, высшего от первобытно-натуралистического, но и не чистого православно-богословского, со следами мировоззрения дуалистического (вроде богумильства) и пантеистического, напр., основание мира двумя голубями, построение церкви с тремя окнами — небо и троица (Чуб. III, 280 и др.), спор св. Петра и Бога о величине земли (стр. 307, 344-346), олицетворение Христа птицей, рыбой, евангелия — цветком, расцвет розы на Рождество, течение реки

* С последн. сравн. в Риг-Веде (I, 1, 6) слова о том, как Индра, едучи на колеснице, дает образ хаосу.

В колядках №31 (стр. 294-95), 85 (стр. 357), 151 (стр. 422-23) можно видеть или темные, или модернизированные черты представлений о царе-праотце, терпящем от врага, как Джемшид или Иима. Колядка №120 (стр. 392) представляет, кажется, следы культа Леля[11], солнца в виде "белого дитяти", как в Ведах называется восходящее солнце.

В колядках №139 месяц и сестра его - заря обходят мир, смотря, готовят ли хозяева мед, вино, калачи и т. п. жертвы. Ср. Rig-Veda, Langlois, p. 45, IX, 1 Малор. колядку о чудесном коне ср. с белор. у Бессонова, стр. 75.

из слезы, уроненной ангелом, из крови Христа, и рождение Христа среди винограда, и т. п. (см., напр., стр. 298, 343, 353, 324, 447-449, 306, 434, 335, 407 и т. д.)*. Сюда же примыкают колядки и щедривки, говорящие о встрече Марии Девы с жидами, о разговоре ее с Христом о муках и т. д., напр., стр. 343, 349, 353, 447, 442, 444, 449,481, о лежании Христа в гробу (447)**; 4) колядки книжно-бурсацкого характера из богогласников XVI-XVII в. (стр. 327, 328 и др.)***; 5) колядки, представляющие обломки вертепной и вообще рождественской драмы (стр. 329), часто наивно или с юмором трактующие предмет (№73, стр. 342, как лицьвяки, т. е. белорусы, приносят дары Христу; №84, стр. 355, и №100, стр. 376 — Христа хвалят звезды, кони казацкие, бурсак, забывший по-латыни, пастухи; №104, стр. 381 — празднование родин Христа на небе, ср. №166 и т.п.); 6) шутки и пародии мальчиков (стр. 427, 430, 434, 463, 476-77), бурсаков (стр. 426), лакеев (425) и т. п., так сказать, карнавальный элемент праздника и обряда. Все эти роды колядок отвечают разным эпохам религиозного мировоззрения и отношения к празднику и обряду, так что в колядках мы имеем и черты древнейшего мировоззре-

---

* В одной колядке два ангела являются в виде голубей и говорят (стр. 417):

Ми випитуєм, ми вивідуєм,
Що ся діє межи мирами:
Пани весь світ заняли (в другом варианте - жиди и пани),
Брат на брата ворогує и т. д.

В другом варианте стоит и такой стих:

А царь на царя войни силає.

В иных колядках ангелы дышат над Христом в яслях, в других - волы (стр. 326, 355, 449). Волы часто зовутся святыми. Ср. Чуб., т. I, стр. 48. В Знаиме, в Моравии, на старой фреске, изображающей Рождество, над волами нарисованы ореолы, как над святыми. L. Leger . Le Monde slave, 217.

** С последнею сходна моравская песня Tre ložé (Sušila, Moravské narodni pisně s nápěvy, 1872, 47 Ср.Сахарова, I, 93, 133.

*** №60, стр. 333, прямо церковный ирмос: Дева днесь и т. д.

ния, и позднейшие наслойки. Некоторые колядки, наконец, не имеют вовсе религиозного характера, а составляют просто житейские восхваления хозяев, девушек, парней, священников. Этот, 7-й род колядок поражает, между прочим, чертами древнего и вовсе не крестьянского быта: и одежда в них вспоминается кованая, с оружием, часто стрелами, шубы куньи; молодые люди представляются героями, предводителями войск, сидят в шатрах со слугами-товарищами, осаждают города и т. п. Очевидно, что эти образы взяты из быта дружины и князей времен удельных (см., напр., Чуб., т. III, стр. 433, 312-313, 307-310, 321).

Одна колядка представляет черты быта еще докняжеского: в ней мужи собираются спуститься по Дунаю и поступить в службу в Царьграде (стр. 297 и 440). Впрочем, варианты колядок с чертами героического быта удельной эпохи лучше, полнее и многочисленнее в сборнике галицких песен г. Головацкого; они приведены и объяснены в сборнике "Исторические песни малорусского народа", недавно изданном г. Антоновичем и Драгомановым.

Таким образом, в малорусских колядках, которых напечатано теперь такое множество благодаря сборникам гг. Головацкого и Чубинского, мы имеем остатки самого древнего эпоса русского, религиозного и героического, сохранившиеся благодаря их обрядовому характеру в том крае, где впервые организовалось русское племя. Древность колядок, между прочим, доказывается сходством с ними малорусских "волочобных песен". Будучи прокомментированы с помощью летописей, поучений и вообще памятников древнейшей русской литературы, а также сравнительно с песнями других народов, особенно славянских, колядки, веснянки, да и вообще обрядные песни малорусские представили бы драгоценный источник для уразумения

старины славяно-русской*. Теперь, когда издано немало песен другой русской земли древнего заселения — Белоруссии, а также когда, благодаря другому сборнику г. Шеина, мы имеем впервые после Сахарова довольно полный и систематический сборник аналогических песен (семейных и обрядовых) великорусских, мы вправе ожидать от наших специалистов серьезного сравнительного исследованния о бытовых чертах в семейных и обрядовых песнях трех ветвей русского племени. Занятые в последнее время почти исключительно великорусскими былинами, наши специалисты оставляли почти без внимания и великорусские семейные и обрядовые песни, и вообще так называемые лирические; на малорусские же и белорусские песни наши ученые вовсе

---

* Представленное выше указание древнейших и новейших категорий, на которые разделяются колядки, есть уже само собой ответ на то мнение о колядках малорусских, какое высказано было г. А. Веселовским в рецензии на "Исторические песни малорусского народа", т. I, напечатанной в "С.-Петербургских ведомостях", 1875, №278. Г. Веселовский, как нам кажется, слишком далеко заходит в приложении в данном случае теории позднейшего культурно-христианского происхождения, распространения таких памятников народной словесности, как песни, а особенно обрядовые, которые далеко не то, что сказки, легенды или даже баллады. По г. Веселовскому, обычай колядовать — христианского происхождения, а колядки — песни, в коих в искаженном виде передаются черты рождественской драмы, представляемой ходящими с *вертепом* и *звездою*, отсюда — три царя превращаются в месяц, солнце и дождь, месяц, солнце, звезды и т. д., и т. д. Мы не будем поддерживать мифологических объяснений слова *коляда*, которые, однако, до сих пор в ходу у занимающихся русскими древностями; мы готовы принять, что коляда — calendae, но не можем принять, что в колядках нет следов дохристианского культа, ибо он слишком очевиден во множестве колядок, как и в других обрядовых и *периодических* русских песнях, с коими мы считаем особенно необходимым сравнивать колядки. Так, напр., мы считаем чрезвычайно важным, что в малорусских колядках есть явные веснянки, что, очевидно, может быть объяснено как тем, что такие песни могли составиться еще в *дунайский* период жительства славяно-русского племени, когда праздник начала весны мог быть недалеко от 25 декабря — 1 января, чем объясняется и роль, какую играет во многих малорусских колядках виноград; не менее важно и то сходство, какое существует между малорусскими колядками и белорусскими волочобными песнями, которые поются на светлый праздник, уже прямо совпадающий с

почти не обращали внимания в последние двадцать лет, после Максимовича, Метлинского, Костомарова, которого исследование о южнорусских песнях в "Беседе"[12], долженствовавшее дать в новом, более полном виде труд его, изданный в сороковые годы, к сожалению, прерван с прекращением "Беседы". Теперь, после сборников Бессонова, Шеина, Головацкого и Чубинского, уже нельзя ни игнорировать, ни ограничиваться общими словами о песнях и вообще памятниках народной словесности белорусских и малорусских.

Нам остается сказать лишь по нескольку слов о других изданиях, однородных по материалу с тем огромным

весенним праздником в наших широтах. Видимо, что значительная часть песен языческого весеннего праздника прибилась в христианскую эпоху на юге Рождеству (колядки) и Новому году (щедривки), а севернее — к празднику Воскресения Христова. Уже волочобных песен г. Веселовскому вряд ли удастся вывести из рождественской драмы. Да и малорусские колядки, принадлежащие явно к обломкам и потомкам этой драмы, довольно ясно выделяются из ряда других, между прочим, и своим книжным языком. Они не только христианского, но и весьма нового происхождения, так как вряд ли малорусская вертепная драма может быть отодвинута дальше XVI в. Есть много и христианских колядок, но все-таки не имеющих связи с вертепной драмой и, очевидно, древнее ее, хоть бы, напр., колядки о сотворении мира и вообще богумильские. А если культ месяца, дождя, солнца и т. д. древнее культа трех царей рождественских, то, конечно, и колядки о первых должны быть древнее не только вертепной драмы, но и христианства. Тем более нет невозможного, что если обрядовая поэзия малорусская сохранила следы славословий и представлений религиозных дохристианских, то она могла сохранить и следы героических славословий и представлений дотатарской, т. е. ранней христианской, эпохи на Руси. Песни со следами дружинно-княжеского быта этой эпохи помещены в книге, которую разбирал г. Веселовский. Издатели ее не только "помнили, что песни подвергались наслойке в течение поколений", но при каждой песне указывали на такие наслойки, только основываясь на сближении песен с летописями, считали возможным признать в этих песнях и *древний слой*. Рецензент говорит кроме того: "Мне недостаточно знать, что песня своим содержанием напоминает черты дружинно-княжеской эпохи; мне необходимо узнать, что такого рода соответствия нельзя найти между песнью и чертами какой-нибудь другой позднейшей эпохи". Но не только на суде, а и в науке часто считается, если не достаточным, то важным доказательство известного факта положительным способом и не требуется от доказывающего,

изданием, которым мы обязаны императорскому русскому географическому обществу.

В I томе Записок основанного в 1873 г. юго-западного отдела императорского русского географического общества (Киев, 1874) помещено, в числе прочих более или менее достойных внимания статей, и 20 песен, записаных от кобзаря Остапа Вересая, вместе с написанной г. Русовым интересной биографией певца, из коей можно узнать, как в старину было организовано обучение кобзарскому искусству, а также вместе со статьей г. Лысенко о музыке Вересая и малорусской песне вообще, представляющей едва ли не первый у нас опыт сравнительно-этнографического музы-

чтобы он еще доказывал его и отрицательным. А в данном случае черты нравов, отношений, обстановка, вооружение и т. п. во многих колядках явно и не крестьянские, и не казацкие, а боярские и княжеские. Издатели в предисловии оговорились, что этим бытовым чертам они придают больше значения, чем личным сближениям, к которым может подать повод сопоставление песни и летописи, а тем менее именам, встречающимся в песне. Исключение сделано только для №12 ("Князь Роман" — гаивки (весенняя игра — г. Веселовский называет ее колядкой). Встречая во всех подлясских вариантах ее имя *Роман*, издатели, конечно думали, что имя это в этих вариантах не случайно. Требование г.Веселовского, чтоб имя это было и в других вариантах, тогда только было бы вполне основательно, если бы издатели полагали, что песня эта для Романа сочинялась. Но она, очевидно, древнее Романа, — уже как весенняя хороводная игра, — а интересна в данном случае не только тем, что в подлясских вариантах в нее попало имя грозного завоевателя края, но и тем, что в ней представляются древнерусские данники, и князья, и древнерусская дань — пчелы. Такого рода черты проглядывают во многих малорусских обрядовых песнях, приведенных в I томе "Истор. п. малор. народа". Г. Веселовский оспаривает из этих песен и значение №14 ("Княжеский тиун"), объясняя в ней слова *поїхав суди судити* просто отзвуком по случаю города Судомира — Сендомира. Но мы имеем теперь в богатой коллекции песен и прочего этнографического материала, доставленной киевскому отделу географ. общества г. Манджурою[13] из Харьковской и Екатеринославской губернии, новый вариант этой песни, который кончается так:

Нема пана дома, десь у гетьмана,
Суди судить, ради радить,
А за тії суди — золотиї шуби,
А за тії ради — копика в наряді.

кального исследования. Об исторических думах, записаных от Вересая, мы говорить много не будем, так как они помещаются с объяснениями и в вышеупомянутом издании "Исторических песен малорусского народа". Скажем только, что Вересай пел во время III археологического съезда еще три думы, которые не вошли в издание юго-западного отдела географ, общества. Из дум не исторических у Вересая обращает на себя внимание дума, озаглавленная "Невольницька" (стр. 6), до сих пор неизвестная и весьма оригинальная. В ней представляется, как соколенок был взят из гнезда "стрельцами-бухаловцами" и занесен в Царьград, где его на рынке купил Иван Богословец и держал его в серебряных путах и с жемчугом около глаз. Старый сокол

Песня записана в Вильшанах, Харьковской губ., и, очевидно, Сендомир тут ни причем. К тому же песня приняла и местную наслойку московского периода (собственно слово "гетьман"), как и следует это в левобережной Украине, а сходство ее с галицкою в основной теме — свидетельство древности основы песни. На такие песни только недавно обращено внимание, и мы не сомневаемся, что если только наше общество окажется в состоянии выставить побольше и оценить труды лиц, вроде г. Манджуры, то мы получим немало песен со следами древнерусского быта из разных концов Руси. Мы и теперь имеем несколько новых песен и вариантов, которых теперь не приводим, не желая удлинять мимоходную заметку.

Считаем необходимым сказать, что нельзя не согласиться с замечаниями г. Веселовского касательно нерусского происхождения легенды о золотых воротах (№15). Но во всяком случае, не следует забывать, что эта легенда приурочилась у нас ко взятию Киева татарами и обратилась в песню, которую слышал г. Стоянов[14] в Киеве и от которой г. Кулиш записал четыре стиха. В отношении таких *бродячих* сказаний и образующихся из них песен важно и то, что их придержало в известной местности и какую они там приняли местную форму. Руководствуясь этими соображениями, а также считая себя прежде всего *издателями*, они поместили в свое издание №№63-69, так как желали собрать все песни, где только осталась какая-либо память о турках и татарах, и очень жаль, что они пропустили несколько колыбельных песен. А что №№63-69 не бытовые песни и баллады, это ясно оговорено и в предисловии, и в комментариях. Малорусские же песни, родственные №63-му, действительно представляют то "оригинальное" явление, что в Малороссии встречаются вместе все варианты, какие в Сербии и Болгарии, в Германии, Чехии, Моравии, Польше и Великороссии попадаются порознь.

прилетел над Царьград, голос его услыхал соколенок, "головку склонил и крилечка опустил" и т. д.

А сокіл налітав, та на крила взяв,
Та на високу висоту — гору підношав:
"Ей, соколя моє, бездольне-безродне!
Лучче ми будем по полю літати
Та собі живності доставати,
Ніж у тяжкій неволі у панів проживати.
Ей тож у панів єсть що пить і їсти,
Та тільки не волен світ (не вольно)
по світу походити!"

Нам кажется, что эта дума — аллегория неволи в плену турецком, где некоторые пленники занимали и высокое положение, и находится в ближайшей связи с теми невольницкими песнями, какие помещены в вышеупомянутом издании г. Антоновича и Драгоманова.

Песни религиозно-нравственного содержания, которые поет Вересай, мало представляют отличий от песен малорусских слепцов-лирников и однородны с песнями великорусских "калик перехожих" и нищих, кроме песни о Правде (стр. 23). Есть и великорусская песня о том, как "Правда с неправдою боролися", но в ней обе олицетворены в два мифических существа. Малорусская же песня представляет простой протест против порядков "дореформенной России":

Нема в світі правди, правди не зіськати,
Що вже тепер неправда стала панувати!
Тепер правда у панів у темниці,
А щира неправда з панами в світлиці...
Бо у суді стати, — правди не зіськати,
А тільки сребром-златом панів насищати и т. д.*

* Вариант Вересая, впрочем, не из лучших.

Песня эта вполне однородна по своему духу с теми, в коих оплакивается крепостное право, панщина* и коих любопытнейшим продолжением являются песни об эмансипации. Достойно примечания, что песни последнего рода явились в Галичине в 1848-49 г. и что только после 1861 г. галицкие песни, образчик которых был напечатан в "Основе" за 1862 р., явились в юго-западном крае. Теперь уже они перебрались через Днепр. Разумеется, что с особенной охотой поют эти песни на правом берегу Днепра, где впечатление барщины усиливалось религиозным и национальным отличием классов, где освобождение крестьян совпало с польским движением 1861-63 гг. и где меры, принятые правительством после 1863 г., оказались гораздо благоприятнее крестьянам, чем условия освобождения крестьян на левом берегу Днепра. На правом берегу Днепра поется несколько песен, в которых основная галицкая тема уже очень разработана, так что песня галицкая разбилась на три: одной изображается объявление воли и отлет панщины, в другой — отчаяние панов и экономов и их положение после эмансипации, в третьей — воспоминание крестьян о панщине и благодарность царю за освобождение. В I томе Записок киевского отдел географ. общества напечатан вариант, записанный г. Белинским от лирника из села Овсяников, Литинского уезда, Подольской губернии. Он интересен тем, что представляет соединение почти всех мотивов, какие в других вариантах являются поодиночке, с прибавлением новых своеобразных стихов.

Кто интересуется знать, как народ принимает реформы, тому мы рекомендуем известную малороссийскую песню:

* Одна из более характерных песен в таком роде напечатана г. Костомаровым в "Летоп. русск. литерат." (кн. VI, стр. 89), другая приведена в конце его монографии "Последние годы Речи Посполитой"; песни об инвентарях напечатаны в статье "Малороссия в ее словесности" в "Вестн. Европы", 1870, май.

Летіла зозуленька понад гори, села
Чогось наша громада смутна, невесела, и т. д.

В сатирических песнях, которых от Вересая записано в книге, изданной киевским отделом географического общества, пять, в одних проглядываются те же симпатии и антипатии, что и в вышеупомянутых песнях, особенно в №2 ("Дворянка")*. Другие иронизируют над женщинами, плохо хозяйничающими (№4), или представляют набор комических неудач (№3, "Хома та Ярема"), или по-своему передают положение, под пение о котором и танцевала молодежь у царя Алкиноя (№5 "Бугай")**. И малорусский кобзарь переходит к таким песням от думы о смерти Федора Безродного, как и певец Демодок к песне об Аресе и Афродите после песни о событиях троянской войны. На многих сатирических песнях малорусских видно влияние великорусское; песня о Хоме и Яреме явно заимствованная от великоруссов, у которых подобные песни и сказки в свою очередь тоже заимствованы из западных повестей***. Песня "Птичья свадьба" (щиголь)**** обща малороссам с западными славянами и другими народами; в таком роде есть сербская песня о женитьбе воробья (Караджич, Сербские песни, I, 532-533), только гораздо короче, чешская (Wenzel, Westslavisches Mäzchenschatz, 240), немецкая (Uhland, Deutsche Volkslieder, I, 37, Vogelhochzeit). У болгар поют о свадьбе рака и жабы (Болгарские народные

* Такая же галицкая в "Чтен. имп. моск. общ. истории и древностей", 1865, IV, III, 477.

** Такая же в Чтениях, 1865, IV, III, 509.

*** "Декамероне" Бокачио, VIII, 8, *друзья* Zeppa Spineloccio, повесть "Иван Гостинный сын и о друзех, о Марке и Шпинелете", у Пыпина "Очерк литер, истор. стар, сказок и повестей", 276; там же, 301 — "Повесть о дву братех о Ереме и о Фоме". Песню великорусскую см. в "Летопис. русск. литер.", т. IV, стр. 73, песни самарск., собран. Костомарова и Мордовцева.

**** *Такая же галицкая в Чтен.*, 1865, IV, III, 505-508; подобная же — "Свадьба перепелки", там же, стр. 518.

песни, собран. Миладиновцев, Загреб, 1861, 21-24); такую же песню поют в Белоруссии (Бессон., 54). У романских народов пародия на свадьбу людскую представлена в виде свадьбы насекомых, как, напр., у итальянцев: свадьба муравья (Ferraro, Canti Monferrini, 120; тосканский вариант у De Gubernatis, Zoological Mythologie), у французов: свадьба бабочки (Bujeaud, Chants et chansons populaires des provinces de l'ouest, I, 38), подобные же у провансалов (Arbaud, Chants populaires de la Province, I, 195, II, 189)*. Малорусская поэзия вообще любит подобные пародии**. Она не останавливается представить даже пиршество на небе***.

Пользуемся настоящим случаем, чтобы указать на необходимость приступить к систематическому и сравнительному изучению русской народной поэзии, для которого необходимы и сборники с указаниями на песни, подобные печатаемым в данном сборнике, прежде всего в пределах одной народности, а дальше и в других. При теперешней же разбросанности вариантов по разным изданиям и при той бессистемности, с какой расположены варианты даже в одном издании, как, напр., кроме г. Чубинского, у гг. Головацкого, Якушкина и др., и при отсутствии у наших издателей песен обычая делать указания на другие издания, — в высшей степени затруднена возможность изучения народных песен.

Прекрасным исключением из этого правила являются недавно изданные чумацкие народные песни И. Я. Рудченко (Киев, 1874, XIII, 257). Этнографический очерк г. Рудченко

---

* В том же вкусе — мышиный бал у Bujeaud, I, 40.

** Птицы приготовляют хлеб — см. Чтен., 1866, I, 558; мышь кнышь почала, там же суд над вороном — Чтен., 1865, IV, 502; жук тонет, там же, смерть комара — Чтен., 1868, IV. 503, 1865, 1, 564. Сахаров; Сказан. русск. нар., 266. Юмористическое хозяйство: Рудченко, Южнорус. сказки, I, 1. Ср. Караджс. Сербск. II., I, 505, 531. *Медведь орет* — Чтен., 1865, IV, 509.

*** Чтен., 1865, IV, 499; ср. Чубинск., III, 381.

"Чумаки в народных песнях" был помещен в "Вестнике Европы" (1872, сентябрь и октябрь), а потому нам нечего много говорить о чумацких песнях по содержанию их. Мы скажем только о системе издания г. Рудченко. В нем собраны все кем бы то ни было напечатанные до сих пор песни, в коих упоминаются чумаки, и много рукописных. Варианты подобраны один к одному чрезвычайно тщательно; песни расположены в порядке моментов чумацкой жизни. В таком виде изданные песни действительно не только легко могут быть изучаемы по составу и форме их, но и представляют ряд картин жизни народной. Правда, что в издание г-на Рудченко иные песни попали только потому, что в них случайно, иногда, напр, в замену слова "казак", попало слово "чумак"; но в таких случаях лучше поместить лишнюю песню, чем пропустить нужную. Жаль только, что г. Рудченко вовсе не задавался мыслью о сравнительном изучении песен. Хотя мало, но и между чумацкими песнями найдутся такие, которые не исключительно принадлежат Малороссии и, может быть, заимствованные. Такой мы признаем первую песню г. Рудченко, которую он вряд ли справедливо считает в предисловии древней. Эта песня по языку и тону обличает свое происхождение в Великороссии. Более полные вариантъ ее, напечатанные у г. Рудченко (В. и Г.), рассказывают, как в виде чумаков проникло в город (Азов) войско и захватило город. В этом виде песня представляется перефразировкой прозаического сказания о взятии донцами Азова в царствование Михаила Федоровича, сказания, напечатанного в "Чтениях императорского московского общества истории и древностей" (1864, кн. III, отд. V, стр. 12-17) Повествование это по своему именно сказочному характеру сильно отличается от исторических свидетельств об этом событии, и притом явно составлено в XVIII веке. Ему должна была отвечать великорусская песня, которая не записана до сих пор никем; песня эта зашла в Малороссию, где стала

сильно изменяться: варианты А. и Б у г. Рудченко уже не заключают в себе мотива ограбления города чумаками, а рисуют обыкновенную торговлю: только склад их обличает великорусский источник.

Это не единственный пример не только проникновения великорусской песни в Малороссию, — таких примеров немало, как и обратных*, — но и пример того, как в Малороссии находятся песни, так сказать, переведенные с великорусских, тогда как великорусские оригиналы не пойманы до сих пор исследователями. Другой подобный пример указан в I томе "Исторических песен малорусского народа", стр. 284. Это один из вариантов песен о кровосмешении сына с матерью, в коих сыновья называются донцами, особенно варианты, напечатанные в V томе "Материалов" г. Чубинского (№458, стр. 921-927, особенно вариант Ж.), которые явно носят след великорусского влияния и в языке. Мы предполагаем, что существовала или, может быть, и существует песня великорусская, для которой послужило источником сказание, вроде тех, какие напечатаны г. Костомаровым в "Памятниках старинной русской литературы", изд. гр. Кушелева-Безбородко, II, 415-442. И великорусский оригинал вышеупомянутой песни у г. Рудченко мог образоваться из сказания или сказки. Это опять не исключительные примеры как перехода сказания в песню и наоборот, так и соответствия малорусской песни великорусскому сказанию, соответствия, которое заставляет предполагать переход из одной местности в другую песни и сказания. Так, напр., Шишков[15] в записке, поданной императору Александру, указывал в числе других примеров

* Так переходили не только баллады, но исторические песни; напр. самарская песня, напечатанная в "Летоп. р. литер.", т. IV, 38, — явно великорусская переделка малорусской песни о запорожцах после полтавской битвы — только с переменой грусти побежденных в иронию победителей.

неуважения к духовенству и распространения раскола ходившую в народе молву "о некоем попе, нарядившемся для совершения неистовства в козью с рогами кожу, которая тотчас к нему приросла"*, а в "Записках о южной Руси" г. Кулиша (т. 2) напечатана малорусская сатира о попе и крестьянине Кирике совершенно на эту тему, только вместо козьей шкуры стоит воловья. Мы знаем и другой вариант этой же сатиры.

Подобные примеры указывают на настоятельную необходимость сравнительного изучения русской народной словесности, и в частности на необходимость исследовать южную Украйну великорусскую, которая соприкасается с малорусской и которая почти не тронута в этнографическом отношении, а между тем она издавна была местом смешения малорусской и великорусской казацкой колонизации.

* Иконников[ie], Граф Н. С. Мордвинов, стр. 420.

НОВІ УКРАЇНСЬКІ ПІСНІ ПРО ГРОМАДСЬКІ СПРАВИ (1764-1880)

Про видання списків українських пісень про громадські справи в XVIII і XIX ст.

Читачам нашим, може, звісно, що в 1874 р. почалось в Росії видання українських пісень про громадські справи — "***Исторические песни малорусского народа. С примечаниями Вл. Антоновича и М. Драгоманова***". В цьому виданні задумано було напечатати всі пісні українського народу, в котрих показуються зміни громадського життя на Україні і думки про нього народу, од найдавніших часів і до наших, і додати до пісень докази свідків з літописів і всяких інших записок, котрі або стверджують докази пісень, або поправляють їх. Пісні ці задумано було видати в таких поділах, котрі підходять до найважніших змін громадських порядків на Україні: 1) ***Пісні віку княжеського і дружинного*** (або вояцько-боярського од IX до XV ст.). II) ***Пісні віку козацького*** (од кінця XV до к. XVIII ст.). III) ***Пісні віку гайдамацького*** (XVIII ст., найбільш на правім боці Дніпра). IV) ***Пісні віку кріпацького і рекрутського*** (з кінця XVIII ст.). V) ***Пісні про волю*** (в Австрії з 1848, в Росії з 1861 р.).

З цих поділів в 1874 р. напечатано: ***Пісні віку княжеського і дружинного*** і перша частина ***пісень віку козацького***: а) ***Пісні про війну з татарами і турками***; а в 1875 р. друга частина: b) ***Пісні про війну з поляками*** до см[ерті] ***Богдана Хмельницького*** (1657 р.). Далі мусили іти остатні частини пісень віку козацького; c) ***Пісні з часів Гетьманщини під московським підданством*** (од смерті Б. Хмельницького до першої руїни Січі і кінця Мазепи в 1709); d) ***Пісні про кінець козаччини*** (од 1709 р. до другої руїни Січі в 1775 р.) ***з піснями козаків чорноморських***. Тільки цих пісень ми не встіли видати, бо в початку 1876 р. мусили виїхати з Росії, а

скоро за тим вийшла заборона печатати українські книги в цьому царстві. Так думка наша і нашого тодішнього товариша видати повну історію (дієпись) нашого народу в його власних піснях не справдилась: наше видання стало на 1657 р.

Після того появилась в "Русской мысли" 1880 р. праця д. Костомарова "***История казачества в памятниках южнорусского народного песенного творчества***", котра в другій своїй половині, хоч і не дає повних списків пісень, та все ж мов продовжує "Исторические песни малорусского народа" до кінця XVIII ст. і заходить трохи і у XIX ст, в пісні про кріпацтво і волю. Тільки все ж таки пісень післякозацького віку д. Костомаров торкається мало, та і про пісні остатньої доби козацького віку, напр. пісні про руїну Січі, він, явно, не міг сказати всієї правди під доглядом царських цензорів.

Тим часом в 1879 р. ми написали невеличку статтю для "*Слов'янського альманаху*" на 1880 р. в Відні — "***Політичні*** (громадські) ***думки в нових українських піснях***", в котрій ми переглянули українські пісні про громадські справи з кінця XVIII ст. Нежданно для нас, та, певно, і для всіх, хто слідить за письменством в Зах. Європі, цісарська цензура задержала нашу статтю, вбачивши в ній "уразу цісарського величества, підбивання одного стану проти другого і т. і.". А ми в нашій статті майже зовсім нічого не казали од себе, а найбільш тільки поробили виписки з самих пісень, взявши собі за підставу і слова: "je ne propose rien, j'expose" (я нічого не раджу, я тільки викладаю). Для знаючих діло ми скажемо, що наша стаття була написана подібно до переднього слова, котре напечатав д. Пітре перед своєю збіркою сицилійських пісень (G. Pitré. Canti popolari siciliani. I-III). Ми певнісінькі, що така заборона, яку наложила на нашу статтю цісарська цензура, неможлива ніде в Західній Європі, та навіть і в Австрії вона не була б можлива з статтею про німецькі або про угорські пісні, бо вся б німецька і угорська печать підняла б проти того крик в один голос. А з працями слов'ян,

а надто русинів, можна все зробити, між іншим через те, що слов'яни, а надто русини, не тільки побояться озваться за своїм правом, а ще між ними знайдуться люди, котрі не тільки зрадіють, коли поліція наложить руку на особу і думку чоловіка не їхнього тісного гурту, а ще побіжать самі підцькувати проти нього поліцію, забуваючи стару приказку: "сьогодні мені, завтра — тобі!"

Пригода з нашою статтею в Відні і праця д. Костомарова в "Русской мисли" навела нас на думку написати нову працю, котра тепер і напечатана в цій книзі, працю, котра б давала хоч короткий перегляд громадського життя українського народу і думок його по пісням з половини XVIII ст., так щоб можна було, доложивши її до "Исторических песен малорусского народа" і до праці д. Костомарова, мати хоч і не такий подрібний, як би слід, та все-таки цілий продовж історії громадського життя українського народу з давніх часів і досі, розказаної слідом за його власними піснями. Звести цю історію слід тим більше, що, як це звісно всім, хто зна діло, рідко якого народу є стільки і таких гарних пісень, як в українців.

Тільки дуже б було жаль стати на самих тільки витягах з пісень, так як це стало в праці д. Костомарова і у нашій. Безпремінно треба закінчити видання повних списків українських громадських пісень з давнього часу і до теперішнього. Цю працю зовсім добре можуть зробити тільки ті вчені, що живуть серед самого народу нашого в Росії і Австро-Венгрії і мають до праці всі потрібні засоби, з котрих на чужій стороні бракує навіть найпотрібніших книг. Тільки ж ми допевнились, що напр. в Росії таке видання неможливе через цензурну неволю. От через що ми зважилися од себе зробити, що в нашій силі. Ми беремось видати по тому ж способу, по якому видані перші частини "Исторических песен малорусского народа", хоч ті списки в нас єсть, в доволі повному зборі з печатних і рукописних

збірок: пісні про кінець козаччини (1709-1775) і пісні віку кріпацького і рекрутського з піснями про волю і про грошове панство, тобто всі пісні про громадські справи на Україні XVIII і XIX ст., окрім пісень гайдамацьких.

Як можна бачити і по оцій книжці, списки ті в нас впорядковані, і ми могли би почати печатати їх, коли б були на те потрібні засоби. Тільки ж поки ми їх здобудемо, певно, пройде якийсь час, і ми б хотіли скористуватись тим часом, щоб поповнити наш збір новими списками, котрі можуть зібрати наші земляки в Росії і Австро-Венгрії. От до тих земляків ми і обертаємось і просимо їх записувати потрібні для нашого видання пісні і посилати нам. По оцій книжці можна бачити, які пісні потрібні нам. Австро-венгерські земляки можуть посилати свої списки просто на наше ім'я (M. Dragomanov. Redacteur de la "Hromada", Geneva). Російські завше, коли схотять, знайдуть способ передати нам свої папери.

Ми звертаємо тепер найбільшу увагу на пісні з XVIII і XIX в., не тільки через те, що їх менше напечатано, ніж пісень раніших, а й по другим причинам. Од цих часів майже не зосталось таких записок, як козацькі літописи (Самовидця, Граб'янки, Величка і др.), з котрих усе-таки видно, що думали самі українці про справи своєї землі. Од часу руїни козацтва на правім боці Дніпра (1711-1714) і од часу невдачі Мазепи і першої руїни Січі в 1709 р., письменні люди на Україні скоро сполячились і змосковились, а потім і одвернули думки майже од усіх справ своєї країни, і самі тільки мужики ще говорять про ті справи в своїх піснях, котрі зостались єдиними українськими літописами XVIII-XIX ст. і майже єдиним показом того, що український народ ще не загинув.

І власне ці літописи найменше звісні письменному світові, як і в усьому житті українського народу власне в новіші часи XVIII і XIX ст. Причиною до того стає між

іншим і цензура московського начальства, котра спиняє всякі вільні праці про Україну власне з тих часів, коли більша частина її підійшла безпосередньо під руку Московського царства з його панством і чиновництвом. Через це вся історія України і її теперішній стан показується в дуже фальшивому світлі.

Українські і московські письмовці здавна показують докладно всі лиха, які Україна терпіла під польським панством, як вона повставала проти нього, як волею прилучилась до Москви, сподіваючись ліпшої долі "в союзі і протекції в царя восточного, православного". Як жила Україна за цим царем, про це історики довго мовчали, коли ще не говорили, що, мовляв, жила вона і живе також щасливо, як живуть щасливо всі піддані богом хоронимого царства. Виходило так, що на старій Україні мовбито і не було ніякого життя, окрім вояцького, козацького, та що козаки на те тільки і потрібні були, щоб битись з Польщею, а потім прилучити або ще, як часто кажуть, вернути Україну до Москви, а після цього козаки мусили або щезнути, або перебратись на край Московського царства, щоб там служити цареві, побиваючи черкесів і т. і. Тільки, мовляв, неспокійні люди та безчесні ізмінники між козаками ще кілька часу, од смерті Б. Хмельницького до Мазепи, не покорялись московським царям, а потім і вони щезли, і Україна в усьому підійшла під ряд інших, спокійних земель Московського царства. Народ український, мовляв, забув про свою колишню, дуже вже старосвітську і дику волю, не дума про свою самостоячість і про самовиправу своєї країни. Про це, мовляв, можуть марити тільки купка україно-любців, завзятих книжників або трохи не божевільних.

Подібні думки про український народ панують і в начальства, і у письменних людей, і в Австро-Венгрії. І там також малюють історію і стан українського народу, коли не з пансько-польського, то з казенного цісарського погляду.

В остатні двадцять років нові українські історики, починаючи з д. Костомарова, трохи розширили рамки такої історії України. Вони розібрали докладніше часи од смерті Б. Хмельницького до Мазепи і показали розум в тодішніх "ізмінах" українських гетьманів проти Москви, показали, як московські бояри і царі зневажали вольності козацькі, гнітили і обдирали народ, ділили Україну, мов "скот", з Польщею і т. і. Тут же вони показали, як і старшина козацька собі змагалась повернутись в панство, подібне до польського і московського, і як через те "чернь" козацька та посполство (мужики) з запорожцями ненавиділи старшину і не піддержували її, коли вона піднімалась проти Московського царства. Тільки ж коли дальша історія України, після того як царі московські, за поміччю черні і посполства, скрутили козацьку старшину, не була розказана докладно, то виходило, буцімто козацькі противники Москви були вже цілком не праві, а Московське царство буцімто було правдивим приятелем черні. І справді, московські історики, як напр. Соловйов, виставляють в такому світлі московське начальство на Україні, а надто, коли їм можна вказати на що-небудь подібне до слов цариці Катерини II, котра, касуючи козацькі виборні уряди в Гетьманщині, казала, що вона "вибавляє народ український од мучивших його вкупі многих маленьких тиранів".

Тільки докладна історія життя українського народу в XVIII і XIX ст. могла б показати, якою брехнею були слова московських правителів, коли вони, як напр. та ж Катерина II, казали, що по скасуванню виборного козацького уряду "народ буде облегчений і буде благоденствовати". Історія б показала, що народ український в XVII-XIX ст. старих маленьких тиранів не збувсь, а нажив ще нових, більших, що Україна, стративши всяку тінь своєї вправи, пішла назад в освіті, в господарстві і т. і. Докладна історія українського народу в XVIII і XIX ст. з показом його думок могла б допов-

нити про дійсну потребу для України своєї вправи, котрої бажають ті українці, що не одвертаються од своєї землі і її люду. Така історія, звісно, не може появитись під московською цензурою. От через це великий гріх перед своїм народом кладуть на себе українські вчені, котрі, маючи до того здільність, по своїм талантам і вченості, не стануть до того, щоб написати і видати хоч такі праці про життя і думки українського народу в XVIII-XIX., які вони понаписували про XVI-XVIII ст. Тим самим вони збавляють міцного наукового ґрунту всі змагання до поліпшення теперішнього стану українського народу.

Ми не тратимо надії, що сама любов до свого краю і народу приведе українських вчених, далеко здільніших, ніж ми, до думки виступити на вільному од царської цензури полі з науковими працями про життя українського народу в новіші часи. Тепер більш ніж коли-небудь, чується потреба в такому виступі, а також в тому щоб познакомлено було широкий європейський світ з українським народом. Народ цей довго жив спільним з цим світом життям і йшов з Європою, до самого XVIII в., наскільки це йому позволяла нещасна його доля, котра насилала на його татарські і турецькі руйнування. Тільки міцний царський кордон, а потім одчужіння од українського народу панських станів, власне з XVIII ст., положило межу між українцями і європейським світом. А все-таки і досі багато вільних і світлих європейських думок і змагань здибуємо серед українського мужицтва. Настав час, коли треба з усієї сили переносити на Україну нову європейську науку, а поряд з тим показати думки і змагання українського мужицтва європейському світові, котрий, певно, знов признає в українському народі свого брата. Між іншим голос цього європейського світа мусить пристидити і тих освічених людей на Україні, котрі, вивчившись на кошт її мужицтва, одвертаються од нього. Перше ж усього, звісно треба зібрати і видати матеріали для

списання життя і думок українського народу за останні часи. Один з таких матеріалів — пісні, котрі склав цей народ про своє життя. Ми і беремось видати такі пісні і сподіваємось, що наші земляки не лишать нашого видання без своєї помочі, найбільш тим, що будуть присилати нам нові списки потрібних для нього пісень.

Просимо газети, прихильні до науки про Україну, оповісти про наше видання як можна більшому числу земляків наших.

ФАТАЛЬНА ВДОВА

(Карно-психологічна тема
в українській народній пісні)

Народну словесність уже давно вважають одним із зеркал, коли не найвиразнішим зеркалом народної душі. А про те годі сказати, аби й тепер суспільна наука вже досить покористувалася сим зеркалом для своїх цілей. Особливо рідкі досліди правних понять ріжних народних мас на підставі матеріала, що дає народна словесність. А тим часом сей матеріал дав би чимало навчаючого навіть для юриста.

Із племен, що заселяють Росію, племя українське належить до найбагатших народною словесністю, особливо піснями. Музикальне і взагалі естетичне значення сих пісень давно вже оцінено і аматорами і спеціалістами. Є чимало вчених праць і про історичне значення українських пісень. Але, може, головну вартість сих пісень чинить богатство та виразність психологічного аналізу, що роблять часто сі прості мужицькі пісеньки взірцями скусного реалізму; лише вдумуючися в них порозумієш, чому в батьківщині сих пісень виріс реформатор російської белетристики, великий реаліст Гоголь.

Між іншими становищами людської душі українська народна пісня зупиняється і на проступках і іноді дуже ясно освічує їх психологічну основу та обставу. Ми вибираємо для отсього нарису одну подібну тему та, аби показати увесь реалізм оброблення її в українській народній пісні, почнемо тим, що виложимо конкретну карну пригоду, котру розбирано в кінці 1884 р. перед судом присяжних у м. Літині, Подільської губ., і для котрої, на щастя, найшовся розумний референт у місцевій газеті ("Заря", 1885 р., нр. 5, фейлетон).

Років тому десять, — оповідає той референт, — Семен Деркач, селянин с. Мальнівці, Літинського повіту, 25-літній, вислуживши у війську, вернувся в своє рідне село. Батька у нього вже не було, і він осівся в сім'ї своєго старшого брата. Той брат і сестра Михаліна Собкова стали радити Семенові,

аби завів собі сім'ю та почав "хазяйнувати". Семен був повен сил і гарний. Стрункий, високого росту, брюнет із карими очима; риси лиця виразні й досить регулярні. Син "заможної" сім'ї, діставши від брата половину батьківського ґрунту, він легко міг би найти собі наречену "по своїй волі, по своєму серцю", але брат і сестра натискали, аби він женився якнайшвидше. И одної неділі брат іде з ним на сусідній хутір до лісничого, чоловіка не багатого, але такого, котрого шанували і в котрого була 16-літня донька красуня. Дівчина подобалася Семенові, і він зараз же й засватав її. На вибір вплинула й та думка, що молода Варка, котра виросла в лісовій закутині, далеко від села, в чесній сім'ї, й не знала ще любові, по всьому повинна була бути чесною й гарною жінкою. Молоді швидко повінчалися, і життя їх поплило спокійним звичайним потоком.

Одного разу, в свято, Варка пішла до батька в гості, та там і лишилася, не показуючи наміру вернутися. Вона не жалувалася на чоловіка, але його домагання вернутися і раду батька сповнила не радо. Подібні втеки до батька повторялися скілька разів без усяких очевидних причин. Семен був чоловік тихий, згідливий, не п'яниця і гарний робітник. Що було межи подружжям — незвісно; в усякім разі, вони були холодніші одно до одного, ніж сього було можна ждати в такій молодій і гарній парі. Взаємна охолода дійшла до того, що після півторарічного спільного життя Семен пішов на службу до пана, а Варка цілком осіла у батька. У пана служила жінка солдата, що десь пропадав на службі, Ксеня Шевчукова. Два роки старша від Семена, з двома дітьми, незграбна й негарна, Ксеня видавалася старшою, ніж була справді. Отже, Семен її полюбив і вони незабаром зійшлися.

Минуло чимало часу. Зв'язь Семена з Ксенею скріпилася народженням доньки, — коли се, після п'ятьох років розлуки Семена з Варкою, батько сеї остатньої, не бачучи кінця службі Семена у пана, почав натискати, аби зять його знов

зійшовся зі шлюбною жінкою. Сею справою головно займався брат Семена; він навіть потяг брата перед суд громади, котра загрозила Семенові, що коли він не покине розпусного життя, не вернеся до шлюбної жінки, то за негарне життя його вишлють у Сибір. Брат грозив, що коли він не послухає громади, то не віддасть йому половини батьківської землі. Хоть як упирався Семен, але нарешті повели його й Варку до священика на напімнення. Скінчилося тим, що Семен покинув службу й осів знов із жінкою в хаті сестри Собкової, зайнявши одну її половину.

То було весною, в початку квітня 1884 р. На помирену пару мало хто звертав увагу: всі зайняті були сквапною роботою. Під поверховним спокоєм, миром і згодою подругів захована була поважна драма, яку годі підозрівати серед простих, грубих, майже первісних людей. Пристрасть в українця-селянина безперечно притупляється важкою працею та бідністю, але вона в нім живе й іноді проявляється зовсім незвичайно і незрозуміло для постороннього ока. При всіх даних до щасливого подружнього життя, ані звичка, ані обов'язок не стануть за любов. Українська пісня — се зеркало народньої душі — ось в якім образі рисує нам подібних Семенові та Варці подругів:

Ой піду я лужком, лужком,
Де мій милий оре плужком.
Там мій милий плужком оре,
Чом до мене не говоре?

Понесу я йому їсти,
Чи не скаже мені сісти.
Понесу я йому пити,
Чи не буде говорити.

І наївся, і напився,
Та й сам собі зажурився.
Та й сів собі, та й думає,
Що нелюбу жінку має.

Було вночі ні сватати,
Було людей роспитати,
Чи хороша, чи вродлива,
Чи робоча, чи лінива.

Ой хороша, і вродлива,
І робоча, не лінива.
І хороша, і прекрасна,
Тільки доленька нещасна.

Коли Варка любила виливати в пісні свій сум-тугу, то їй, певно, мусіла приходити на тямку отся сумна подільська пісня, бодай вона скілька разів жалувалася Собковій, що Семен сумує, відвертається від неї, а іноді на постелі без усякої причини плаче. "Він не свариться, — казала Варка, — не б'є мене і не лає, але й доброго слова я від нього не чую". Вночі бувало скілька раз, що Семен виходив із хати і вертався аж досвіта. Куди він ходив, ніхто не знає, та треба думати, що він відвідував Ксеню.

Минуло два місяці такого життя, сумного, важкого та спокійного тим грізним спокоєм, який замічаємо перед бурею. Така буря вдарила над Варкою вночі на 22 червня. У вечір подруги верталися мирно з роботи на буряковій плантації. Прийшли домів, повечеряли і лягли спати на спільній постелі. Варка завважила, що Семен того вечера був сумніший ніж звичайно. Тепер він по звичаю відвернувся до стіни і тихо плакав. На запит жінки, що з ним, відповіді не було. "Я знала, що це така його звичка і заснула". Далі образ тої ночі можемо прослідити з признань Семена Деркача.

"Коли громада заставила мене зійтися з жінкою, Ксеня скілька разів казала мені, "що б я де заподів Варку". Нічого іншого придумати я не міг, як убити її. Ся думка довго мене мучила, особливо того вечера, і я вснути не міг. Коли жінка твердо вснула, я не міг спокійно лежати і вибіг на двір, у стодолу. Там у мене була пляшка з горівкою; я випив її для

духу. Вернувшися в хату, я зняв жердку з одіжжю, що висіла над постіллю, і кинув її на піч, — вона перешкоджала мені розмахнутися, — ухопив макогін і вдарив жінку, бачу, чотири рази по голові, та коли почув її крик, я налякався і в одній сорочці вибіг із хати і зустрітив у сінях сестру Собкову. Собкова справді теж почула крик Варки "ой!" і вийшла до сіней. Рівночасно назустріч їй вискочив Семен, і на запит сестри, чого Варка кричала, відповів, що вона хвора. Собкова увійшла в хату Семена зо свічкою й, побачивши обкровавлену Варку, налякалася й побігла кликати сусіда Чорного. Увійшовши з ним удруге до Варки, побачила її, що вона сиділа в одній сорочці на постелі з обкровавленою головою. Варка встигла промовити лише: "Що зо мною робиться?" і впала без чуття на постіль, на котрій лежав обкровавлений макогін. Вилежала вона без пам'яті три дні. Лікар знайшов у неї на голові чотири рани, що проходили до кості, одну на вершку, а три в околиці лівого чолового горбка. Рани були тяжкі й грозили небезпекою життя, але здорова Варка видержала їх і через два місяці подужала зовсім.

Після завдання ударів Семен, в одній сорочці, пішов до хати, де жила Ксеня, застукав у вікно й викликав її 16-літнього сина Стратія; не пояснюючи йому причини своєї появи без одежі, він зажадав штанів і шапки. Одягнувшися, він пішов у ліс. Блудив він у лісі цілий день. На другий день рано Семен, коли вірити його оповіданню, пішов до громадського уряду, аби признатися; але, дізнавшися від когось по дорозі, що Варка жива, він вернувся домів. Селяне завважили його, коли він уже вийшов із лісу і направився в село, і тут його зловили без усякого противенства. Семен признався відразу, щиро, виказуючи на Ксеню за те, що підбивала його. Сей виказ почасти потвердило свідчення сина Ксені Стратія Шевчука. Хлопець оповів, що, вертаючися у вечір 21 червня з роботи вкупі з Семеном і завваживши, що він дуже сумний, спитав його, що йому. На

се сказав Семен, що йому так гірко, що він готов або кого-небудь убити, або на себе наложити руку; коли Стратій не розкаже, то він подасть йому причину смутку. Стратій обіцяв йому таїти все сказане, і тоді Семен повів, що його Ксеня намовляє вбити Варку.

Такий фактичний бік процесу. На розправі, на лаві оскаржених Семен поводився зовсім апатично, мляво. Він більше звертав увагу на двотижневу дитину Ксені, котру держав на руках, тоді як Ксеня плекала другу. Два тижні перед розправою Ксеня породила в тюрмі близнята-дівчатка, котрі Семен, на запит голови суду, признав за свої діти. Ксеня Шевчукова, мала зростом, негарна, з грубими рисами, не призналася до вини, увесь час возилася з дітьми і часто хлипала. Так само апатично поводилася і скривджена Варка Деркачева. Се стрункa, високого зросту блондинка, з великими голубими очима, дуже гарними й регулярними рисами, повна життя і здоров'я. Лише широка червона близна* на лівім боці чола і на лівій голосниці, що губилася в яснім волоссю, нагадувала, що ся красуня півроку тому була жертвою кривавої драми. Тепер вона з переляком і зачудуванням, але спокійно дивилася на суд, мало тямлячи, що тут діється. Всі свідки без винятку впевнили, що подружжя Деркачі люди чесні, взірцеві, гарні робітники. Сварок і бійок межи ними не було. Варка і за час п'ятилітної розлуки з чоловіком поводилася чесно. Свідки нічим іншим не можуть пояснити їх подружньої незгоди, лише "чарами". Без сього Семен не покинув би молодої, гарної та взірцевої жінки задля негарної Ксені, котра старша від нього на два роки та ще й з дітьми. Покинувши Варку, він тратив ґрунт і мусів пропадати на службі. Ксеня, мабуть, дала йому чогось випити або з'їсти. Таке переконання виробилося, певно, й у більшості присяжних, межи котрими було десять селян. Вони

* Рубець, шрам (упор.).

признали Семена винним у замасі на вбивство жінки з обдуманим наперед наміром, а Ксеню в тім, що, люблячися з Семеном, просьбами й переконанями підбивала його до сього проступку, але смерть Варки не настала через нездумані обставини. По сьому вироку суд присудив Семена і Ксеню позбавити їх усіх маєткових прав і послати на каторжну роботу на фабриках: Семена на 5 років, а Ксеню на 6 років. Присуд не зробив враження на підсудних. Варка вислухала його, не розуміючи нічого. Коли хтось приступив до неї та сказав, що чоловіка її висилають на каторгу і вона може вийти замуж за іншого, сльози градом покотилися їй з очей, і вона почала машинально, без слів, хреститися.

Корінь подібних драм, мабуть, у потайниках фізіологічного боку людської природи, в законах темпераментів, ще не досліджених наукою. Поки що треба лише сконстатувати подібні нещастя та обсервувати їх психологічні прояви.

Між іншим, се вже давно робить усна або народна українська словесність. Огляд скількох таких пісень покаже, що в процесі Деркача обсерватор має діло не з виключною, сказати, беззаконною проявою, але справді з побутовим образом, хоть, звісно, рідким.

Є одна українська пісня, котра вповні представляє тип пригоди з Деркачем. Кілька варіантів її надруковано в збірнику Костомарова з Волинської губ. (в Малор. сборн. Мордовцева, 1859 р., 208, передруковано у Чубинського Труды экспедиции, V, 629-630), у Головацького Народн. пісні Галицької Русі, I, 56 і III, 238-239. У нас є скілька невиданих варіантів, записаних на просторі від Поділыцини до Дону.) Всі ті варіанти разом прегарно рисують психологічні подробиці страшенної колізії.

Головні риси всіх їх коротко представляє варіант, записаний у м. Острозі Волинської губ. О. В. Марковичем, чоловіком д-ки Марка Вовчка, що збирав пісні в 50-ті роки.

Сей варіант можна вважати за основний, найближчий до первісного. Ось він:

Прийшов Яким до вдовоньки: "Помагай бі, серце!"
Вона йому одказує: "Забий жінку перше!"
"Навчи ж мене, удовонько, як жінку забити?
Моя жінка, як ластівка, будеть ся просити".
"Не уважай, Якимуню, на її прозьбоньку,
Забий косу в колодочку, да й бий в головоньку".
"Навчила мя, удівонька, як жінку забити,
Навчи, навчи, моє серце, де її подіти?"
"Ой вивези в чисте поле, скажи, що здуріла,
В чистім полі стіжок спали, скажи, що згоріла!"
Прийшла сусідонька із третії хати,
Питається малих дітей: "А де ваша мати?"
"Поїхала наша мати до роду в гостину,
Забулася, покинула малую дитину".
Закувала зазуленька на вишневому пруті:
Ведуть, ведуть Якимуня в залізному путі*.
Прийшов Яким до корчмоньки: "Помагай-бі, (люде),
Через дурну удівоньку біда мені буде".
Прийшов Яким до шинкарки: "Дай кварту горілки!
Через дурну удівоньку позбув'им ся жінки**".

Варіант Костомарова додає вражаючу просьбу жінки (котра тут названа "молоденькою") перед початком проступку:

"Не вважаєш, Якимоньку, на мя молодую,
Да вважай же, Якимоньку, на дитину малую!"

В першім, інтереснішім, варіанті Головацького вдові надано більше демонічний характер. Вона каже:

"Я забила чоловіка, а ти забий жінку,
Обоєсьмо молоденькі, підем на вандрівку".

---

* Бачиться, сі два вірші повинні би стояти в кінці. Але народна пісня іноді квапиться виповісти фінальну кару.

** Тут пісня, бачиться, натякає на те, що фатальна вдова — шинкарка; се сказано просто в іншім варіанті, котрий наведемо далі. В такім разі виходить, що Яким тут же перед винною та селянами сам признається до проступку.

Але, свого роду леді Макбет, удова сього варіанту не видержує і, після проступку, лякається голублення убійника-любаса. Жінці перед убивством надано тут іще більше вражливий характер:

Катеринка, як зозулька, взялася просити:
"Не жаль же ми, Якимоньку, що-м ся не набула,
Тільки ми жаль, Якимоньку, що-м ти щира була,
Не жаль же їй, Якимоньку, що-м ся не нажила,
Тільки ми жаль, Якимоньку, що мала дитина".

Душевний стан чоловіка-убивці розроблено в сім варіанті ось так:

Прийшов Яким додомоньку, та сів у куточку:
"Нема ж мої Катерини випрати сорочку!"
Прийшов Яким до домочку, сів си конець стола:
Нагадав си Катерину, аж му тече з чола.
І пішов Яким до вдівоньки, став наказувати:
Не дається Марисенька личка цілувати.
Прийшов Яким до корчмоньки, напився горілки,
Викрикає на Марусю: "Збавилась мя жінки!"

Сим варіант кінчиться, не інтересуючися справою про судову кару за проступок.

Шість інших, невиданих варіантів (із степових місцевостей), котрі ми маємо, комбінують становище, виводячи на сцену й матір убитої чи радше тяжко раненої (як Варка в процесі Деркача) молодої жінки. Всі варіанти, окрім одного, надають обом сим женщинам зворушуюче добрі відносини до проступку, яко до нещастя, про котре в двох варіантах умираюча жінка не хоче говорити навіть на сповіді попові, очевидячки, аби не зрадити страшенної правди. Ось подрібніший варіант із Харківської губернії, Богодухівського повіту, с. Морафи, що записав невтомний збирач д. Ів. Манджура від женщини:

А в Яківця молодого
Каренькії очі,

Прийшов Яківцьо до Галютини
Темненької ночі,
Тай на ногу наступає.
А Галютина, як сива голубка,
Стала говорити:
"Убий, убий, Яківцю, свою жінку,
Буду с тобою жити".
Прийшов Яківцьо та до дому,
Зачав жінку бити,
Перед ним жінка, як сива голубка,
Стала говорити:
"Не жаль мені, серце Яківцю,
Що хороша, вродлива,
А жаль мені, серце Яківцю,
Що доленька нещаслива.
Не жаль мені, серце Яківцю,
Що я молодая,
А жаль мені, серце Яківцю,
Що дитина малая!"
А на річці, на дубовій кладці,
Прийшла, прийшла її мати
Та білого білля прати,
А сусідочки та добрії люде
Стали їй говорити:
"Годі ж тобі, та старая мати,
Свого плаття прати,
Іди, іди та свою дочку
На смерть наряжати".
Прийшла ненька ізтихенька,
Та дивиться в віконце:
Лежить її дочка люба
Личком проти сонця.
"Ой, діти мої та любимі,
А що це ви наробили?
На що це ви малих діток
Та й посиротили?!*"

* Не можемо вдержатися від вигуку: що за чудова краса по майстерності та людськості, увесь сей образ появи матері!

А в неділю рано пораненько
Та всі дзвони задзвонили,
То ж Яківця молодого
В заліза забили.
Од Ґалютини та до острожка
Втоптана дорожка:
"Усип, усип, шинкарко Галюто,
Хоть півкварти горілки.
Через тебе тепера, Ґалютино,
Я лишився жінки.
Усип, усип, шинкарко Ґалюто,
Хоч півкварти пива,
Через тебе, Галютино,
Моя жінка не жива".

Другий варіант, записаний тим же збирачем в Александрівському повіті Катеринославської губ. (від женщини), зважується намалювати, хоть дуже коротко (характерна прикмета українських пісень), образ самого вбивства;

Як ударив то він раз,
Вона похилилась;
Як ударив він удруге,
З білих ніг звалилась.

І після сього зараз же рисує покаяння убійця, котрий сам посилає за матір'ю вбитої:

Ходе милий по кімнаті,
Білі руки лове,
Та все сусідоньков просе:
"Сусідоньки, голубоньки,
Дайте тещі знати:
Нехай прийде, хоч приїде
Дочку убирати".

Два варіанти, один записаний у 1875 р. д. Платоном Шевченком від селянина Фед. Дарченка в с. Адександрівці, Балтського повіту, а другий, записаний С. Л. Метлинським[1], мабуть, на лівім березі Дніпра, розробили переважно

остатню розмову вмираючої жінки з матір'ю. Ми наводимо її по балтському варіанту:

Іде ненька, іде старенька,
Стала край віконця:
Лежить її люба дочка
Личком против сонця.
Дочко ж моя, люба та мила,
Що ж ти провинила,
Що твоя кров червоная
Залізо сполинила?"
"Мамцю моя, любко моя,
Що ж я провинила?
Лиха доля, нещаслива,
Віка вкоротила!"
"Сусідочки, голубочки,
Дайте попові знати,
Нехай іде любу дочку
На смерть сповідати".
"Мамцю моя, любко моя,
Нащо попові знати?
Сажень землі, чтири дошки,
Та й буду лежати!"

Своєрідний варіант записаний у 1873 р. Євг. Ганенком[2] у с. Жуках, Полтавського повіту. На рукописі його находимо такий заголовок: "Пісня 1871 г., составлена народом по случаю событія, которое здесь поется, около Полтави в с. Жуках". Сю замітку зроблено, очевидячки, зо слів жуківських селян, котрі, як се майже все буває в подібних пригодах, зовсім щиро впевняли етнографа в тім, що пісня зложена недавно із-за сеї нагоди, тим часом як справді ся пригода обновила в їх пам'яті стару пісню й поклала на неї лише нові риси. Справді, варіант Ганенка відхиляється більше, ніж інші, від основного типу, і сі відхили треба вважати за наліт на типічних рисах пісні рис індівідуального становища події в с. Жуках. Через усе те варіант Ганенка цікавий, бо кидає світло на самий процес народного пісенного творива.

Головні ріжниці варіанта з с. Жуків від інших степових — у розмові жінки з чоловіком перед убивством і в відносинах до події матері убитої. Жінка просить чоловіка:

"Не бий мене, мій миленький, мене молодої,
Поки трохи підгодую дитини малої".

Чоловік відповідає словами машинального послуху наказові фатальної вдови:

"Тоді тобі, моя мила, дітей годувати:
Приказала удівонька, так буду вбивати!"

Після убивства чоловік сам посилає за тещею. Ся остання й тут так само несміливо підходить до віконця, як і в попередніх варіантах, але питає доньку іншими словами, хоть і в тім самім розумінні:

"Дочко ж моя мила, люба, що ж ти наробила,
Чи свекрові, чи свекрусі чим ти не вгодила?"

Донька відповідає так само, ухиляючися звинуватити чоловіка:

"Нічим, ненько моя мила; я всім угодила,
Тілько своїм білим личком весь двір скрівавила".

Але мати не ділить її всепрощення:

Нарядила мати дочку у білу сорочку,
Почепила зятенькові через плече стьожку.
"Оце ж тобі, мій зятеньку, через плече стьожка,
Оце ж тобі, мій зятеньку, у Сибір дорожка!
Та вже ж тобі, мій зятеньку, стьожки не здіймати,
Та вже ж тобі, мій зятеньку, тюрми не тікати.
Було б тобі, мій зятеньку, чужих не любити,
Було б тобі, мій зятеньку, своєї не бити!"

В процесі Деркача свідки-селяни поясняли сліпу прихильність нещасного до вдови, при молодій красуні жінці, "чарами" вдови. Се звичайний простонародний погляд на подібні, невторопні для холодного розуму, відносини і на

вдову взагалі, особливо вдову, що не втратила змоги любити. Такі вдовиці часто представляються в народних піснях "чарівницями" і навіть отруйницями.

Вдові, що бажає подобатися, думає вийти за молодого, народні пісні надають холодність чуття. Так ув одній пісні (Головацький, II, 576) удова просить сиру землю, аби взяла її молодую, коли вона вже взяла її господаря. Молодий хлопець, прислухавшися жалощам пристрасної вдови, просить у матері дозволу взяти її за жінку. Мати не радить:

У вдовоньки таке серце,
Як зимнеє, каже, сонце:
Ой хоть гріє, хоть не гріє,
Та все зимний вітрець віє.
. . . . . .
. . . . . .
У дівчини таке серце,
Як літненьке боже сонце:
Ой хоть гріє, хоть не гріє,
Все тепленький вітрець віє*.

Всередині межи сими двома сентенціями мати характеризує три дороги:

Вдовичина — кровавая,
Материна — золотая,
Дівчинина — медяная.

---

* В косівській пісні[3] (Галичина) мати каже:

Жени сі, синоньку,
Лиш бери дівоньку,
Та не бери удоволоньку,
Мій милий синоньку.
Бо в вдовоньки серце,
Як узимі сонце:
Та хоть уно ясно гріє —
Зимний вітер віє.
А в дівоньки серце,
Як уліті сонце:
Та хоть уно хмурно гріє —
Теплий вітер віє.

Друга пісня (Чубинський, V, 31) або швидше варіант отсеї, означує, чому дорога вдови кривава: її чуття до другого чоловіка нещире; і сама вона не певна, чи чуття до неї молодого милого-жениха, або чоловіка, стале, і через те вона з заздрості хапається за небезпечні чари та отрую. Невиданий варіант отсих двох пісень, що майже зливаються в одну, записаний д. Ол. Руданським у м. Калюсику, Ушицького повіту Подільської губ., 1870 р., віддає сю паралель вдови й дівчини так:

"Ані спиться, ні дріміться й спать не хочеться,
Чогось моя головонька поморочиться.
Позволь, дозволь, стара нене, оженитися,
Та не буде моя головонька поморочиться".
"Ожени ся, синку Васильку, охота твоя,
Но не сватай ту вдовоньку, бо вдова біда".
Ой ходила молода вдовонька по крутій горі,
Та збірала всілякого зілля на чари мені.
"Чаруй, чаруй, удовонька, чаруй мене раз,
Щоби довго не лежати, щоб вмерти зараз".
"Як полежиш руський місяць, як полежиш два,
Будеш знати й пам'ятати, що вдова — біда".
Ой ходила молода дівчина на крутій горі,
Та збірала троякоє зілля на ліки мені.
"Лікуй, лікуй, молода дівчина, лікуй мене раз,
Ой як же я подужаю — возьму тя зараз!"

Такі відносини до вдови, засновані лише частинно на загальних правах особистого житя, а в звісній степені на останках поглядів тої епохи, коли жінку віддавано чоловікові на життя і в домовині, своєю дорогою, стають причиною поширування характеру вдови, його розсердження, звідси й справдішня охота вдів до чарів, до отруї та й, в разі колізій з іншою женщиною, до лютих намов. Образець останніх ми бачили в пісні про Якима або Якова. Про отруєння любаса вдовою каже отся пісня, записана С. Л. Метлинським, — ми

не пам'ятаємо, аби ми зустрічали її де-небудь у друкованім збірнику*.

"Ой сину мій, синочку, жалощі мої,
Де ти вчора з вечера був?"
"Ой був же я, ненечко, ой був же я, сердечко,
У близької сусідоньки, молодої удівоньки".
"Ой сину мій, синочку, і жалощі мої,
Чим тебе удова годувала?"
"Годувала, ненечко, годувала, сердечко,
Все рибкою із ніжками".**
"Ой, сину мій, синочку, і жалощі мої,
Де вона ту рибку ловила?"
"Ловила, ненечко, ловила, сердечко,
Все рукавцем по крапивиці".
"Ой, сину мій, синочку, і жалощі мої,
Ой чи їла удівонька і сама?"
"Не їла, ненечко, не їла, сердечко,
На голову розболілась".
"Ой, сину мій, синочку, і жалощі мої,
Ой чи їли хоть дітки її?"
"Не їли, ненечко, не їли, сердечко,
Вельми ж вони вже поснули".
"Ой, сину мій, синочку, і жалощі мої:
Ой се ж вона тебе чарувала!"
"Чарувала, ненечко, чарувала, сердечко,
Чарувала, старенькая".
"Ой, сину мій, синочку, і жалощі мої,
Які тобі старости збірати?"
"І позбірай, ненечко, позбірай, сердечко,
Все попи старенькії".
"Ой, сину мій, синочку, і жалощі мої,
Які тобі бояри ззивати?"
"Ой, поззивай, ненечко, поззивай, сердечко,
Усе дячки молоденькі".
"Ой, сину мій, синочку, і жалощі мої,

* Пор. Головацький, Нар. пісни Гал. и Угор. Руси. Т. II, 584. [прим. І. Франка].
** Себто жабами, котрі вдова видавала за рибу.

Які тобі музики наймати?"
"Ой, понаймай, ненечко, ой понаймай, сердечко,
У соборі во всі звони".
"Ой, сину мій, синочку, і жалощі мої,
Ой се ж бо ти умирать хочеш?"
"Хочу, ненечко, хочу, сердечко".
"Ой, сину мій, синочку, жалощі мої,
Ой де ж тебе поховати?"
"Ой, поховай, ненечко, ой поховай, сердечко,
У соборі у притворі".

На нашу думку, непотрібно додавати-що небудь по суті до наведених вище пісень. Скажемо на закінчення нашої статейки лише скілька слів щодо зверхнього їх боку.

Може читач, переглядаючи варіанти першої пісні, вже звернув увагу на схожість їх, при всій ріжнорідності подробиць, схожість навіть у виразах, у збереженню імені героя, не вважаючи на те, що ми маємо діло з варіантами, записаними від Галичини до Дону, в країнах, котрі здавна поставлені були в ріжні політичні умови. Ся схожість, котру майже в такій самій степені видно і в варіантах другої пісні і взагалі в величезній кількості українських пісень, свідчить про національну суцільність українського племені, чудову при звісних політичних долях його від XIII-XIV століття.

ЛІТЕРАТУРА РОСІЙСЬКА, ВЕЛИКОРУСЬКА, УКРАЇНСЬКА І ГАЛИЦЬКА

*Destruam-et aedificalitis!**

I

Шановна редакція "Правди" поставила недавно питання, чи може бути згода між "русинами" і "русскими"[1], між "українофілами" і "панрусистами", або "москвофілами", у Галичині. Питання те дуже великої ваги, бо, справді, незгода між не дуже многочисленною інтелігенцією у Галичині і той фанатизм, з яким ведуться між її партіями свари, не може не шкодити поступу народу руського у Галичині. Звісно, між людьми, з которих одні хотять волі і світла, а другі — неволі і тьми, згоди бути не може і не треба; але між людьми просвіщеними, чесними, которі бажають добра своєму народові, мусить наступити згода по практичним питанням, хотя би зосталась між ними ріжниця у деяких теоріях. Шановна редакція "Правди" сказала, що у практиці великої ріжниці між сторонництвами галицько-руськими немає. Хай мені дозволено буде узяти перо у цьому питанні і висказати, що і теоретичний спор між партіями цими йде більш з недорозуміння, ніж з сущності діла, що вже кілька років ісується народне руське діло більш з-за qui pro quo**, ніж з-за діла справдешнього.

Незгода у Галичині пішла з-за питання про відносини літературної крайової роботи до літератури у Росії. Одні заявили, що хотять мати одну літературу, одну літературну мову з Росією, а в ній з Великоруссю; другі хотять удержати свою літературу і єднатись у Росії тільки з українською

* Знищу, а ви збудуєте (упор.).

** Непорозуміння (упор.).

літературою. Єсть ще третя партійка у Галичині: це ті, котрі не хотять знати ні Великої Русі, ні України, а хотять мати свою зовсім окрімну, австро-ругенську літературу; но як ця партійка чудним образом злучається з партією панруською — хоть здавалось би, вона тим більше повинна б хреститись од великорусів, коли боїться і українців, — то ми про неї говорити не будем, як про партію, котора сама ясно своїх ідей не розказала, хотя може й вона, як і другі, теж дещо у собі має правдивого.

Головний спор ведеться між панруською партією і галицько-українською. Отже, нам здається, що спор цей і почався, і йшов таким побитом, що діло, замість того, щоб вияснятись, тільки більше запутувалось. Зоставлю на боці причини меншої важності (личності і т. д.), а обернусь до причин головних, од чого таке сталось з цим спором. Перша причина: що спорить почали з-за Росії і російської літератури, а ні того, ні другого ті, що споряться, не знали і мало знають і досі, бо, мабуть, і досі російська книжка або журнал у Галичині — рідкість. А який може бути серйозний спор без фактів? До чого, наприклад, мало знають у Галичині Росію, навіть ті, хто найбільш про єдність з нею говорить, бачу хоть би з того, що колись-то "Боян"[2], поставивший собі метою пропаганду панруських ідей, напечатав, що "язик, яким говорять у Росії, є галицький літературний язик", т. є. мова партії "Бояна". Я добре пам'ятаю, як сміялись у Росії з цього ті, що прочитали слова "Бояна" і буквально перепечатали у "С[анкт]-Петербурзьких відомостях" "письмо" автора цієї фрази до п. Куліша. Кожний з нас, росіян, читаючи — святий знає, на якій мові писане, — це письмо "Бояна", думав: "Слава тобі, господи, що ми не так говоримо, як пишуть у Галичині". Ось другий примір. Не раз чув я і читав, що п. Дідицький[3] подражав Пушкіну і Лєрмонтову, за що одні його похваляли, а другі лаяли, глядючи по тому, до якої партії належали критики п. Дідицького. Я б не хотів

сказати що-небудь неприятне п. Дідицькому, котрого патріотизм і працю для народності руської мушу поважати, хоть і не зовсім ділю його ідеї; але — змилуйтесь! — який же він російський поет, який ученик, не то товариш Пушкіна та Лєрмонтова! Начати з того, що Пушкін і Лєрмонтов правдиві поети, а не версифікатори тільки, люди великого таланту, признаного усією Європою. А потім: що схожого є між ідеями і темами творів автора "Евгения Онегина" або автора "Героя нашего времени" і "Думы к поколению", а автора "Буй-Тура" і "Сна князя Льва"? А щодо мови, то треба не тільки не знати російського літературного язика, а треба бути лишеним усякого чуття живої мови, щоб зрівняти хоть на крихту чисту й гарну великоруську мову Пушкіна, того Пушкіна, що вчився поетичній мові у своєї псковської няньки-кріпачки, коли вже став первим поетом у Росії, що посилав (що то за хлопоман був!) російських писателів учитись мові не по книгам, а "у московських перекупок", або мову Лєрмонтова, автора "Песни про купца Калашникова", що любувавсь навіть і "говором пьяных мужиков", — з мішаною, мертвою мовою поезій п. Дідицького. Ось як він каже про свого "буй-Тура":

"Той (тот) князь на Руси так прославился (*треба повел[ико] р[уськи] наголос на á положити, а тогді, значить, ритму не буде*),

Так сей (ее) врагами насильно бился (*насильно по-великоруськи = противу воли — значить, п. Д[ідицький] сказав би нісенітницю*)

И так половцам далася во знаки (*цілком не повел[ико] р[уськи], треба б сказати:* далася знать),

Же (*что*) щебетали о нем и птаки (*птицы, про розум усієї фрази вже не кажу*).

И руска(я) песня з старинных лѣт

Такие чуда о нем глаголит" (*по-церковному; а удобавок великорус лѣт прочитає лет, значить, рима пропаде*)...

Годі! І це учень Пушкіна, товариш Лєрмонтова! Це великоруська мова?! Ні, так у Росії говорять хіба рекрути з українців, що бояться говорити по-своєму і кажуть "п о є л коней", щоб тільки не сказати н а п у в а в. Коли вже хочете шукати аналогію у Росії писанням галицьких поетів, то йдіть не до Пушкіна і Лєрмонтова, а ще менше до Тургенєва або Островського, а возміть хіба "Битва русских с кабардинцами, или Прекрасная мусульманка, умирающая на могиле своего друга" і т. ін., що читають у Росії денщики та лакеї, та й то аналогія буде вірна хіба як до сюжетів і ідей, а по мові, то аналогії не знайдете нігде.

Спитаю я тепер, чи стоїло сваритися з-за таких поетів, котрим не тільки у Росії, але навіть нігде аналогії не знайдете? Нащо було вірити їм, коли вони казали, буцімто вони зливають галицьку літературу з російською? А тут ще у Росії самій ніхто і не думав вважати галицьких літераторів своїми, братами Пушкіна, Лєрмонтова, Тургенєва. Нагадаю не тільки про статтю Чернишевського "Национальная бестактность" у "Современнику", що був колись також самим любленим журналом у Росії (мав до 6000 підписників*), про суд над галицькою літературою, над її мертвими сюжетами її мертвою та неорганізованою мовою, який знайдете у "Истории славянских литератур" п. Пипіна, що тепер один з редакторів самого любленого у Росії журналу "Вестник Европы" (має 8000 підписників), але навіть і про те, що сама "Современная летопись "Московских ведомостей"[4], котора навіть чи не перва підняла і у Галичині, і у Росії питання про відносини галицької літератури до російської, похваливши галицьких літераторів за те, "що вони не передражнюють простонародного говору, як малоруські, а стараються зближати свою мову до російської літературної мови", — сама, кажу, "Летопись" п. Каткова сказала не дуже

* Передплатників (упор.).

давно, що представляти у Росії на театрі звісну Галичині "Роксолану"[5] ніяк не можна. Таким признанням орган п. Каткова доказав, що одне діло — централістичне доктринерство кабінетне, а друге діло — літературні вкуси російської публіки, воспитаної на живій літературі, на живій мові. Чому ж та сама публіка, ті самі літературні критики Великорусі, як нижегородець Добролюбов, саратовці Пипін і Чернишевський, так хвалили Шевченка і Марка Вовчка? Чому первого переводять луччі поети у Росії, а другого печатав у себе і п. Катков і переложив сам Тургенєв? Чому у Петербурзі і у Москві і досі дають на театрах хоть і дуже пристарілу "Наталку Полтавку", "Москаля-чарівника" і т. д.? Чому навіть і прості великоруси читають у оригіналі Шевченка і плачуть, як я сам то бачив, читаючи цього українського поета життя і волі? Тому, що жива мова, живі типи завжди людям по серцю; тому, що жива українська мова ближча і понятливіша самому простому великорусу, ніж неорганічна мішанина тих людей, що хотять писати по-великоруському, а пишуть господь зна по якому.

Глядючи на сі факти, не можу не сказати, що у Галичині вийшло велике qui pro quo з літературним питанням од того іменно, що спор пішов з-за відносин галицької літератури до російської, а фактично ні літератури, ні літературних вкусів публіки російської, ні мови її у вас не знали, особливо ті, що найбільш про союз з Росією говорили.

Друга причина, з чого спор про відносини галицької літератури до російської став на таку ненормальну і погибельну для народного діла у Галичині дорогу, теж тілько почастний наслідок того ж загального недостатку фактичного знайомства з Росією і її літературою.

Розмова про відносини Галичини до Росії піднялась у вас у часи, не дуже щасливі і для Галичини, і для Росії, не дуже пригодні для взаємного порозуміння, а — головне діло — ті, хто узявсь говорити і у вас, і у нас про взаємини Галичини і

Росії, були люди, мало спосібні зрозуміти це діло, та ущ'ять люди, мало спосібні й поняти, що і до чого мусить прилучатись. Ваші побачили у Росії тільки ту партію, що найбільш гомоніла у смутні часи після польської революції і після каракозовського вистрілу на царя, — і як та поліцейська, або найбільш бюрократична партія наша, ухопилась за національний централізм, а потім, з ініціативи чехів (котрі мали свої почастні причини єднатись з російськими слов'янофілами), за славізм, то у вас і поняли, що уся Росія або головніша часть її інтелігенції, не кажучи вже про уряд, представляється партією "Московських відомостей", котору у Австрії вважають, далеко не зовсім вірно, панславістичною; усім здалось, що от-от-от Росія появиться у Австрію, щоб зробити другу Садову[6], і, натурально, одні почали кланятись цій Росії, а другі — лаяти її. Місцева літературна незгода у Галичині стала ще зліше, прийнявши політичну окраску. І ущ'ять шкода збільшилась від того, що замість того, щоб пізнати Росію з її власних джерел і з усіх боків, галичани взнавали її, окрім витягів, що робило "Слово" з газет однієї партії у Росії, що представлялась "Московськими відомостями" і тогдішнім "Голосом", найбільш з німецьких віденських газет, которим вигідно було кричати про московського козака, стоящого коло воріт Австрії, готового розорити трохи не увесь світ, і ну — хто поклони бить, а хто лаяти цього "апостола панславізму з нагайкою!"

Тогді як, приглядівшись ближче, можна б було побачити, що між поліцейсько-бюрократичним напрямком "Моск[овських] від[омостей]" і настоящим слов'янофільством московським є велика ріжниця, що це слов'янофільство де з яких боків не такий страшний чорт, як його малюють — це довго б треба доказувати, і тих, хто хоче добре оцінити московське слов'янофільство, як воно було і є, з його добром і злом, одсилаю до статей "Восточная политика Германии и обрусение" М. Т-ва і "Характеристика литературных мне-

ний в России от 20 до 50-х годов" п. Пипіна у "Вестнику Европы" за 1872 р. Я тепер нагадаю тільки те, що сам Костомаров у своїй статті про Конст. Аксакова[7] признав, що московські слов'янофіли перші у Росії указали на общинний, народний принцип у історії, на роль земських соборів, козацтва, розколу; у часи емансипації крестян у Росії слов'янофіли стояли за те, щоб наділити їх землею, і за сільську автономію; слов'янофіли не раз голосно говорили проти церковної нетерпимості у Росії, проти монашеського деспотизму архієреїв і т.д.; у слов'янофільській "Русской беседе"[8] найшло собі пристанище українофільство, як стало воно знову виходить на світ після гонєнія 1848 р.; "День" Ів. Аксакова боронив п. Костомарова од п. Каткова; він же полемізував проти доктрини п. Каткова, що Росія мусить робити з Польщею те, що Прусія з Познанню і т. д. Московських слов'янофілів ніколи не любила російська бюрократія. Николай I бачив у слов'янофільстві дух Стеньки Разіна; багато писань Хомякова, Кошелева, Самаріна могли буть напечатані тілько за границею; три газети Ів. Аксакова ("Парус", "День", "Москва") скінчили вік під адміністративними карами, котрі тепер чотири рази за 1872 р. постигли полуслов'янофільську "Беседу". Правда, теологічна закваска, котора лежить у московських слов'янофілів, як modicum fermentum, часом totam massam corrumpit*; але хто знав добре їх, той не міг не хитати головою, бачачи, як галицькі клерикали думали, що вони справді брати з московськими слов'янофілами, а галицькі народовці ставили на одну дошку чесного великоруського хлопомана Ів. Аксакова з бюрократом п. Катковим, а то і з обскурантом п. Говорським[9], которого журналові стидалась дати субсидію навіть і київська адміністрація і который перебрався у

* Слабкий фермент часом псує всю масу (упор.).

Вільну, дальш которої трудно було і побачити цей орган "мрачного сонмища" і "ташкентцев Северо-Западного края".

Але мало того, що московське слов'янофільство зовсім не було таке і у самі худші свої часи, яким воно здавалось австрійським москвофобам і москвофілам, то й воно зовсім не представляло більшості російської громади і її виразителя, російської печаті. Руководящі ідеї російської громади щодо тих національних питань, которі піднімало московське слов'янофільство, лучче усього виражаються статтями про йо́го п. Пипіна у "Вестнику Европы", которі (прошу замітить) завше резюмує і з которими згоджується сам обозріватель журналістики у "Голосі". Те, що каже п. Пипін про національні доктрини московських слов'янофілів, можна зрезюмувати так: вони, окрім деяких ідей, були не стільки общеруські патріоти, як самі про себе думають, скільки московські партикуляристи. От того вони і не люблять ні Петербурга, ні, як кажуть, петербурзького періоду історії Росії, тоді як тільки у цей період стала формуватись у Росії громада і культура правдиво всеросійська, т. є. зо всіх елементів — як великоруського, так і малоруського, та ще й польського і німецького. Од того московські слов'янофіли не були консеквентні* у своєму погляді на українофільство, бо, як руський народний напрямок, вони б мусили виказувати симпатію малоруському напрямку, як і великоруському, а вони перейшли у один стан з "Моск[овськими] відомостями" і т. ін. державними централістами, а не народовцями (дивись особливо: "В[естник] Евр[опы], 1872, декабрь).

Та ще мало й того, що більшість літературної і освіченої громади у Росії так оцінює московський партикуляризм: російська громада зовсім індиферентна до націоналізму,

* Послідовні (упор.).

ставлячи — як майже усі громади великих політичних тіл, давно дійшовших до досить вже обширних державних границь (Англія, Франція), — на первому плані питання соціально-культурні і діло розвою і строю своєї хати. Од того і панславізм, і москвофільство, і україно-фільство, як національні напрямки, мало ціняться у Росії, хоть послідні обоє стоять у зв'язку з питанням про розвій домової культури і літератури і мають свою соціально-культурну важність у Росії, од чого і не забуваються зовсім. Панславізм же і національний централізм мають у російській літературній громаді ціну вельми низьку. Я не буду казати про уряд у його дипломатії, бо мало це діло знаю; скажу тільки, що не дуже-то видно по практиці, щоб уряд російський дуже поспішавсь розливати кров і потом зароблену копійку свого народу задля чехів і болгарів і що генерал Фадєєв, ідучий у Цареград через Відень, більш займає віденських газетних крикунів, ніж Росію, у которій його мало хто й читав і деякі почули про його тільки тоді, як німці, которі і досі не мають переведеним ні одного путнього курсу історії Росії і її літератури, ні однії монографії якого-небудь Костомарова, перевели за проводом віденських централістів і балтійських феодалів, которі мають кожні свої резони кричати про Росію, перевели осміяного у російській печаті генерала Фадєєва та й почали кричать: ось мов, що дума Росія! Не буду я говорити і про визови учителів з Чехії, Галичини і т. д. російським міністерством народної освіти, которе, щоб як-небудь витягти свою непопулярну у Росії реформу гімназій, хапається за чехів і галичан, як потопаючий за соломинку, — це діло спеціальне міністра освіти, не тільки не торкающеся до російської громади, але й до усього уряду російського, который більшістю майже 2/3 голосів у державному совіті не одобрив проекту реформи міністра освіти. Скажу хіба, що те робить честь російській громаді, що обскурантний класицизм не знайшов у неї слуг собі і мусить скликáти

голодну сарану по усьому світу. Не буду говорити я і про централістичну політику у Польщі після 1866 р. на образ французької політики у Ельзасі, пруської у Познані; про народну освіту на Україні теж говорити не буду: про все це була річ у другім місці. І взагалі я буду говорити не про уряд, а про громаду, про літературу, бо усе питання піднято у вас з-за російської літератури, та й уряд російський до Галичини не торкається та й не торкнеться.

Отже про громаду (освічену) і літературу у Росії кажу, що вона і не дума ні займатись через край панславізмом, ні віддаватись ідеям національного централізму. Не глядючи на те, що слов'янофіли московські зачіпали деякі важні питання і інтереси громадські, так малий смак має громада у Росії до містицизму і фантастичних замірів, що ні один слов'янофільський журнал у Росії не міг продержатись самою публічною підпискою, без помочі якого-небудь мецената (Кошелева напр.). Журнали ж, котрі слов'янофільству і націоналізму давали бюрократичний і обскурантний характер, як напр. "Заря", не могли знайти і мецената і зникали, не наживши і 800 підписників, тоді як публіка давала 68 тисяч підписників "Современнику", "Вестнику Европы", "Отечественным запискам", "Делу"[10]. У часи польської революції п. Каткову удалось узяти велику силу, і треба признати, що він показав немало публіцистичного таланту і ловкості, з которою він умів зачіпати важні питання, умів уплітати у свою централістичну доктрину симпатичні квіти, як напр. оборону западноруських, а потім і великоруських крестян од замірів аристократичної російсько-балтійсько-польської партії, що мала колись органом газету "Весть" (хотя сам завше був англоман-аристократ по теоріям і колись полемізував проти крестянського наділу), ідею о рівності віроісповіданій проти самих віденських православних клерикалів, і т. ін.; одначе і п. Катков у послідні часи запутавсь у лабіринті противорічій і стратив свою міць у публіки; газета його ще держиться, бо

газета має ціну яко збірник новин, і не глядючи на її напрямок, але журнал "Русский вестник" (а журнали у Росії більш представляють дух публіки, ніж газети) ледве дихає і годується на щот "Моск[овських] від[омостей]" — думаю, що не надовго, бо луччі сотрудники з московських професорів перебігають у "Вестник Европы"*.

З напрямком цього журналу читателі "Правди" знакомі трохи. Возьміть также другий журнал петербурзький, "Отечественные записки", що має після "Вестника Европы" найбільше підпищиків, — і ви не тільки не знайдете сліду якого-небудь панславізму або національного централізму, але навіть крайню насмішку над такими питаннями і

* Для пояснення того, що я говорю вище і нижче про літературно-політичні симпатії публіки у Росії, я наведу кілька цифер, которі я маю тепер під рукою; а маю я цифри про підписку на журнали і газети тільки за три губернії — Київську, Подольську і Волинську — з календаря Юго-Запад[ного] краю пп. Борисова і Чубинського, т. є. за ті губернії, куди немало наїхало ради "обрусенія" елемента, который мусить ділати по ідеї п. Каткова. У цих губерніях у 1872 р. получалось "Москов[ских] ведом[остей]" — 533 екз., "Русского вестника" — 68, "Голоса" — 246, "Бирж[евых] вед[омостей]" — 186, "Беседы" — 6, а "С[анкт]-Петерб[ургских] ведом[остей]" — 399, "Вест[ника] Евр[опы]" — 345, "Дела"—174, "Отеч[ественных] зап[исок]" — 145, "Недели"11 — 53, "Знання" — 32. Значна цифра "Москов[ских] ведом[остей]" виходить не тільки од названої вище причини, але навіть і од того, що Москва на 1½ дня ближче до Киева, ніж Петербург, значить телеграмні новини можуть прийти швидше з "Москов[ских] ведом[остей]" у Київ. Од того у Київській губернії більш виписують "Моск[овських] від[омостей]", ніж "С[анкт]-Петер[бурзьких]" (281 екз. "М[осковских] від[омостей]", 179 — "С[анкт]-Петер[бургских] в[едомостей]"), а на Волині, куди через Брест швидше доходять петербурзькі газети, — навідворот ("М[осковских] в[едомостей]" — 119, "С[анкт]-П[етербургских] в[едомостей]" — 143). Не можу оставити цифер цих, щоб не звернути увагу на деякі другі характерні речі. Так, "Киевлянина" йде у Київську губ[ернію] 1120, у Волинську — 98, Подольську — 86; значить, коли виключити Київську губ[ернію], для которої "Киевлянин" має місцевий інтерес, то крайова, підцензурна газета має менше ходу, ніж кожна з столичних, безцензурних. Друга інтересна річ, що у краю получається руських журналів і газет 13 456 (з них офіц[ійних] — 4896), а польських тільки 3563, тогді як католиків-панів у краю більш, ніж православних панів і урядників. Факт той свідчить, що культура російська у краї узяла верх над польською, бо паникатолики або мало читають, або читають російські видання.

ідеями. Досить буде сказати, що один з редакторів "Отечеств[енных] запис[ок]", Щедрін (Салтиков, трохи теж звісний Галичині з переводу п. Нечуєм[12] однієї його казки), що випустив термін "ташкентці", которим кличуть у Росії усякого роду сарану, котора то як жандарми, то як адвокати, то консерватори, обруситєлі, цивілізатори, класики і т. д. летить туди, де "жрать" можна легше, "котора лице чоловіче (і народне) вважає не за образ божий, а за об'єкт, куди можна завше ткнути чи плюнути", а потім "закусити всеросійським пирогом (т. є. грішми, забраними з народу і народів), виставленим у безконечному ізобілії: іже і у єдинонадесятий час прийде (як австрійська еміграція), нічтоже сумняшеся, но да ясть!" Возьміть полусоціалістичне "Дело", що ширяться особливо у великоруських губерніях, возьміть критичну "Неделю": ви не найдете там і сліду тих ідей, которі після "Моск[овских] ведомостей", перейшовших через фільтру "Слова"[13] і "Neue freie Presse"[14], вважають у Галичині за пануючі у російській громаді. Та возьміть самий "Голос" послідніх місяців: він було зовсім хотів бути петербурзькими "Московскими ведомостями" (петербурзьке слов'янофільство), одначе тепер у фейлетонах каже про панславізм і слов'янофільство те ж саме, що і "С[анкт]-Пет[ербургские] ведомости" і інші. А щодо домових праць, то і "Моск[овские] ведом[ости]", і "Голос" завше не кидали критичної і сатиричної методи, а фейлетони і хроніки "Голоса" у останні місяці пишуться з таким духом, которий називали колись нігілістичним*. Тільки з таким критичним, а не шовіні-

* Про "Биржевые ведомости", "Русский мир", "Гражданин" я не споминав, бо про їх освічені люди інако не говорять у Росії, як зо сміхом, і треба мати недобросовісність і незнання віденських німецьких газет, щоб цитувати їх як серйозні російські видання або ще й казати, як "Neue freie Presse", що "Русский мир" — орган міністерства Мілютіна, которого демократичні і гуманні реформи у армії ця газета малює як гибель Росії.

стичним духом і може держатися журнал або газета у російській громаді — не кажу вже, щоб вона поважалась.

Придивившись до такого духу російської громади, ви побачите, що той страх і ті надії, котрі виходили у Австрії з фантому донського козака як апостола московського панславізму і котрі дали такий жаркий політичний характер галицькому літературному спорові, зовсім безосновні. У Росії не тільки мало хто займався питанням: бути чи не бути слов'янським державам, окрім Росії, бути чи не бути слов'янським літературам поза Росією, — але навіть більшість російської громади і не думала про слов'ян: не ми їх тягли до себе, вони самі до нас лізли, і їм самим не робить честі, що вони полізли до нашого реакційного табору, до умираючої Росії, а не живої, Росії будущого. Але це кинемо, бо інакше зайшли б далеко убік од діла.

Коли у Росії освічена громада, більшість органів печаті не ставила ніколи питання про жизнь або смерть западнослов'янських літератур, яко про діло для Росії неінтересне, то не ставила вона ніколи того ж питання і про українську літературу, хоть це діло і не без інтересу для Росії, у котрій живе 12 мільйонів українців. Що таке de facto українська література у Росії, про це ми тепер говорити не будемо, зоставляючи нашу річ про це надальше. Скажемо тепер тільки те, що вже видно і з приведених вище примірів: що усе живе, т. є. живим язиком і про інтересне діло написане по-українському од Котляревського, которого "Енеїда" знайшла колись не тільки читателів, але й подражателів у Великій Русі, до Шевченка і М. Вовчка, мало свою пошану і добрий привіт у Росії, у Великій як і у Малій. Ніколи ні один поважний критик у Росії, оцінюючи українські книжки, не одступив од основного закону критики російської, т. є. що все те гарно, що живою мовою про живе діло говорить. Виїмку робить хіба Бєлінський, который з геніальним почуттям первий замітив родство

"Слова о полку Ігореві" з українськими думами, который оддавав первенство перед великоруськими піснями — малоруським ради їх гуманного і свободного, європейського (Бєлінський був "западник") духу, а однако крішко нападав на перві твори Шевченка. Але Бєлінський тоді держався гегеліанської державної доктрини і, окрім того, як чоловік тонкого естетичного чуття, не міг, не будучи українцем, находити смаку у — скажемо правду — дуже необроблених і часом безпорядочних писаннях нашого великого кобзаря і, яко гуманіст і мало знаючий історію відносин поляків і русинів, трохи жахавсь кровавих картин, которі, як здавалось йому, з дуже великою суб'єктивністю намалював Шевченко. Але, виключивши Бєлінського, усі критики російські не казали нічого, окрім симпатичних слов про Шевченка, а первий випуск "Народних оповідань" М. Вовчка зробив прямий фурор у Росії, появившись тоді, як тільки піднялось крестянське діло. З писем і дневника Шевченка видно, яку він мав честь і приязнь у московських слов'янофілів і петербурзьких ліберальов. Нагадаю рецензію на Шевченка у "Современнике", писану Добролюбовим. А слов'янофіл Аполлон Григор'єв, колись-то соредактор у погодінському "Москвитянине", по смерті Шевченка написав статтю у "Время", у которій ставив Шевченка рядом з поетами, которі мають вічну ціну, як Данте, і вище Гоголя, у чому, по-моєму, трохи пересолив. Немало великоруських рублів дано було п. Костомарову, як він задумав видати євангеліє і учебники на малоруській мові; Хом'яков напечатав радость свою "Проповідям" Гречулевича[15], Бєлаєв у "Дні" хвалив замір видати євангеліє по-малоруському. Ів. Аксаков, як я казав, обороняв замір Костомарова од доносів Каткова. І хоть потім очі п. Аксакова, у которих, як казав п. Катков, попереду "двоїлось" нащот українізму, зовсім помрачились, як і у п. Каткова (не без причин ваших, галицьких, як скажемо нижче), одначе остання печать у

Росії не переставала, при случаї, виражати недовольство *адміністративним заборонам* заміру п. Костомарова. Статті "С[анкт]-Петерб[ургских] ведомостей", відомі і в Галичині, книга п. Пипіна, недавні статті Т-ва і Пипіна у "Вестн[ике] Европы" тому свідоцтво.

Ще менше у Росії ставилось питання про те, чи бути, чи не бути власній літературі у Галичині. Нагадаю вп'ять про пом'януту статтю Чернишевського у "Современнике", про книгу Пипіна, а далі і про слова самого Влад. Ламанського; цей послідній колись у "Дні" (1862 г., № 7), обсуджуючи питання про літературу українську в Росії і про галицьку і висказавши ідею, що неможливе діло, щоб література українська зовсім виділилась з російської, однако ж прибавив, що є потреби літературні і культурні, которі найлучче можуть бути удовольнені тільки українським словом, а про Галичину сказав, що не можна зупинити галичан од роботи над розвоєм своєї народної літератури. У часи, як піднялись напади на українську літературу у Росії і у Галичині, п. Ламанський у своїй брошурі про італійську літературу сказав, що недобре роблять крайні великоруські патріоти, що неприязно дивляться на опити малорусів і галичан розвивати свою народну літературу. А ще ж п. Ламанський є крайній панславіст! Остання публіка літературна у Росії не тільки не дивилась неприязно на галицьку літературну автономію, але навіть не більш, як разів 3 до 4 на рік і згадувала про Галичину. "Хай роблять, що хотять і як хотять! — от що скаже усякий у Росії про Галичину. — Лучче їм писать по-українському, хай пишуть; лучче по-московському — їх діло!" Тепер, мабуть, усі вже увірились у вас, що російська держава не думає однімати Галичину от держави Габсбургів, а я скажу, що російська громада і література не думала ворогувати проти літературної автономії Галичини. Правда, інколи у газетах у Росії ("Моск[овских] вед[омостях]", "Голосе", "Биржев[ых] вед[омостях]") появлялись

статті проти галицьких українофілів і народовців і у похвалу панрусистам галицьким, але то були тільки одголоски ваших власних, галицьких криків. У Росії не мали других джерел, щоб знати, що робиться у Галичині, окрім "Слова", — бо воно є єдиною газетою у вас, котора без перерыву і з більшою чи меншою повностю розказує про політичне життя у Галичині. Звісно, не можна похвалити редакцій російських газет за те, що вони без критики приймали докази "Слова", буцімто галицькі народовці запродались полякам, змінили народові і Слов'янщині, ворогують проти Росії і т. д. Але не можна не попрікнути і деяких народовців (або тих, що часами приставали до них) у тому, що і вони без критики відносились до Росії, отожествляючи російську громаду з пп. Катковим або і з Говорським, у тому, що і вони показували прихильність до теорії о монголізмі Москви (дивись статті у "Основі"[16] за 1872 р.), та ще і у тому, що дуже поспішили поділити Росію на Московщину, або Росію, і Русь, або Україну. Можна попрікнути народовців і у тому, що вони не постарались доказати неправду клевет "Слова", хоть би розіславши у редакції російських журналів такі розумні статті, як "Одвіт п. Партицького "Московським "відомостям" і "Москві" у "Правді" за 1867 р. Розказням "Слова" було б менше ходу у Росії, а через те менше було б чвари і запалу між партіями і у самій Галичині. Одначе російська печать усе-таки показала образки критичного і поміркованого погляду на галицькі діла: нагадаю про статті "С[анкт]-Петерб[ургских] ведом[остей]"[17] у часи свару між пп. Кулішем і Головацьким або "Січі" і "Основи" у 1868 р. Петербурзька газета показала факти, которі свідчать о безосновності клевет "Слова" на народовців, і прибавила од себе замітки, що обидві галицькі партії більше чи менше грішать фанатизмом і діляться або з-за неважних діл, як правопись, або з-за далеких, як панславізм і панрусизм, і тратять час і запал,

который лучче б приложити до практичних діл, на которих обидві партії могли б зійтись, бо не дуже-то вони діляться на практиці один од других. Це все дає мені право сказати, що узагалі російська печать менше винна, ніж галицька, у тому, що незгода між руськими партіями у Галичині затяглась так надовго і стала такою острою.

Головна вина галицьких патріотів обох партій у тому, що вони дали більш важності і уділили більш часу такому для них заграничному, а не домовому питанню, як питання про відносини галицької літератури до російської. Минаючи те, що Росія мало дума для Галиції, що вона не може гадати про те, щоб піднімати проти себе Австрію і Германію, щоб узяти провінцію, яких у неї і без того немало, і не може ждати для себе великої користі од того, що галичани будуть писати по-російському, бо галичани усе одно будуть писати про свої діла і інтереси, а Росія має свої діла і інтереси, — і самим галичанам, як би вони не думали про свої відносини до Росії і російської літератури, усе одно треба самим працювати над народною освітою, над наукою про свій край і т. д. Цю працю усе одно галичанам треба вести своїми силами, у своїх обставинах політичних, соціально-культурних, язикових, так що галичани, хоть би і не хотіли, а не можуть не розвивати своєї, власної літератури. Малоцінність усіх чварів з-за питання про відносини галицької літератури до російської виясняється більш усього тим, що ті самі люди, которі говорять про єдность з Росією, усе-таки volens-nolens* виробляють свою літературу, і духом, і язиком одмінну од російської. Про дух "Слова", "Нового света" і т. ін. я уже і не говорю: щирі підпишики цих почтенних журналів, навірно, стали б хреститься, як од диявола, якби їх засадили читати не тільки "Отечеств[енные] зап[иски]",

* Вільно-невільно (упор.).

"Вестн[ик] Евр[опы]", Добролюбова, Тургенєва, Островського і т. д., а хоть би самі богословські писання Хом'якова або і самі "Московск[ие] ведом[ости]" (про жидів) і "Голос" (напр. недавній фейлетон про нігілізм Соломона і Екклезіаста)*. Але возьмемо одну мову хоть би, напр., нового "Страхопуда"[18], котрого "главний" сотрудник вже в 1867 р. виступив як докажчик тожества літературного язика галицького з російським і, значиться, мав досить часу вивчитись послідньому. Мушу признатись, що дещо прочитав я у новому "Страхопуді" з довольством: видна щирость до руського діла, видно і духа критики, є доля й остроти, але мова "Страхопуда" навела на мене сум. Не розберу я, яка це мова, — тільки не російська. Беру № 1 і вибираю перві попадающіся одміни од літературного російського язика. Одні одміни вийшли од того, що автор пише по-українському або почастно по-галицькому: який (какие), ся бороти (бороться), заспѣваєм (запоем), сватове (сватья), числиш (считаешь), як вам витаю (прихожу) і т. д.; другі — з того, що автор пише по-церковному: днесь (теперь); треті — з того, що автор пише по-латинському: корруцій (порчі), тестамен (завещание); четверті, численніші, — од того, що автор видумує форми, ніякому руському язику — ні великоруському, ні малоруському — не принадлежащі: я снил (мне снилось), отиграет на басе (сыграет; отыграть по-великоруському контраст від "програти" гроші, т. є. назад вернути ігрою у карти або що); отспѣвает (пропоет); жмется сердце (сжимается; жмети значить щось друге, а не те, що хотів сказати автор,

* По тому, що діялось і тепер діється у Галицькій і Угорській Русі, я берусь пророкувати, що багато з тих, хто тепер з причини буцімто "русскости" одхрещується од "козацької України", будуть скоро одхрещуватись і од "Москви", як нові залізниці, що зв'язують тепер Галичину з Росією, зроблять своє діло, т. є. познакомлять ближче між ними обидві землі.

напр., у переводі "Erlkönig": мальчик жмется к отцу, т. є. п р и т у л я є т ь с я до батька); при заре небенгальских мрак (??? Тут раз, що зовсім смислу нема, а удруге, що і такої форми gen[etivi] plur[alis] од слова м р а к у великор[осів] нема; було б "мраков", так на лихо мрак по-великор[уськи] pluralis не має). Деякі помилки у п. Страхопуда виходять з того, що він боїться сказати по-малоруському: м е н і с н и л о с ь, п р о с п і в а є, т е п е р, думаючи, що погано буде, та й махне: я с н и л! і т. д. А воно якраз виходило, що тут малоруське було те ж саме, що й великоруське, а п. Страхопуд зо страху, щоб не заговорити по-українському, заговорив по-ніякому! Уже про наголоси у стихах і говорити нічого: по "Страхопуду" приходиться читати и л и, е с л и, н е с к о́ л ь к о, є с т ь л и:

Хоть не | одной | мысли | сьн (!?),
І Подай | руку, | честный | воин!

Таких стихів, таких наголосів ні одно ухо, ні одно горло ні великоруське, ні малоруське не витерпить. Видно, що п. Страхопуд стратив навіки всяке чуття руської речі (котора щодо ритму майже одна у великорусів і у малорусів). Ніякої ні граматики, ні словаря по таким писанням, як п. Страхопуда, написати не можна, тогді як по Пушкіну і Лєрмонтову, по Шевченку і пісням українським та галицьким можна зробити і органічні словарі, і органічні граматки. Я вже не кажу про те, що, стративши усяке почуття живої чоловічої мови, п. Страхопуд пише такі безсмислиці, як л а к е й с т в а б е з ч е л а (??) і т. д. Чудне діло. Я знаю чужинців, англичан і італьянців, которі почали учитись російській літературній мові пізніше п. Стебельського[19], а, однако, знають її лучче його. Я міг би привести російські стихи одного з таких чужинців, стихи, которі у безмірне число крат вірніше написані по-російському, ніж стихи п. Страхопуда! Чому це так? Тому, що чужі люди брали російську книгу, словар, граматику і вчились

формам і словам органічного російського язика, висліджуючи його закони, — їх рідна мова, будучи зовсім далекою од російської, не збиває їх, і вчаться англичани, італьянці російській мові розумно — і виучуються. А галицьких "росіян", коли читаєш, то бачиш, що діло стоїть так: змолоду заб'ють його латиною і німеччиною, рідну мову він наполовину забув, кругом себе чує польську або німецьку, толкує про Росію, але ні книжок російських не має, ні речі живої великоруської не чує; возьметься писати по-російському — тут йому лізе слово або форма галицька, польська, церковна, німецька і т. д., а тут ще страх — коли б не сказати по-малоруському!.. Лихо та й годі. Треба ще прибавити, що учений англичанин або італьянець — чоловік просвічений новим європейським духом, він і у Росії шукає того ж нового європейського духу, которим живе і російська література, як література усіх великих народів; він не перемішає Державіна, Карамзіна з Тургенєвим, як панове Страхопудове, бо і у себе учений англичанин не перемішає Попа[20] з Теккереєм; учений німець, француз, англичанин і т. ін. коли б захотів прочитати російське або перевести або написати про Росію, то переведе Лєрмонтова і Пушкіна, українські пісні (Боденштедт), Тургенєва — "Записки охотника" (Віардо)[21] або "Песню о Калашникове" (Теціа) або напише про народні пісні і про комедії Островського (Ральстон)[22], про історію свободних ідей у російській літературі (Кастеляр) і т. д. А галицько-угорські руські з їх старосвітським духом, з їх мовою можуть хіба розвити якусь власну літературу, котору можна буде назвати австро-угро-уніятсько-бурсако-руською, але, крий, боже, не російською і не великоруською!

Коли тепер добавити до того, що галицькі "русские" volens-nolens, а виробляють літературу, ні духом, ні мовою не похожу на російську, і після усіх криків про єдность з Росією пишуть так, як "Страхопуд" (про "Новый свет" я уже і говорити не буду, колись був кусник з його приведений

буквально у "С[анкт]-Пет[ербургских] ведом[остях]" — так росіяни вже і не сміялись, а аж сумно стало: господи, казали, невже єсть живі люди, що так і таке думають!), як добавити до цього, що луччі представителі "руської" партії у Галичині, як Наумович[23], пишуть найбільш потрібні у краї популярні книжки доволі чистою малоруською мовою, которій можна забажати хіба іноменше німецьких і латинських слов, — то вже зовсім бачиш всю маловажність усього спору між літературними партіями у Галичині. Так як люди обох галицьких сторонництв хоть і не знають добре Росії, одначе і не діти ж, щоб споритись зовсім з-за мани (фантому), якою єсть псевдоросійська література в Галичині, то мусять бути глибші причини роздвою обох галицьких партій, причини політичні, соціально-культурні, а не тільки ріжноріч про відносини галицької літератури і її мови до російської — і ця послідня ріжноріч мусить бути тільки поводом і прикривкою других, глибших причин незгоди. Не будучи галичанином, не берусь судити про це. Одначе так як незгода ведеться під прапорами, на которих написані ріжні формули про відносини галицької літератури до російської, то вияснення цих відносин на фактах мусить помогти удаленню тих недорозумінь, двосмисленностей і qui pro quo, що тепер у великім числі набрались у Галичині, і може помогти коли не всім, то деяким живим людям з ріжних партій прийти до згоди хоч по деяких питаннях.

Отже, як було сказано, що практично немає великої ріжниці між правдивими патріотами обох партій, — ми добавимо, що є у словах і ділах декого з обох партій ще такі точки, которі можуть звести їх між собою у згоду. Уже і тепер, не глядючи на незгоду між двома партіями у Галичині, одні роблять на практиці те, що другі хотять у теорії. Партія "русских", говорячи про єдність Галичини з Росією, бере через край, як то ми показали; мало того, вона вибира у Росії те, що Росія сама викидає, єднається у Росії з тим, що шкодить самій

Росії; але партія ця підніма питання про діло, которе є однією з органічних потреб галицької громади, од чого партія "русских" усе-таки держиться доволі міцно, не глядючи на її помилки, бо землі сусідні, рідні по племені та ще й маючі таку зв'язку одна з другою, як Україна, особливо правобічна Україна, маюча стілько общих соціальних боків з Галичиною, не можуть не увійти у таку або іншу, але тісну взаємність між собою. Діло тілько у тому, щоб знайти образ і міру взаємності, польготну для обох країв, — а це ж не удасться вашим "русским", которі тілько шкодять ділу, що беруться провадити. Ваші народовці, навиворот, у теорії йдуть проти ідеї о взаєминах з Росією, але на практиці лучче єднаються з нею, ніж "русские", бо беруть з Росії немало її продуктів, а іменно продукти живої Росії, її літератури і науки, бо про другого роду взаємини нам, которих історія розділила між двома політичними союзами, з которих кожний може робити своє діло на користь чоловічества і культури, думати шкода. Іменно народна партія в Галичині, починаючи од взаємин Маркіяна Шашкевича (которого треба вважати не тілько батьком нової літератури у Галичині, але і батьком народної партії), починаючи од взаємин Шашкевича з малорусами Максимовичем, Бодянським і з українствувавшим великорусом Срезневським, галицька народна партія прийняла українську літературу, котора, як ми бачим, має свою почесть і свою важну задачу і у Росії, прийняла (через "Слово" 1862-63 рр., а потім особливо через "Правду" і почасти через недавню "Основу") і познакомила Галичину з научними роботами українців Куліша, Костомарова, Максимовича, Котляревського, великорусів Лавровського, Пипіна, Прижова, Стасова, Кавеліна, Гільфердінга, подала по образку повістей Щедріна, Тургенєва, подала кілька витягів з "Журнала министерства нар[одного] просвещения", "Вестника Европы", "Отеч[ественных] записок"), "С[анкт]-Петерб[ургских] ведомостей". Так іменно "противувроссийска" партія у Галичині зробила більш для

пропаганди літературних і наукових творів і методи поважаної у Росії літератури, ніж та партія, котора говорила про єдность з Росією. Не дарма та партія галицька, котора недавно була названа у "Правді" р у т е н ц я м и[24], так ненавидить українство, що навіть вже говорить, буцімто українофіли — "москалі", і не дарма рутенці не діляться з "русскими", т. є. з тими, котрі так багато говорять про єдность з Росією, тільки не можуть ніяк з'єднатися з тим іменно у Росії, що є настоящого російського. Не дурно, із другого боку, і ті з росіян, котрі мали случай познакомитись близько з літературою і партіями у Галичині, висказували більш симпатії до народної партії, хоть вона часом і несправедливо антипатизувала до Росії, ніж до "старої" партії, хоть вона стільки говорила про братерство з Росією, — так само, як у Великорусі люблять "сепаратиста" Шевченка, а не можуть читати "общерусса" Дідицького.

Чи не свідчить це усе, панове, про те, що справді у ідеї о взаєминах Галичини з Росією є органічна потреба, хоть вони бог знає як проводяться, так що виходить, що іменно між духом громади і літератури у Росії і духом так званих "ворогів Росії" на Україні і в Галичині є більш зрідства, ніж з духом "братів" Росії?

Але щоб не здавалось, що ми якось парадоксально перевертаємо угору ногами усе питання про літературні відносини між Галичиною і Росією, ми мусимо обернутися до позитивного перебору питання: що таке, справді, література російська, великоруська і малоруська у Росії? Затим легше можна буде винести позитивні ідеї і про літературні відносини і взаємини між Галичиною і Росією. Це ми попробуємо зробити в дальших письмах, як шановна редакція "Правди" зволить нам уділити у себе місце.

Тепер треба нам обернутись до розбору того питання, що таке на фактах так звана у Галичині література р о с і й с ь к а у Р о с і ї (не в Галичині). Тут зустрічаємось уперед усього з термінологією, прийнятою до цього у галицьких народовців, по котрій література р о с і й с ь к а є синонім в е л и к о р у с ь к о ї і єсть через те щось таке не тільки одмінне, але і противне до літератури м а л о р у с ь к о ї, або, як кажуть, у Галичині, руської. Ця термінологія має свій корінь у тій ріжниці, котору у Галичині проводять між Руссю а Росією. Питання про цю ріжницю дуже важне, бо з тієї формули, яку про це діло поставимо, виходять переважні виводи, торкаючі не тільки усі літературно-культурні діла великого краю од Карпатів до Уралу, але навіть і політичне життя цього краю. Вірні нашому методу не залітати у будучність і теоретичні виводи без опору на фактах минувшого і сучасного, ми обернемось і до питання про те, що то Р у с ь, а що Р о с і я, поглянувши на факти минувшого і сучасного. І от тут-то ці факти не позволяють нам зовсім признати за реальну ту границю між Руссю і Росією, котору проводять поборники цієї границі. Поперед усього уже батьки цих термінів Р у с ь і Р о с і я, як буцімто імен двох різних тіл народних і моральних, дуже мало можуть ствердити нашу віру у реальність цих термінів. Явно, батьки ці — поляки із школи п. Духінського[25], котрі ще додають, що Росія, або Великорусь, або Москва — це Туран[26], а Русь, або Малорусь — це Польща. Галицькі народовці на ці додатки, особливо на послідній, не згоджуються, але основу терміна про ріжницю між Руссю і Росією усе-таки прийняли од поляків школи п. Духінського. Мушу, одначе, добавити, що між поляками і народовцями галицькими посередниками були публіцисти "Слова", бо вони перві зробили з двойного *с* у слові р у с с к и й знамено політичне і через те перепутали усю історико-етнографічну термінологію у галицькій літературі.

Перше діло я мушу сказати, що знамениті українські писателі, которих патріотизм український стоїть повище сумніння і которі деякими трактувались як українські сепаратисти, ніколи не уживали термінів Русь і Росія як окремих, ніколи не одбирали у великорусів (москалів) імені р у с к и й, або р у с с к и й. Вказую на п. Костомарова з його статтями "Две русские народности", "Ответ на выходки газети" "Czas" і "Revue contemporaine", "Правда полякам о Руси" у петербурзькій "Основі" і на п. Куліша у його епілогу до "Ч о р н о ї р а д и", у которому у первий раз були систематично висказані погляди про живу потребу української словесності, і на той лист його до п. Партицького[27], который був напечатаний у "Правді" у 1867 р. П[ан] Костомаров у українофільському органі ось якими словами одказав полякам, видумавшим новинку про Русь і Росію: "Пусть отстанут поляки от ребяческих замашек забрасывать международную вражду в надежде разложить наше русское отечество... Не разложилось оно политически в междуусобиях земель и князей, не разложилось оно духовно под татарским, литовским и польским владычеством, не разложится оно и от выстрелов ультрамонтанских газет и журналов, задаваемых нам из-за плохих гуляй-городищ. История, очевидно, ведет к сближению, к сознательному сродству и соединению всех славянских племен, а никак не к разложению. Кто против истории, против того история. Против такого рожна трудно прати"*. П[ан] Куліш у "Правді" (1867, ч. 9) так виясняв свій

* Звертаю вашу увагу на недавні статті п. Костомарова у "Вестнику Европы", 1873, 1-11, "Предания первоначальной русской летописи". Тут п. Костомаров не тільки зве і великорусів, і малорусів руськими однаково, але каже завсігди: "н а ш и в е л и к о р у с с к и е б ы л и н ы", які "н а ш и у к р а и н с к и е, м а л о р у с с к и е д у м ы и п е с н и". У які невиходні нетрі противуріч заходять у Галичині з нещасною термінологією, котра ділить Русь од Росії, можна бачити хоть у февральському н[омері] "Правди" на 1873 р. У однім місці сказано, що "тут (у Галичині) не Калуга, а Русь", а у другому, у переводі Тургенєва, читаємо про р у с ь к у ніч у Тульській губернії, ще дальш Калуги.

лист до п. Головацького: "Завітую, що коли ляхи печататимуть моєю правописсю на ознаку нашого розмиру з великою Руссю, коли наша фонетична правопись виставлятиметься не як підмога народові до просвіти, а як знамено нашої руської розні, то я, писавши по-своєму, по-вкраїнськи, печататиму етимологічною старосвітською орфографією. Себто, м и с о б і д о м а живемо, розмовляємо і пісень співаємо не одинаково; а коли до чого дійдеться, то п о л о в и н и т и с е б е н і к о м у н е п о п у с т и м о. Половинила нас лиха доля довго, і в с и л о в у в а л и с ь м и д о о д н о с т а й н о с т і р у с ь к о ї кривавим робом, і вже тепер шкода лядського заходу нас розлучати!"

Так говорили про о д н о с т а й н і с т ь р у с ь к у ті люди, котрі поважаються у галицьких народовців яко щирі р у с ь к і, а не р о с і й с ь к і патріоти. Чому ж галицькі народовці, галицькі р у с ь к і уживають термінів польських про р у с к и х, р у с ь к и х, р у с и н і в і про р о с і я н, р у с с к и х або москалів? Тому, думаю, що галицькі партії, розсерджені одна против однієї і з - з а с в о ї х д о м о в и х п и т а н ь, хапаються за перву встрічну термінологію, щоб підвести під неї свої ріжниці, — а ухопились галичани за термінологію, котора ділить Росію на Русь і Росію; од того у Галичині мало ознакомлені з історією і сучасністю Росії, а потім од того, що галичани, як австрійці, на усе дивляться з погляду австрійських обставин. Бачачи у себе боротьбу коронних країв і народностей, галичани підвели під готові, австрійські мірки і питання про відносини Великої і Малої Русі. Між одною і другою є ріжниці історичні і етнографічні; не все, що годиться для однієї, годиться і для другої — от австрійські критики ділу Росії і почали шукати між Малою і Великою Руссю свого роду Литави[28]. А тут ще поспіли поляки з своєю термінологією про Русь і Росію — ну, і готове діло! І ми зразу получили два цілком одрубні народи, два краї, котрих охрестили двома іменами, тільки орфографією одмінними

одно од другого! А прийняли ми раз два одрубні народи руських і росіян — зараз виводимо і дальші виводи про їх одрубність культурну, а далі і політичну.

Між тим знайти фактичну границю двох новоподілених народів на невідомій світові річці Есмані[29] не так-то легко, як написати *о* чи *у* або одно чи два *с*. Почать з того, що вже, коли уся ріжниця імен народів зводиться на таку малість, то уся така термінологія з первого разу стає дуже якось нетвердою. Мусимо признатися, що нігде у світі ми не бачили другого подібного приміру; і якби хто зачав розказувати, що є дві одрубні народності у Франції: одна франки, а друга французи, то міг би тільки насмішить люд, котрий знає досить і географію, і історію. А таку ж саму ціну мають усі розказні нових польських етнографів про те, що русини, руські одно, а россияне, русские — друге: смішно це слухати навіть і тогді, як ці самі імена начнуть писати латинською, французькою і німецькою орфографією і звати одних Rutheni, die Ruthenen або les Ruthenes, а других — die Russen, les Russes і видумувати такі нечувані досі терміни як la Ruthenie або й la Roussie. Я не хочу сказати, що між Великою і Малою Руссю нема ріжниці: вона завсігди була і не дуже-то мала. Не говорячи вже про спом'януту статтю п. Костомарова "Дві руські народності", котору я б радив частіше читати як централістам, так і партикуляристам у руському світі і котора хоть дечого торкнулась дуже легко і де у чому помиляється, але намітила цілу програму історико-психологічних робіт на довгий час, — спом'яну я хоть про те, що сам п. Катков ("Москов[ские] вед[омости], 1866, № 12) висказав, що між "Великою і Малою Руссю ріжниця не тільки у тому, що у одній кажуть ч т о, а у другій щ о, к а к — я к і т.д., а що між обома Русьми є глибокі духовні контрасти". Чим більш будуть учити історію і етнографію руську, тим більш будуть знаходити ці ріжниці між обома Русьми. Але усе-таки саме поверхне знакомство з

історією не дозволяє ні одняти у москалів або у українців і галичан ім'я Русі, ні присвоїти його кому-небудь одному, бо вже з XII в. увесь край, де і досі міститься найбільша доля народу малоруського і великоруського, т. є. од Карпатів до Суздаля і Мурома, звався однаково Руссю. І усі імена — "русин", "руский", "руський" і т. д. пішли од цього слова, як і латинські слова "Russus" і "Ruthenus". Усі ці слова — синоніми, котрі одно од другого розличаються тільки орфографією. Як не велика вже ріжниця між двома латинськими варіантами імені жителя Русі (Russus і Ruthenus), але усетаки і західні писателі завсігди знали, що це тільки різна орфографія одного і того ж слова. З многих примірів вкажу на Герберштейна, котрий писав свою книгу, як ще була держава Литовсько-руссько-польська разом з Московсько-руською. Книгу свою назвав Герберштейн "Rerum M o s c o v i t i c a r u m commentarii, R u s s i a e brevissima descriptio..."* і т. д., а в ній говорить так розумно про те, що таке Русь, як і тепер лучче трудно сказати: "Sed undecunque tandem Russia nomen acceperit, certe populi omnes (у землі, що звали колись Скіфія), qui lingua Slavonica utuntur, ritum ac fidem Christi Graecorum more sequuntur, g e n t i l i t e r R u s s i l a t i n e a p p e l l a t i — ad tantam multitudinem excreverunt, ut omnes intermedias gentes aut expulerint aut in suum vivendi morem pertraxerint: adeo ut omnes nunc u n o et c o m m u n i v o c a b u l o R h u t e n i dicantur" (Op. cit., Antverpiae, MDLVII, p. 2)**. І Герберштейн зве через те Rhuteni або Rhuteni і москвичів і заволжців, і черкасців і

* "Коментарі до московських справ. Короткий опис Русі..." (упор.).

** Але звідки б, урешті решт, Русь не здобула ім'я, невже те, що всі народи (*у землі, що звалась колись Скіфія*), *які вживали слов'янську мову, визнавали* обряд і віру грецьку християнську і в спорідненні називалися по-латині руські, розрослися до такої кількості, що або витіснили всі народи, між ними живучі, або втягнули їх у свій спосіб життя; значить, тепер усі вони називаються одним і спільним словом "рутени" (руські) (Цит. твір, Антверпен, 1557, с. 2) (упор.).

віленців (р. 91, 101, 111, 112, 113), так що і ми можемо назвати русинами нижегородців так само, як і галичан, не знімаючи тим тих різниць, котрі є між ними. Звали колись свою землю москвичі і галичани однаково — Русь, Руси а, а потім, як стали більш переймати латинські і грецькі моди, то Руссіа, а далі Россия — і два *с і о* замість *у* появились первий раз іменно у Русі Київській, котора у XVI-XVII в. більш знала латинську і грецьку мову, ніж Русь Московська, — так що, коли угодно, ми маєм право і тепер назвати не тільки киян, але і галичан россіянами, не думаючи тим самим признати їх великорусами; на лихо тільки, що так у Росії ніхто себе та й нікого не зве, і це слово після київських книжників XVII в. і московсько-петербурзьких XVIII в. стало у Росії уживатись тільки у сміхотворно-високому стилю. Коли це його обновили польські самозванці-учені, як п. Духінський і К° — і пішло воно гуляти по світу у новому смислі! Седан майже вигнав його вже з Франції, так воно тепер перебралось у Германію, а особливо у Австрію. Але нехай його уживають, хто хоче, окрім руського люду, котрому стидно не знати або калічити свою історію! (Ми будемо в нашій статті уживати терміна россіяни для того тільки, що в Галичині звикли до цього терміна; але будемо розуміти під цим усіх слов'яно-руських жителів Росії, як білорусів, малорусів і великорусів).

Може, скаже хто, що діло не в іменах. Як не назви, а усетаки ріжниця між тим, що у Галичині звуть "Русь" і що — "Росія", себто між Україною і Галичиною, з одного боку, а Московщиною, — з другого — є. На це скажу, що, звісно, є, але коли вже обидва краї назвались одинаковим іменем, то й це мусить що-небудь теж значити. Здавна одна історія, котора потім одірвала тільки Галичину у особий політичний союз; одна віра, котора має таку силу у очах народу, — це усе не могло ж остатись без послідків. Було б чудо, якби було інакше! Чи погано то було, чи ні — друге діло, але історія

народу руського йшла попереду так, що увесь край од Карпат до Волги був у живих федеративних взаєминах, а потім став централізуватись у два тіла політичні, з которих одно, західне, прийняло у себе не тільки малоруське, але і білоруське плем'я, близьке до малоруського, але і до великоруського, у которого формації воно прийняло немалу долю; мало того, ця Західна Русь, Литовська, почала явно йти к тому, щоб притягти до себе і політично Русь Всхідну, — і з цієї дороги звернула тільки через союз з Польщею, котора теж — чудне діло! — не могла відректись од того, щоб не завладіти усією Руссю, західною і всхідною*. Але з того часу, як, за причиною попереду релігійною, а потім соціальною, Київська Русь зачала боротьбу з Польщею, роля централізатора Русі перейшла од Києва, Вільна, Луцька, Варшави до Москви і історія так пішла, що увесь край, де жив і живе тепер малоруський народ, не тільки не мав собі самостійності і центру, але навіть і зобравсь собі укупу тільки через централізаторський процес Московського царства, а особливо Петербурзької імперії — та ще й не зовсім, бо Галичина одійшла у другу державу, а значить, і у другі соціальні і культурні обставини. Надармо б ми хотіли одшукати для малоруського народу що-небудь похоже на права історичні, на Rechtscontinuität** корони св[ятого] Стефана, св[ятого] Вацлава і т. д., про що так дбають у Австрії. Ми бачимо, що, напр., Харківщина з Курщиною і Воронежщиною завсігди були землями Московського государства. Чернігівщина, оддана своїми князями Московському государству, була у йому до 1610 р., і нівідкіля не видно, щоб вона тим була не довольна з національного погляду. Тою же

* Майже у один час Казимір В[еликий], Гедимін і Семен Іванович Московський назвались володарями Русі, а ще раніш і князі Владимира Заліського і Волинського прозвались — "всея Руси". Так трудно було вдержатись ідеї роздвоєння на землі, де географія, і етнографія, і історія тягла до союзу.

** Установчий факт (упор.).

дорогою ішла у XVI в. за Глинськими і Дм. Вишневецьким і наповнявшася тогді людом земля Лубенсько-Полтавська. Так званий "смутний час" у Московській державі одірвав Лівобережну Україну од Москви, але не надовго. Уже сам Петро Сагайдачний, котрий ходив війною і на Москву, був готовий піти тією дорогою, що пішов опісля Хмельницький. Цей послідній обернувся до Москви, як до землі руської і православної, і хотів привернути до неї увесь руський люд аж до Любліна і до Карпатів. Якби те удалось, то може б Мала Русь (котра, замітим, назвала себе сама ще у XIV- ім в. Малою, як думаємо, з поводу переходу митрополита Петра[30] у Владимир і Москву) — може Мала Русь уся і получила б що-небудь похоже на історичне право і мала б силу більш задержати свою політичну і національну індивідуальність. Але сталось не так, і сталось не тілько через "хитрость сусідів", — бо у історії завсігди причини осередні мають більш сили, ніж причини побічні, — сталось так, що тільки те, що тепер зветься Чернігівською і Полтавською губернією з Києвом та Запорожжя осталось у союзі з Московським государством під назвиськом Мала Русь, або Гетьманщина. На лихо, ця Гетьманщина і Запорожжя мали більш воєнну, ніж граждапську конституцію, котора хоть мала у собі зерна добрі, але у цілому не могла годитись для життя у XVIII-ім в., у которому удобавок козаччина стала явно вироджатись у панщину, що Катерині II зостававсь тільки (як то видно з дуже цінної книжки Ал. Лазаревського о мало-рос[ійських] крестянах у XVII-XVIII в.) приложити послідню печать, щоб ствердити потроху складавшуся кріпаччину. Коли Катерина II знищила Гетьманщину, народові, котрий одрікся од гетьманщини ще за Мазепи, нічого було за нею плакати, а старшина була задоволена правами великоруських дворян. Про Січ Запорозьку теж мало хто думав, та, прочитавши безсторонньо народні пісні про руйнування Січі, побачимо, що і у самих запорожців не тільки руки, але

і язик не піднімавсь так енергічно против "москаля" і особливо против "цариці-матері", як колись против "ляшків-панків". А народ так і досі співа, що самі "запорожці край веселий, степ широкий занапастили"! І за тієї самої Катерини, котра знищила останки автономії Малоросії, досягнута давня ціль руського люду, ще од часів Владимирових, — себто степи Новоросії до Чорного моря одкрились для руської колонізації. Натурально, малоруський народ посунувсь туди, але вже зовсім на другім праві, ніж у колишній Гетьманщині, та ще і перемішавшись з другими племенами од великорусів до греків і німців. За тієї ж Катерини і оп'ять на особім праві, з особенними обставинами соціально-культурними, прилучилась до братів і правобічна Україна з Подоллю і Волинню. Далі уже за Александра I укупі з Варшавою прилучилась до Росії і Холмщина з Підляссям. Так після віків розділу, по шматках зобравсь докупи майже увесь малоруський народ, але без одного права власного, навіть без одного общого імені (дивись "Записки о Южной Руси", I т.), без ясного почуття своєї національної самостійності, хоть і з немалою долею славних діл у минувшому, з немалим числом індивідуальних одмін, з явно доказаними примірами потреби волі і самоуправу. Удобавок зійшовсь докупи малоруський народ під державою, зложеною племенем, братнім по мові, по вірі, племенем енергічним і колонізаторським, — і має общність і взаємини сучасно тільки на основі того права, того строю, который общий усій Російській імперії.

Серед таких-то обставин складалась історія, література і культура Малої Русі. Кажу ви'ять, що, кому угодно, може плакати на цю історію, може хотіти почати нову, але поперед усього треба признати і зрозуміти факти, треба знати, при яких обставинах починати і вести далі цю нову історію. До половини XII-го в. культури і літератури у Московській Русі майже не було, окрім Новгорода, который

після татарського погрому був майже єдиним містом на всій Русі, де світилось моральне життя. З XVI-го в. центром культури руської стоїть то Київ, то Вільно, то Острог і Львів, то вп'ять Київ. Але тоді не знали принципу народності, бо не дбали про маси народу — з моральних ідей ясно чули тільки віру. Мова церковна панувала у літературі руській, як і у всіх інших, і під нею іменно через те не розвивалась мова народна, бо церковна не стояла од неї так далеко, як латинщина. Живучи серед то білорусів, то малорусів, маючи взаємини з поляками, мова літератури руської набиралась полонізмів, білорусизмів, малорусизмів, але так мало удалялась од спільного усім трьом Русям церковного язика, так мало зближалась з народною, що москвич Курбський міг без перепони переписуватись з Кост. Острозьким, що патріарх Філарет читав вільно біблію руську Скорини, а Дмитрію Ростовському не треба було дуже переміняти свою мову, щоб представляти у Ростові ті комедії і драми, котрі він було понаписував для київських бурсаків. Літературна мова западноруська стала общою руською, що і облегшило потім перехід культури і літератури у Велику Русь у XVII-XVIII в. З XVIII-ого в. став народжуватись патріотизм світський замість виключно церковного; але й цей патріотизм зразу не міг стати чисто народним — він був тільки державним. А як центр держави, до которої по шматках прилучавсь народ малоруський, лежав у Великій Русі, то зближення літератури і культури руської з крайовими елементами потяглось до елемента великоруського; це робилось так потроху, що малоруси майже і не запримічали того, а як і стали запримічати, то попереду не знайшли у тому нічого ненатурального. Так заложен був фонд тій руській літературі і культурі у Р о с і ї, кажу, у Росії, т.є. у Російській імперії, і виключаю Галичину з усього того, що буду говорити тут, бо Галичина, не попавши у XVII-ім в. у союз з Москвою, а у XVIII-ім в. не попавши у Росію, а одійшовши зовсім у друге політично-

культурне тіло, не могла узяти долі у тому соціальному і культурному процесі, у который вступила Великоросія, Малоросія і Білорусія. Ця література de facto стала общою усій руській Росії і там, у нас, зоветься просто р у с ь к о ю. І її-то у вас звуть російською, а це б ще нічого, а то й великоруською, хоть у ній узяли долю і малоруси, давши, окрім маси мілких робітників, Дмитрія Ростовського (первого у Московщині живого писателя з духовних), Феофана Прокоповича (первого там же світського оратора і публіциста з духовних), Богдановича, автора первої повісті, котору прочитала публіка у Росії з занятностю, Гнєдича (первого, хто показав у Росії правдивий класицизм і перевод всесвітнього генія — Гомера), Гоголя — батька реалізму і живої народності у літературі російській, Остроградського, первого з руських учених, заробившого собі європейську репутацію, Костомарова, первого після Карамзіна історика, которого, окрім ученых, чита з інтересом і публіка, писателя, у которому небувалим досі у Росії робом скупивсь не тільки учений, публіцист і артист, але патріот, і космополіт, і федераліст у двойному смислі цього слова (союз і автономія). Правда, що цей процес літератури у Росії усе більш одтягував її од мови малоруської, тоді як вліяння мови великоруської усе більш росло і росте по мірі того, як росте почуття народності, — але я не думаю, щоб ті великі імена, которі я виписав вище, не занесли з собою у літературу російську і духу, а часом і слова українського — це було б противунатурально. Та в усякому разі той процес, яким ішла література у Росії, затяг з собою у обще моральне життя з великоруською освіченою громадою і малоруську — до того, що мова літератури російської стала не книжною, як для галичан, але живою, матерньою мовою для освічених шарів громади малоруської, як і великоруської. Ця живость для нас, українців, мови літератури російської піддержується тим неперестанним обміном колонізації між Великою і

Малою Руссю, который не перестає з XVIII-ого в. і переміняється так, що колись-то, як Малоросія була вище культурною, ніж Великоросія, то і ремісники (навіть судострої, пильщики і селітровари, которих Петро Великий визивав з Малоросії), духовні (од Петра до Єлизавети не було ні одного архиєрея з великорусів у Великій Русі), співці і музиканти, живописці, чиновники, велика доля професорів (самостійна руська медицинська школа у Москві з научним напрямком у контраст старій петербурзькій німецько-практикантській була заложена малоросами Іноземцевим[33] і Миклашевським) і т. д. їхали з Малоросії у Велику Русь; а тепер це усе йде навиворот і йтиме так до часу більшого розвиття полуденного руського краю, которе не замедлить наступити після нових залізниць і которому українці мусять помогти працею науковою і артистичною. А найбільш, чим піддержується живость мови російсько-літературної і для українців, це те, що література російська у найбільшій долі своїй одвічає на моральні жадання громади усієї Росії, так що українець, который би заказав собі читати те, що у вас звуть чужою для України, сусідньою і т. д. літературою, скоро став би глухий, сліпий і німий не тільки к тому, чим живе уся Росія, що має силу над політичним, соціальним, економічним, моральним життям і України, але і к тому, що діється на усьому освіченому мирові, хіба б задав він собі праці читати масу книг і журналів французьких, німецьких, англійських, що завсігди діло трудне і доступне тільки дуже невеликому числу людей і то не у дуже великому розмірі.

Я знаю, що я прийшов тепер до такої точки, про котору у Галичині, у народній партії, установились кріпко погляди, з которими мені боротись буде рисковано. Погляди ці більш або менш зрезюмовані, напр., у деяких місцях "Послання до земляків"* Шевченкового, а особливо коментованого так, як

* Мова про "І мертвим, і живим..." (упор.).

недавно коментував його шановний п. Огоновський[32], або у тих місцях "Причепи" п. Нечуя, де він говорить про "московські" університети на Україні. Погляди, про котрі йде річ, такі: література російська, як і уся культура на Україні з XVIII-ого в., є буцімто діло урядового деспотизму, тілько одбивала українців од своєї мудрості, робила перевертнів, а перевертні це пани, п'явки народу, експлуататори, мучителі і т. д. Я знаю, що з такими поглядами буде мені сперитись трудненько, тим більше що, справді, панство зробило немало пакості народові українському з XVIII-ого в., а це панство між іншими одмінами од народу на Україні мало і ту, що говорило російським язиком і гляділо на українську народну мову, як на низьку*. Не буду я спорити і против того, що чим більша у якому краю ріжниця мови клас культурних од простонародної, тим трудніше поступа той процес злучення між ріжними класами народу, котрий процес так настойно викликується сучасним прогресом демократичних ідей. Одначе "трудно" ще не значить "не можна". З тим патріотизмом, котрий світить у словах посланія Щевченка против німецької і за свою мудрість і т. д., я спорить вважаю зовсім лишнім, бо це той же самий квасний патріотизм московських слов'янофілів, ті ж самі старопольські ідеї Міцкевича, В. Поля[33] і т. д., приложені до України. Я попробую тілько виступити в оборонi ролі російської літератури і культури на Україні, поставивши тези: що мова російська, хоть і далека у звісній мірі од народної української, але була і єсть не тільки органом п'явок народних, а і органом тих ідей,

* Треба, одначе, прибавити, що старшина XVIII-ого в., котра давила народ і добивалась кріпацтва, говорила більш одною мовою з народом, та великоруські пани не менш тиранили одномовних з ними кріпаків своїх.

которі зробили нас, українців, людьми, демократами і самими українофілами, коротко — народолюбцями, народовцями*. Ідей цих, як би ми не силувались, ніяк не можемо вмістити в ідеали ні Гетьманщини XVII-ого в., ні Січі Запорозької, як ніяк не можна помістити тепер ідеї освіченого французького демократа у рамки поглядів Паризької комуни XIX-ого в., — хоть і в Гетьманщині, і у Січі, і у цій комуні були зерна, которі приятель волі і народоправства не може не шанувати, яко прориви здорового і твердого розуму народного, виходячого з практичних інтересів народу крізь хміль старосвітських релігійних і політичних ідей — хміль, который, на нещастя, сидів і у головах народних, через що і здорові початки не дійшли до панування і мусили заховатись до луччих часів, часів науки, відкіля б і як би вона не прийшла.

Песимістичний погляд українофільської ортодоксії на ролю російської культури на Україні виходить на добру долю з крайностей парціального патріотизму, до которих далеко не причастні усі щирі народолюбці на Україні; а песимістичний погляд галичан виходить найбільш з незнання російської культури і з переношення на неї поглядів, виведених з знакомства з польською культурою, котора з 1830 р. живе зовсім у болізненому стані і досі не вирвалась з романтизму і аристократизму. Обернемось лучче усього до короткого перегляду осереднього составу російської літератури з кінця XVIII-ого в. Натурально, ця

* Боюсь, що мої тези не подобаються не тільки народовцям, але і панрусистам у Галичині і що послідні — nos amis — les ennemis (наші друзі — вороги. — упор.) — перестануть пригортатись до єдності у Росію, побачивши, що граються з огнем або тікають од дощу та в воду! Та нічого робити: amicus Plato, sed magis amica veritas (лат.: Платон друг, але істина дорожча. — упор.). А про нежданності скажу, що поживемо — ще й не таке побачимо. Не треба бути пророком, щоби сказати, що коли справді галицька молодіж "руського" табору познакомиться добре з духом російської літератури, то перейде у табір народовців, а "рутенці", которі тепер братаються з "русскими", почнуть і руками і ногами одхрещуватись од Росії.

література ділиться: на теоретично-наукову і на образно-поетичну, на переводну і оригінальну. Щоб стати зразу на більш безсторонню основу, я обернуся попереду до теоретичної і до переводної літератури у Росії. Тут ми бачимо, що у кінці XVIII-ого в. і початку XIX-ого, саме тогді, як рішавсь перелом життя, після знищення Гетьманщини на тій мові, з которої виробилась сучасна російсько-літературна, стали являться переводи Таціта[34], Вольтера, Руссо, Беккарії[35], Адама Сміта[36], Бентама[37] і т. д. Хай хто загляне по старим бібліотекам на Україні або перегляне по старим книгам списки передплатників, то побачить, що книги ці дуже ширились по Україні з кінця XVIII-ого в., так само як багато українських імен бачимо ми у первому європейсько-ліберальному кружку у Росії, дружескому обществі Новикова, од румино-українця Хераскова до чистого українця Гамалії[38]*. Реакційний вік Миколая Павловича трохи задержав це усвоєння російською літературою творів луччих всесвітніх голов, але зовсім він не міг їх удержати, і мало-помалу, чим дальше усе швидше, ця література усвоює собі ідеї і твори Гізо[39], Тьєррі[40], Прескотта[41], Маколея[42], Шлоссера[43], Гервінуса[44], Мілля[45], Боккля[46], Літтре[47], Луї Блана[48], Прудона[49], Лайєля[50], Дарвіна і т. д.; і тепер ми бачимо, що іноді знамениті європейські писателі Боннмер, і Мілль, Дарвін (з романістів Лео, Ауербах, Шпільгаген) пишуть по заказу російських редакцій статті і монографії

* При случаї замітимо тим, хто держиться такого німецького погляду, буцімто культура у Росії є діло тільки, як кажуть, брутальних мір Петра I і Катерини II (німцям вигодно так сказати, бо через те вони піддержують свою славу культуртрегерів, — тілько не треба б їм вже зовсім ліберальничати і казати про бруталізм, бо вони-то й були лакеями цього бруталізму і, досі звучи Росію Knutenreich (державою канчука. — упор.), перші стараються, щоб дискредитувати усі прояви свободи і самостійності громади у Росії) — скажемо, що новиковське общество, з которого веде свій початок європейська вольна громада у Росії, було розігнано ангальтською губернанткою (Катериною II — упор.), котора казала про таких людей, як Новиков і Радіщев, що вони гірше Пугачова, і розіслала їх по монастирях та у Сибір.

(як напр., Боннмерова о крестянах у Франції) для російських журналів або дають росіянам переводить з рукописів і з коректур свої твори, роблячі епохи у історії мисли. Я спитаю тепер усякого безстороннього чоловіка: звідки може навчитись більш українець — з своєї мудрості, з переказів Січі або з Мілля чи Дарвіна? У наші часи пориву до рівності і до крайової автономії не дуже-то жалують панство, централізацію і такі великі держави, як Росія, котору навіть єсть охотники рівняти до держав Чінгісхана, Тамерлана і т. д. Одрікати законність демократичних і автономічних ідей, звісно, я не стану. Я тільки нагадаю про те, що й Боккль признав культурну неізбіжность аристократичних періодів, навіть і таких, як брамінство. Державна централізація багато несе зла і мусить уступити колись місце другим, луччим формам громадського строю, але для таких бідних і одсталих країв, як ті, з которих складувалась Росія, в которих у деяких ще 80-90 літ назад гуляли татари, централізація була неізбіжною формою громадської організації і дала можливість ввести і земський спокій і дороги, і школи і університети. Надіюсь, і сам п. Нечуй згодиться з нами, що хотя і не в дуже блискучих російських університетах можна було і за самого Николая І-го навчитись дечому, хоть би і самого народолюбства, більш, ніж у Київській академії XVII-ого в. Судять дерево по плодам, а щоб не називати як тільки імен, приятних народовцям українським, нагадаємо, що на тій "московській" літературі, котора дала освіченому українцеві можливість познакомитися з філософічними, лінгвістичними, історичними, політичними ідеями луччих голов всесвітніх, що з тієї держави, котора дала то службою, то літературою, то наслідством нашим народолюбцям можливість об'їздити Європу, — ми маємо Максимовича, Потебню, Костомарова, Куліша, Марка Вовчка, самого п. Нечуя, ми маємо тих невідомих, але достойних шанування людей, которі готовили громаду до ідеї емансипації крестян і

которі ще немало послужать народові українському більш на те годним робом, ніж колишні Дороше́нки та Палії, а особливо Мазепи. Скажу у кінці, що ми, українці, знайшли наш народ і саму народну мову, тільки перейшовши через європейську школу, у чому найбільш усього помогла нам російська література і сила російської держави. Хай, хто хоче, плаче, чому не случилось інше, — але того, що случилось і що є, дорікати не можна: тільки струсі* ховають очі од того, що перед ними стоїть.

Те, що ми сказали про важність для української громади європейських науково-політичних ідей, перейшовших через російську літературу і школу, треба сказати і про літературу образно-поетичну. Трудами великорусів чи українців з XVIII-ого в. познакомилась публіка у Росії на російській мові з Гомером, Софоклом, Шіллером, Гете, Шекспіром, Жорж Зандом, [Еркманом]-Шатріаном[55], Флобером, Золя, Шпільгагеном, Ауербахом і т. д., з естетичними поглядами Вінкельмана[56], Гегеля, потім Прудона, Тена[57] і т. д. І було б діло ненатуральне, якби те знакомство зосталось зовсім без сліду на літературних ідеях громади у Росії, у Великій, як і у Малій.

Знакомство з научними і соціальними ідеями європейськими у Росії з XVIII-ого в. зробило, що чим дальше усе більше стали появлятися у Росії люди, которі не тільки могли йти за передовими проводирями європейської науки і мислі, але і дещо робити зовсім самостійно і прикладувати свій могучий голос до общого хору передових умів європейських, як математик Остроградський, хірург Пирогов, фізіолог Сєченов, клініцист Боткін, публіцист Герцен, не щитаючи тих, котрі трудяться над наукою про Росію по тим же ідеям, по яким європейці трудяться над наукою про свої землі, которим, як напр. Костомарову, тільки незнакомство

* Страуси (упор.).

європейців з руським язиком шкодить, що їх імена не поставлені рядом з іменами Тьєррі, Маколея і т. д. Так само знакомство з поетичною літературою і естетичними ідеями передових народів Європи зробило те, що у Росії появились такі творці поетичні, як Грибоєдов, Крилов, Пушкін, Гоголь, Тургенєв (я тепер про тих, що писали по-українському, не говорю), которих чим дальше, тим більше уся Європа бере у пантеон всесвітніх геніїв. Я мушу зостановитись надовше над образно-поетичною літературою російською для того, що література поетична має особливо велике вліяння на виробку і перевагу мови, і для того, що поетична література мала у Росії особливу силу тогді, як наукова і політична була зупинена реакцією; а ще для того, що розбор поетичної літератури російської дасть нам факти для того, щоб точніше розрішити питання, що таке р о с і й с ь к а, або р у с ь к а література у Р о с і ї, а що таке в е л и к о р у с ь к а і у яких вони відносинах стоять до у к р а ї н с ь к о ї.

Ми бачили, що російська література теоретично-наукова, т. є. те, що писалось з XVIII-ого в. мовою, котору у Галичині зовуть російською, або великоруською, і котора справді по составу своєму близька до великоруського наріччя, було і є тією скарбницею, з которої і великорус, і малорус брав і бере знання і ідеї общеєвропейські, з которої він може познавати й те, що робилось і робиться на його землі. Так само більшість того, що писалось у XIX-ому в., а особливо од Пушкіна, у поетичній літературі російській, висказало думи і змалювало образи життя культурного шару громадського — як передового, здорового, так і одсталого і паразитного — по усій Росії, на північ, як і на полудне. Пушкін, Рилєєв, Грибоєдов, Лєрмонтов у своїх ліричних п'єсах і поетичних монологах висказали ті думи і почуття, которі були у головах і серцях не тільки москвичів, нижегородців, але і полтавців, киян, катеринославців і т. д. Змальований Пушкіним Онєгін і Ленський, Грибоєдовим Чацький, цей прототип декаб-

ристів, жили по всій Росії, говорили скрізь однією мовою — і назвати Пушкіна, Рилєєва, Грибоєдова (хоть у послідного є кілька не стільки великоруських, скільки спеціально московських типів) великоруськими тільки писателями буде гріх против правди реальної. Те ж саме треба сказати про Лєрмонтова, виключаючи хіба його "Песнь о Калашникове", про Герцена з його романом "Кто виноват?", у которому намалював прототип всеросійського ліберала 40-х годів (Бельтов), а далі про романи Тургенєва, особливо ті, у которих малюються типи передових людей російської громади ідеалістів Рудіна (1857), Лаврецького ("Дворянское гнездо", 1859), юмористів (як скульптор Шубін у "Накануне", 1860), нігілістів (Базаров в "Отцы и дети", 1862), про половину стихів Некрасова (не ту, у которій він малює життя народу великоруського, як у другій половині, а у которій він розказує ті думи і про ті типи, которими повні були передові кружки російської громади у 50-60 годи н[ашого] віку), про роман Чернишевського "Что делать?" (1864), роман, у которому хоть і не все можна назвати правдиво поетичним, але который намалював кілька образів з передової російської молодіжі 1860 р. Конкретно для галичанина, як не для росіянина, можна сказати так: молодші українці (і українофіли) усе-таки більше або менше підходять під типи Шубіна або Базарова Тургенєва, Рахметова, Лопухова і Кірсанова Чернишевського, старійші більш або менш підходять під ном'януті вище типи Герцена і Тургенєва, що зовуться у Росії "люди 40-вых годов", або, не без іронії, "сороковисти", — так що галичанину, напр., который хоче у типі зрозуміти своїх українських знайомих, треба б конечно прочитати романи Герцена, Тургенєва і Чернишевського. Правда, українська передова громада мала завсігди деякі одміни свої, свої мотиви тих общих тем, которі займали голови російської передової громади. Так, у старинному харківському українофільстві і слов'янофільстві

було щось одмінне од лібералізму і слов'янофільства столичних декабристів, але мало обсліджено цей бік культури на полудні Росії, хоть може б, якби хто з українського погляду розібрав хоть би життя і писання Каразіна, которого столітній юбілей цей рік настав, то може б і вловив деякі оригінальні одміни духу української громади часів Чацького і декабристів. Та й то сказати, що Каразін, цей наш "маркіз Поза", як його звали при дворі Олександра І-го, цей настоящий основатель першого університету на Україні і слов'янофільства у Росії, і говорив, і писав мовою російською*. А з другого боку, Рилєєв, который, коли не помиляюсь, був родом з Чернігівської губернії[58] і первий (другий Пушкін — "Полтава", третій — Гоголь, четвертий — Шевченко) пробував увести у поезію освіченої громади українські традиції історичні і звести їх з ліберальними ідеями передових людей (поеми "Наливайко", "Войнаровский"), обертавсь не тілько до українсько-козацьких, но й до старокиівських, і новгородських, і московських земських традицій, вибираючи по усій Русі теми, пригодні для усеросійського народного патріотизму і лібералізму, і викладаючи їх на мові, общій тогді усій передовій громаді у Росії**.

* Про Каразіна дивись, між іншим, статтю Герцена у "Полярной звезде", 1862 р., кн. II.

**У своїй "Полтаві", звісно, Пушкін не міг зачерпнути багато українського народного елемента: не такий був тогді час, та й мало Пушкін міг знати Україну. Але у початкові періоди літератури важно, коли хоть як-небудь та нагадують про край, його історію і традиції. К тому ж Пушкін усе-таки старавсь спізнати Україну. Максимович розказує, що застав Пушкіна раз за своїм збірником пісень (1827 р.): "Я оббираю ваші пісні", — сказав йому Пушкін. Максимович же каже, що Пушкін дуже носився з "Історією русов" Конїського. Це усе звертало у столичних кругах симпатію до України і нагадувало про неї навіть і деяким з синів її. Треба сказати, що образ української дівчини у "Марії" начертав Пушкін не дуже гірше од пізніших і українських поетів, которі, як звісно, не дуже-то далеко зайшли в індивідуалізації народних, особливо жіноцьких, характерів. Щоб оцінити значення "Полтави" для українців у свій час, мусимо спімнути, що тогді, як вона явилась на світ (1828), по-українському про Україну нічого не говорило, окрім "Енеїди" і опереток Котляревського. У первих п'єсах Шевченко стояв дуже близько до манери "Полтави", та не дуже далеко ще і у поглядах, а од Рилєєва так і зовсім нижче.

Ще більш виявились дальше ріжниці між слов'янофільством московським 1840-х років і київським кружком св[ятого] Кирила і Мефодія, кружком, который одним боком своїх ідей підходив до слов'янофільства К. Аксакова, а другим — до западництва Герцена і Бєлінського і который зачепив деякі ідеї, як напр. про волю крестян, раніш і глибше, ніж вона зачеплена була хоть би і у "Записках охотника" Тургенева, і который раніше попав під кару, ніж сучасний і аналогічний петербурзький кружок Петрашевського[59], до которого належав поет Плещеєв, романіст Достоєвський і почасти первий тепер у Росії сатирик Щедрін. Гарячі думи київсько-українського кружка вилив у своїх монологах Шевченко, і вони лягли нестираємим нам'ятником того, що українські традиції можуть жити обік з луччими ідеями віку нашого, і лягли через те твердою основою української літератури. Але ніхто не піднявсь до того, щоб закріпити тип спеціально українського ліберала 40-х років рядом з Бельтовим Герцена, Рудіним Тургенєва, которі через те і зостались єдиними типами всеросійськими, під которі ми мусимо підводить і самих українофілів 40-х годів, українофілів, що мали свою програму не тільки у знаменитому письмі Бєлінського до Гоголя, але і у думах Шевченка*. Треба правду сказати, що й типу московського слов'янофіла не дала нам література, так що

* Я думаю, що нелишньою була б і для Галичини стаття про Бєлінського яко чоловіка, который мав велике вліяння на усю Росію.

Письмо його до Гоголя обійшло у рукописі усю молоду громаду у Великій і у Малій Русі. Цілком воно було напечатано у Герцена у "Пол[ярной] зв[езде]", майже усі важніші місця з його були приведені у "Вест[нике] Европы", 1872, №7. Я хоть і сам панрусист, а галицьким панрусистам його читати не раджу, щоб не одвертати їх од Росії,котора поважає такого чоловіка, як Бєлінський, рядом з Пушкіним,Гоголемі т. є. з найбільшими своїми геніями. До чого "впала" Росія, мої галицькі товариші-панрусисти можуть побачити з того, що у "Вест[нике] Европы" напечатав письмо Бєлінського з превеликим похвалами В. Чижов, сотрудник "Дня" Ів. Аксакова, і каже, що мисли сказані Б[єлінськи]м, "легли в основу обновляющейся России".

типічними людьми 40-х років у Росії зостаються "западники" Бельтов і Рудін — знак, що може це й були справді корінні типи передової громади російської у ті часи і що слов'янофіл і українофіл були їх тільки варіантами.

Шістдесяті роки повели за собою дальший розпуск так званого "западничества" до того різко критичного напрямку, который реакціонери прозвали були "нігілізмом" і который чим дальш тим більш доходив до того, що прямім усього може бути названо реалізмом, або позитивізмом у філософії і демократизмом, або народовством у політиці; піднялось було у новому виді своїому слов'янофільство, т. є. великоруська хлопоманія, або народовство, і українофільство, т. є. малоруська хлопоманія, або народовство. Усі ці три напрямки 60 годів мали те общого, що усі були кожний посвоєму демократичні і почасти децентралізаційні. Не тільки слов'янофільство (великорусофільство), але й нігілізм посунув за собою у літературу велику долю елемента простонародного великоруського. Українофільство ж хотіло підняти українську мову на зовсім рівну ступінь з російською. Окрім різниці у мові, українофільство, особливо провінціальне, мало деякі й моральні одміни од нігілізму і лібералізму великоруського, особливо од петербурзького. Ці одміни виходили з народного характеру, історичних традицій і основи, на которій зростало українофільство. Так, тогді як лібералізм молодіжі великорусько-столичної мав більш політичний характер, революційну окраску, український — більш соціальний, або педагогічний. Великоруські "красні" печатали прокламації, лучились з поляками; українці печатали граматки і таблиці для складів, з поляками ж сварились до того, що мусили писати письма до московських слов'янофілів і просити їх, щоб не сердились на таку розбрань з братами-слов'янами (бо Ів. Аксаков напечатав було у своєму журналі "Парус", которого тільки 2 нумери і пустила цензура, письмо Крашевського з Жито-

мира під заголовком "Письмо із Польщі"). Потім нігілізм — одно з первих діл — напав на лірику і естетику, знати не хотів старовини, українці ж ліри не кидали і старовину свою славословили. Подумавши ще, можна б наловити ще кілька одмін молодіжі, так званих колись "нових людей" у Великій і Малій Русі. Але вп'ять случилось так, що в українців не знайшлось ні поета, который і би виразив по-українському їх спеціальні думи, ні романіста, который би вихопив з життя і запечатлів навіки типи українських нових людей у паралель героям романів Тургенєва, Чернишевського. Шевченко вже не міг одвічати усім ідеям, народившись у часи після його смерті: найлуччі його думи писані по формам і ідеям 40-х, а поеми — так і 30 років. Ні біблейсько-революційний містицизм, ні ідеалізація козацької старовини Шевченкова не могли вже володіти умами університетської молодіжі 60-х років. З других поетів українських найбільш написали після Шевченка Куліш і Кониський[60]. Куліш гарний переводчик, але поет слабий; Кониський ще слабіший. Од того у обох у стихах недостає не тільки сили образів, але навіть і ясності ідей, хотя звісно, що про Кулішеву прозу того сказати не можна; яко слабосильні поети, і Куліш, і Кониський поневолі мусили піти по старим дорогам Шевченковим, а по старим дорогам і самого Шевченка уже не могла йти нова українська молодіж. Навіть і публіцистика українська не дуже-то розвивалась у 60-і роки. Костомаров і Куліш написали, правда, кілька гарних публіцистичних статей, але публіцистика не була їх спеціальним ділом. Од того случилось так, що органами ідей української, як і великоруської університетської молодіжі у 1860-і роки стали скоріш Герцен, Чернишевський, Некрасов, Добролюбов, а потім сам Писарєв більш, ніж спеціальні українські писателі. По части белетристики з проб передати образно життя і типи "нових людей" українських, скільки-небудь серйозне тільки

оповідання "Перед світом, оповідання про нових людей" ("Русалка", 1866, ч. 6-11), але це більш програма повісті, ніж повість, та і програма коротка та ще й не без старих водевільних закидань, á la "Наталка Полтавка" і deus ex machina*. Серйозно про цю повість так же мало можна рискувати говорити у Росії і перед українцями після романів Тургенєва, як і про стихи Конiського після статей Герцена і стихів Некрасова. Інтересно, що і слов'янофільство теж уп'ять не породило ні публіциста, ні поета, которого можна було б поставити рядом не тільки з Герценом, Некрасовим, Добролюбовим, Чернишевським, але навіть і з Писарєвим, ні белетриста, который би індивідуалізував типічні черти молодого слов'янофільства рядом з Базаровим, Рахметовим і т. д. Слов'янофільство з'явилось ще слабіше, ніж українофільство, а коли вважати слов'янофілом, т-є. великорусофілом, напр., гр[афа] Ал. Толстого з його великоруськими стихами, то воно, можна сказати, потяглось назад до реакційних ідей і до парафрази народних пісень і билин, як це робили наші Амвросії Могили, Єремії Галки[61] і т. д. 30-40 літ назад.

Так у тій часті поезії і белетристики у Росії, котора передає суб'єктивні ідеї або малює життя передової меншості так званої "образованої громади", не вдалось виділитись спеціально українському напрямку і елементу, крім одного Шевченка, ні спеціально великоруському; елемент російський, або лучче європейсько-великоруський, узяв перевагу над тим і другим і притягав до себе і більшість симпатій і молодіжі української. Од того література поетична, котора представляється Пушкіним, Лєрмонтовим, Тургенєвим, Герценим і т. д., мусить назватись у Росії не великоруською тільки, а всеросійською — по її фактичній силі.

* Бог із машини, штучна розв'язка (упор.).

Те ж саме треба сказати і про ту часть образної літератури, котора об'єктивно малює життя більшості образованої громади більш або менш сатирично. Начало такій літературі положено Грибоєдовим з його комедією "Горе от ума", але у свій час Грибоєдов стояв більш або менш одиноким, і тільки після Гоголя реально-сатирична література опанувала усі другі роди белетристики у Росії. І ця література служить великою зв'яжущою силою для громади російської, бо вона ухоплює типи життя тих класів народу — панів, чиновників, — которі скрізь у Росії майже однакові побитом, поглядами, мовою, з дуже незначними місцевими одмінами. Так, коли виключити у Гоголя (про "Вечори на хуторі" і про "Миргород" я не говорю тепер), коли виключити великоруських купців у "Женитьбі" та дві-три сцени з великоруським простонароддям у "Мертвих душах", — останні типи безсмертної галереї Гоголя одні, як Собакевич, Ноздрьов, скоріш способні акліматизуватись у Великій Русі, другі, як Манілов, Коробочка, пожалуй, Плюшкін, — більш у Малій Русі, але всі вони можливі і там, і там, а щодо городничого, Хлестакова, Чичикова, Бетрощева, Хлобуєва, Петуха і т. д., то це щирі всеросійські типи, которих знайдете од Архангельська до Одеси. Українець Гоголь не міг заставити їх говорити по-українському, бо вони так у житті не говорять. Що сказано про Гоголя, те саме прикладається і до других "живописців биту", як казав Гоголь, звісно, до тих, которі описують побит тих шарів народу у Росії, который фактично живе і говорить однаково по усій Росії.

Повернувши літературу у Росії раз назавсігди на дорогу реалізму, Гоголь послужив багато для скріплення літературного діла росіян північних і полудневих, хоть, правда, як то ми покажем дальше, Гоголь же, і іменно своїм принципом реалізму, положив міцну основу і центробіжним напрямкам у літературі російській — великоруському і малоруському. А поки так іменно своїми повістями мало-

руськими і тим духом малоруським, который уніс Гоголь у літературу російську, він послужив й тому, що українці більш ще прив'язались до російської літератури. Я мушу на Гоголі зупинитись надовше, бо на нього остановились у Галичині погляди, дуже одмінні од тих, що я висказав, особливо з поводу його українських повістей. Ці погляди перш усього висказані були п. Кулішем — і прийнялись де у кого з українців (далеко не у всіх, як те видно з приміру Мордовцева, Максимовича і т. д.), а особливо у галицьких народовців. Ті, хто у літературі більш усього цінить мову, готові виключити Гоголя з українців уже з-за одного того, що він писав не по-українському. Це, думаю, перва причина, по которій п. Куліш защитав Гоголя "у сусідню" тілько, з а е с м а н с ь к у словесность[62]. А друга була те, що п. Куліш знайшов у Гоголя етнографічні помилки, "панський" погляд на народ як на щось потішне, так що п. Нечуй вже назвав Гоголя "нерозумним Гоголем, который писав на потіху нерозумної Московщини".

Я мушу перед усього нагадати, що п. Максимович, доволі компетентний суддя у малоруській етнографії, виступив на оборону етнографічної вірності Гоголя. Не буду пускатися у деталі і розбирати, справді, де і у чому помилився Гоголь против етнографії, — але скажу, що тепер, після виданих п. Рудченком народних казок, питання про народність "Вечорів на хуторі коло Диканьки" мусить бути пересуджене знову, бо тепер видно, як багато чисто народних тем і образів узяв Гоголь у свої "Вечори". Не буду я шукати у Гоголя і того погляду на народ, який маємо ми і який усетаки не у тому стоїть, щоб бити поклони перед усякою етнографічною одміною побиту народного, бо народові з того не легше, та й не всяка така одміна є справді щиро народна, а у тому, щоб боротись за права народу та працювати для його освіти. Але такої поваги до народу не знайдемо і у Квітки, так вивищуваного п. Кулішем, — бо цей Квітка (у

"Сватанні на Гончарівці") висказав таку народолюбну ідею, як що у доброго пана кріпаком лучче жити, як вольним. Нашого погляду на народолюбіє не могло бути у 20-30 роки цього віку, але це не значить, щоб наші погляди не вийшли органічним процесом з поглядів батьків і дідів наших, сучасних Гоголю, Квітці і т. д. Коли перечитати листи Гоголя, надруковані п. Кулішем, за його статті про початок Малорусі, за його поклик про те, щоб йому досилати матеріали для історії Малорусі, за його статтю про пісні малоруські, то побачимо, що у 1829-35 р. не було нікого, не виключаючи Максимовича, хто б так багато і прилюдно говорив про пісні, повір'я, казки і т. д. простонародда малоруського, хто б так будив громадську увагу до Малоросії, до "н а ш о ї У к р а ї н и", як каже Гоголь. Та не було нікого — де у чому й досі нема кого, — хто б змалював деякі боки життя українського, як Гоголь.

Для того, хто цінить у літературі більш дух і матеріал, ніж слово, Гоголь не перестає бути українцем не тільки в "Вечорах" і "Миргороді", але і у "Мертвих душах". У "Вечорах" він змалював природу українську, пересказав українські повір'я і казки, але, окрім того, зачертав і кілька образів типічних українських: дівчата, дяк, панич, губернський голова, що возив Катерину II, винокур і т. ін. — це чисто українські типи. "Старосвітські поміщики", "Іван Іванович і Іван Никифорович", бурсаки у "Вії", особливо Хома Брут, це вп'ять чисто українські типи. Скажу вп'ять, що українська (по мові) література не дуже-то багата об'єктивним малюванням життя і індивідуалізацією образів, так що Гоголь де у чому і досі не перегнаний не тільки романтиком (по методу літературному) Шевченком, але і Марком Вовчком і Нечуєм, котрі явні ученики Гоголя або Гоголевого ученика Тургенєва. У "Тарасі Бульбі" мало битових українських образів — там драма фабули виступає на первий план, — але і там деякі образи Січі, жиди, сам

Бульба нагадуютъ щиру правду битову. Українець не може забути, що "Тарас Бульба" був первий опит історичного роману чи поеми з української старини, писаний не так правильно, як "Войнаровский" або "Полтава", і у которому виведений народ український. Один шановний галичанин[63] писав мені, що у його валиться з рук "Тарас Бульба" після того, як він познакомився з Шевченком. Думаю, що це з того, що у Гоголя не виставлені так мотиви борби народу руського з панством польським, як у пізніших п'єсах Шевченка. Це правда. Гоголь стояв ще на естетично-романтичнім, або національно-релігійнім погляді на українську старину. Боротьбу против унії, против жовнірства польського та боротьбу за права козаків, а не соціальну революцію усього народу українського против панства бачив Гоголь у старій історії України. Але не інакше дивились на це діло і самі козаки, сам Хмельницький, ті, хто складали сучасні вірші про Хмельницького (*напечатані* Костомаровим у послідньому виданні "Богд[ана] Хмельницького]"), малоруско-козацькі літописці XVII-XVIII в. Не інакше дивились не тілько Бантиш-Каменський і другі начинателі науки про Україну, та і сам син народу, кріпак Шевченко, у первих п'єсах своїх дуже недалеко одійшов од цього погляду: "ревіли гармати"; "танцювало лихо!" — ось що хвалить Шевченко у старій Україні та "волю козацьку"; а лихо бачить у ляхах та уніатах, і тілько слівце "ляшки-панки", которе бачимо у "Тарасовій ночі", предвіща той народний, соціальний погляд, на который прямо став Шевченко тільки після переїзду у Київ, де, мабутъ, на його мали вліяння молодші, перейшовші через європейську школу приятелі Костомаров, Куліш і т. д. По погляду на мотиви боротьби українців з поляками "Тарасова ніч" і т. ін., і самі "Гайдамаки" не далеко одійшли од "Тараса Бульби" — ріжниця тілько у тому, що у Шевченка немає ні одної п'єси, так обробленої, як "Тарас Бульба". По часу, коли появились

малоросійські повісті Гоголя і "Тарас Бульба", ми маємо повне право цитати, що Гоголь породив і поетичні проби Метлинського, Костомарова і самого Шевченка — і коли не визнав, то йшов паралельно з етнографічними роботами Максимовича, Бодянського, Срезневського і т. д. і був, таким робом, одним з батьків новішого українського народолюбія, тим більше що про Україну так багато й голосно говорив чоловік, ставший зразу рядом з Пушкіним авторитетом у очах російської громади. Але мало того, що у малоросійських повістях Гоголь — праотець Шевченка та ще й досі не перегнаний зовсім молодшими белетристами, — він і у своїх творах не перестає являтись з щирим українським характером. І може, не виключаючи і самих Шевченка і Костомарова, Україна не мала ще другого сина, который би так повно виразив у собі дорогі боки її народного духу. Недоучений український панич Гоголь приїздить у Петербург, куди багато вже наїздило паничиків з України, щоб вислужитись, — і замість того, щоб оддатись шуканню бюрократичної кар'єри, починa турбуватись, що не взнав Україну, як був на ній. Починa він письмами прохати родичів і знайомих, щоб посилали йому описи звичаїв, пісні українські і т.д., збирається писати історію України — і тільки й сам мов боїться, що так гаряче, як він пише, історію писати не можна. "Дуже вже пече!" — каже він. Ще як тільки приїхав Гоголь у Петербург, то зараз писав матері, що "тишина в нем необыкновенная, никакой дух не блестит в народе, все служащие да должностные, все толкуют о департаментах да коллегиях, все погрязло в трудах, в которых бесплодно издерживается жизнь их". А чим більше Гоголь увіходить у грандіозні образи, що горіли на листках писаної їм історії України, тим більше задумується "над страшним, потрясающим болотом мілочей, которі опутали наше життя", тим більш рветься, щоб "совершити щонебудь великое, потрібне людям", і починa з того, що

сміється над цим болотом "скрізь видимий світові сміх і невидимі, незримі йому сльози"*.

І збудив він велике сонне болото, перелякав велике царство, про которе кричали усякі Погодіни, Булгаріни, що йому "усі землі завидують", розворушив його, приставивши до очей його дзеркало і сказавши: "На дзеркало нічого жалкувати, коли пика крива!" Але і того йому мало — хочеться йому ідеалів, хочеться йому показати не "благонаміреного чоловіка", а "блискучу голову, котора б прогриміла величаво-грізні речі" про правду і зразу поробила усіх людей "людьми-християнами". Недоучений, збиваний з толку московськими слов'янофілами, Гоголь кидається у релігіозний містицизм, він шукає ідеалів там, де їх шукав Сковорода, наші кобзарі і сам Шевченко (хоть і інакше), як писав "Неофіти". Покинувши поетичну сатиру, він виступа з монологами і проповідями ("Выбранные места из переписки с друзьями"), але старосвітські ідеали його визивають проти себе бурю і письмо Бєлінського. Гоголь пада знеможений, начина потроху віг'ять вертатись до показування людям дзеркала життя їх, але недуг і ізувірство духовних совітників його, особливо отця Матвія[64], добивають великого гумориста; він палить свою рукопись 2 часті "Мертвих душ", діло 10-літньої праці, все з-за страху, що може вона не принесе п о л ь з и (користі) людям. І це не українець, це "перевертень", це зубоскал і отрицатель тільки! Ні, це голова, у которій помістились і ті козаки й дівчата, що і любов зовуть "правдонькою", це "Перебендя", це той же Шевченко, который більш усього боїться "прожити гнилою колодою", та ще удобавок це

* Зрівняй Шевченка:

В багні колодою гнилою
Валятися, старітися, гнить,
Умерти й сліду не покинуть
На (обезславленій) землі! —

з листом Гоголя од 30 апреля 1829, од 24 іюня і т. д.

голова, у которій помістились усі ті голови, що зложили віками приказки, пословиці і пісні українські, которі так часто крізь сміх плачуть. Можна жаліти, чому Гоголь забув опісля народ спеціально український. Але щоб йому український націоналізм дав багато помочі на рішення тих питань, що пекли його душу, — не думаю. Ні у народу, ні у традиціях старини Гоголь не знайшов би одвіту на те, як зробити, щоб не було того болота, которе бачив він перед собою; у народу, правда, він би побачив порив до волі, вражду до кріпацтва, але дуже запутану містицизмом тих же самих отців Матвіїв, що погубили і Гоголя, і жодної ясної ідеї, як же добратись до волі! Як же виключити з історії України і з українофільства, що ширилось у часи Гоголя між потомками мазепинської старини, і протест против кріпацтва, то традиції старої України мало чим більш були б годні для рішення сучасних питань, як і традиції московської старини. Традиції старої України були годні тільки на те, щоб збудити аналіз сучасності, і це вони зробили через Гоголя, як і через Шевченка, — хоч у кожного ріжно. Шевченко був молодший Гоголя, попав у свіжіший кружок та ще й сам попробував панської ласки; од того йому легше було дійти до гордійського вузла болота сучасної Росії — він через те не дуже-то прихилявсь і до мазепинського українофільства, обізвавши "варшавським сміттям" ясновельможних гетьманів і осміявши українофільствувавших потомків "гетьмана дурного". Але й Шевченко запутувавсь у політичних і національних ідеях і ідеалах, і у його ясна тільки негативна ідея: ненависть до кріпацтва, ненависть до сучасного болота. Але як начне він говорити про те, як вийти з нього, то зараз упадає або у біблейську містику, або у гайдамацтво, которе тут же він сам і осудить, почувши, що і у йому нема будуючої правди. Об'єктивний рай свій і Шевченко зводив на с і м ' ю. Од того і Шевченкова заслуга лежить більш у тому, що він прокляв сучасне болото життя,

як і Гоголь, ріжниця тільки у тому, що Шевченко прокляв його як оратор, монологами, скріпленими часом дуже виключними мелодраматичними фактами, тоді як Гоголь виставив "на всенародні очі усе страшне болото м і л о ч е й, опутавших наше життя", показав "пошлость пошлого чоловіка" у самому обиденному, у самому такому, що не ріже вже й очей, або і у такому, що усі вже вважають "благонаміреним", — і намалював цілу галерею благодушних, з первого разу невинних пошляків, котора способна перелякати свіжу душу більш, ніж "кати", "душогуби", кровосміситслі і т. ін. образи Шевченкові, котрі завсігди не можуть не бути виключні. За помоччю цієї галереї та за помоччю тих ідей, котрі не виносяться із традиції XVII-ого віку не тільки Москви, але і України, такі люди, як Бєлінський, Герцен і передові українофіли, зрозуміли, що треба зробити, щоб вивести Росію, у тому числі і Україну, на ту дорогу, на котору вона вступила після знищення кріпацтва. І це незабутня заслуга поетичних традицій і ідеальних поривів душі української, що вони збудили у Гоголя недоволення болотом мілочей, а юмору українського — що він дав Гоголю силу змалювати його безсмертну галерею. Кажу "безсмертну", бо абстрактні речі про історичні ідеали проходять, а факти, типізовані поезією, так само, як наукою, котора має тільки другий метод, але одну ціль з поезією, остаються навіки. Гоголь не перестав бути українцем і тогді, коли малював цю галерею. Так, коли вже зоставити на боці його юмор, то ті малювання природи, котрі Гоголь увів первий у літературу російську, що попереду хіба тільки Кавказ або Крим малювала з любов'ю, ті монологи серед розказу, сама їх м і р я н а проза[65], мов у "Слові о полку Ігореві" або у думах українських, — це все говорить про українця і часом дуже підходить до стилю Шевченкового. От од чого ніяке доктринерство українофільської ортодоксії не може увірити масу живих українців, що Гоголь не наш хоть

би у тій навіть мірі, як не наш Пушкін. Гоголь зостається досі не тільки самим великим писателем російської літератури, але і характерним виразителем української натури, котрої Шевченко виразив другу половину, — і через те Гоголь служить двічі, а як згадаєм, що він змалював деякі типи українські і деякі боки життя України старої і сучасної, то і тричі зв'язкою між українцями і російською літературою.

Од того-то погляд, который іноді можна почути од галичан, що Гоголь — то для українця не що друге, як і Мальчевський, Залеський і т. п. "перекинчики" польсько-української літератури[66], — зовсім невірний, по крайній мірі — щодо українців російських. Признаюсь, що я не дуже повно ознайомлений з польсько-українською школою. Думаю, що не без користі була би паралельна студія про те, що зроблено українськими традиціями і натурально-психічними силами у літературі польській і російській, як у XVII-ому, так і у XIX-ому віку. Така студія помогла би нам зрозуміти, які сили природні українського духу найбільш послужили б українському народу, як їх направляти прямше на цю службу. Думаю я, що для польсько-шляхетської громади українська школа не була без користі, яко початок сепаратизму од Польщі і прихильності до України, прихильності, котра мусить усе більш рости у цій громаді і потроху засипувати те провалля, которе зробилось історичним робом між ополячившоюся шляхтою і українським народом од Карпат до Дніпра і которе було колись так пагубним для народу, а тепер чим дальш усе становиться страшніше для самої шляхти. Не можу судити, — може, для галицько-руської громади, котора і досі виховується під польським натиском, а 30-20 літ назад зовсім не мала живої і рідної основи виховання, і польсько-українська школа мала ту ж роль, яку у Росії мала "Полтава", "Войнаровский" і "Тарас Бульба". Може, й на Шевченка мали вплив які-небудь з

польсько-українських писателів, так як і Пушкін і Гоголь. Але це усе не понижає Гоголя, а тільки повишає ціну для нас польсько-української літературної школи. Але для російських українців уже тим не можна ставити на одну дошку Гоголя і якого-небудь Залеського, що з нас і п'яти чоловік не знайдете, щоб читали Залеського, тогді як Гоголя читаємо і зачитуємось ми усі. Та здається мені, що і по духу, і по наслідках не можна рівняти Гоголя з польськими поетами, навіть становлячись на самий вузький український погляд. Мова Гоголева усе-таки ближча до народної української, коли вже чисто великоруська ближче до неї, ніж польська. Потім, споминаючи старину українську, Гоголь становиться прямо у табор український, а не у польський, чому я не знаю приміра не тільки у Гощинського, але навіть і у козакофіла Чайковського. Не знаю я у польських писателів і такого об'єктивного правдиво-українського матеріалу психологічного, який дають "Вечори" і "Миргород": увесь українізм польських поетів, мабуть, чи не зводиться на декламації про степи та річки українські! А ще більше не знаю я, щоб хто з польських писателів мав такі наслідки у своїй громаді, як Гоголь, щоб хто збудив такий дух самокритики індивідуальної і соціальної, щоб хто наплодив цілі покоління з реформаторським напрямком, которі б прийшли до кореня усієї політичної роботи на світі, а особливо на слов'янському світі, до роботи коло "хлопа", коло "мужика", щоб йому було легше жити, лучче їсти, щоб помогти його розумові скинути з себе кайдани містицизму релігійного і політичного і т. д. А з Гоголя-то іменно і почина швидше рости у Росії дружина людей з таким напрямком. Ця дружина, правда, говорить між собою не українською народною мовою, а російською; але ті, хто єсть українці у цій дружині, не цураються і народної мови, а особливо не цураються роботи для українського народу — не як "пани" і "перевертні" дивляться вони на мужика, а вважають його братом своїм, кото-

рому мусять вони служити. Та й не одні тільки родові українці служать українському народу: хоть би і у правобережній Україні після 1863 р. ви багато знайдете і великорусів, котрі не чули ніколи і слова українського, поки не приїхали туди, з которих деякі держались і держаться і досі централістичних поглядів на Україну, але усе-таки, яко ліберали і демократи, чесно послужили і служать українському народу мировими посередниками, мировими суддями і т. д. І увесь той російський реформаторський лібералізм і демократичне народолюбіє стали на тверду основу після Гоголя. Коли хто найде таку численну дружину практичних народолюбців у польсько-шляхетській громаді хоть у Галичині, котрі б вважали себе братами і слугами українського народу і которі б були породжені творами Залеських, Гощинських, Чайковських і т. д., я тоді згоджусь поставити послідніх у паралель з Гоголем; але тоді ми муситимемо справді признати Залеських і т. д. батьками перекинчиків і перевертнів, тільки не од народу до панів, а од панів до народу. А таким батьком став у Росії Гоголь у Великій Русі, та й у Малій*. Яко батько критично-соціального і народно-реформаторського напрямку у російській

* Польська література і навіть її українська школа не можуть бути поставлені рядом по їх важності для України не тільки з чисто українською літературою, але і з російською, через те, що поляки і польські україно́філи ні разу не стали прямо на боці народу українського, ні у сучасності, ні у історії України з XVII-ого віку. Польська література не виявила ні одного писателя, который би не то як Шевченко, Марко Вовчок, але й як Тургенєв став би проти кріпацтва, а з самого Міцкевича, сучасника Гоголя, усе розказувала, як-то гарно було колись жити у старій Польщі; замість того, щоб піднести дзеркало кривим пикам сучасності, — або декламувала абстрактно про волю, не торкаючи того, як "злота вольность" польська тичеться до народу українського, що під польськими панами. Як красиво змальована Історія України у Гощинських, Чайковських і т. д. у порівнянні не тільки з Шевченком, але й з "Тарасом Бульбою", думаємо, говорити нічого. Один тільки бік польсько-української школи може бути справді прийнятий і українцями, це той, который представля Тимко Падура, хоть і невеликого таланту чоловік. Полякам не стає сміливості подивитись прямо у очі українському народові ні тепер, ні у XVII-XVIII в. — од того вони

громаді і літературі, Гоголь не тільки послужив кріпким зв'язком освіченої громади малоруської з великоруською, але mirabile dictu* для того, хто незнакомий реально з Росією і її літературою, Гоголь послужив і виходною точкою і для виділу з в с е р о с і й с ь к о ї літератури літератур почастних, в е л и к о р у с ь к о ї і м а л о р у с ь к о ї, з которих перва хоть і явилася пізніше, ніж малоруська (бо послідня родила і Гоголя), але уже одним тим, що вона (великоруська) єсть і прогресує, визива на прогрес також і малоруську.

Гоголь своїми малоруськими повістями первий увів у літературу російську місцеві (українські) типи з простонародною мовою, первий живо змалював простонародний побит, который до того коли пробивавсь у панську літературу, то більш невольно, найбільш у такому роді літератури, як байка, особливо у Крилова, про которого самого треба сказати, що він, правда, почав писати дуже раніш Гоголя, але найлуччі свої щиро великоруські байки написав вже після малоруських повістей Гоголя ("Вечори" були напе-

більш люблять дивитись на XVI-ий в. — на козацтво — не те, що боролось з Польщею, а те, що укупі з нею боролось з турками. А XVI-ий в. справді може дещо виявити в науку і українцям, і полякам, може показати, що були у них общі культурні роботи, та розірвалась та робота через те, що український народ і польська панська держава не зійшлись на соціальних ще більш, ніж на національних началах. Тепер, коли соціальна задача народу українського розв'язана трохи силами українськими і російськими, може бути і поновлений союз народу українського з Польщею, коли поляки одречуться од того, що колись-то розвело їх з народом українським. Звісно, новий союз не може бути таким по формі, як був колись-то у XVI-ім в., але усе-таки культурно-політична робота і боротьба за волю слов'янства може бути вп'ять піднята українцями і укупі з поляками. Яко педагогічна підмога можуть тут *послужити традиції* XVI-ого в. і такі поети, як Падура. Правда, що тепер прийдеться не стільки українцям приставати до поляків, скільки полякам до українців, та, мабуть, у XV-XVI в. було те ж саме: і тогді литворусини більш супротивились німецьким рицарям, римському католицизму і помагали чехогуситам, боролись з турками, ніж щирі поляки.

* Дивовижно казати (упор.).

чатані в 1830-31 р., "Миргород" — 1834). Після "Вечорів", які з таким ентузіазмом встрітив Пушкін, і сам Пушкін од "Бахчисарайского фонтана", "Каменного гостя" обертається до "Сказки про рыбака и рыбку" (1833) і т. ін.* Між "Миргородом" (1834) і "Мертвими душами" (1841) пишуться під вліянням Гоголевого толкователя Бєлінського щиро великоруські пісні Кольцова (воронежця, що не забув опоетизувати і чумаків). З 1833 р. починають появлятися розкази з великоруського простонародного побиту Даля, який, по характерному случаю, родився і зріс теж у полудневій Русі — у Лугані Катеринос[авської] губернії. В 1837 р. появляється перва і досі лучча проба образу з великоруської старини — "Песня про царя Йвана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова" Лєрмонтова, котора так же відноситься до великоруської билини, як Шевченкові поеми до малоруської думи (я не рівняю тут ідей обох писателів), з тою тілько ріжницею, що у Шевченка, як у самоучка, нема ні однієї п'єси, так стрійно і без непотрібної довготи, т. є. так естетично (розумію не школьну реторичну естетику) і гармонічно скомпонованої.

---

* Гоголь пише після 1-го випуску "Вечорів", що він жив літо з Пушкіним і Жуковським, що Пушкін написав тепер казки руські, народні, не то, що "Руслан і Людмила", а зовсім руські. Жуковського, каже, і пізнати тепер не можна. Мов новий поет явився, уже чисто руський, а не німецький. З цього бачимо, що не тільки Пушкін, як сам Гоголь писав, був дуже у пригоді Гоголеві, але і Гоголь своїми українськими казками і піснями повернув Пушкіна на більш реальну дорогу і до народності. Інтересно, що статтю свою про пісні українські (1834) Гоголь начина такими словами: "Только в последние годы, в те времена стремления к самобытности собственной народной поэзии, обратили на себя *внимание народные малороссийские песни*". *А сам-то Гоголь і був одним з* первих, які збудили "стремление к собственной народной поэзии", більш народній, ніж та, про котору казав сам критик романтичної епохи у Росії Полевой. Як послужила Росії тут (після В. Скотта) Україна, видно по Гоголю та по тому, що Максимовичеві та Цертелєва пісні вийшли раніше великоруських Сахарова (1836). Гоголь писав у первих письмах до матері з Петербурга: "Тут усіх інтересує дуже малоруське".

Оселившись у Петербурзі, у Великорусі, Гоголь переносить своє наглядання не тільки на більш або менш схожі по усій Росії дворянсько-чиновничі круги, але і на такі, котрі і по мові, по психології спеціально великоруські: він виводить купців великоруських у "Ревізорі" і у "Женитьбі", у котрій генетично єсть увесь Островський з його комедіями і драмами з купецько-великоруського побиту, початими уже у 1849 р.; виводить Гоголь у "Мертвих душах", хоть і мало, і великоруських селян. І цікаво, що той самий Гоголь, который перемішує юмор і жарт з сентиментальностю і ідеалізацією, коли малює крестян і сільських панків малоруських, стає тільки юмористом, коли малює купців і селян великоруських, за що, замітимо, ніхто ще з серйозних критиків у Росії не думав докоряти Гоголя, мовбито він зневажає великоруський народ. Збуджений Гоголем реалізм і аналіз у Росії робить те, що література зачіпає усе ширші круги, береться за образи народного побиту і доходить до "Записок охотника", повістей, як "Муму" і "Постоялый двор" Тургенєва (1847-52), за которими йдуть повісті і романи з сільського великоруського побиту Григоровича ("Антон Горемыка", "Рыбаки" і т. д.; "Деревня" появилась ще ранше Тургенєва), Писемського ("Плотничья артель", "Леший"), комедії і драми Островського, поеми Некрасова ("Коробейники", "Мороз — Красный нос" і др.), повісті і очерки М. Вовчка (великоруські), Успенських, Левітова, Якушкіна, Решетникова ("Горнорабочие" і др.). Ось де справді великоруська вже, а не російська белетристика, бо названі тут п'єси і автори описують побит народно-великоруський, которого вже не знайдете у Малоросії. Та й для того, хто знає живу мову великоруську, видно, що й мова в таких п'єсах дуже одмінна од мови поем Пушкіна, романів Тургенєва, які ми назвали вище; реалізм російської літератури після Гоголя требував, щоб усякого чоловіка малювати так, як він живе

справді, т. є. і з його мовою. Од того мова народної драми, поезій і т. д., де виводяться великоруське купецтво і селяни, є правдива, чиста народна мова великоруська, так що, напр., галицькі общеруси мусили б прозвати Островського і Некрасова хлопоманами і сепаратистами, кацапством, у паралель тому, як вони кличуть тепер українську літературу хахлацтвом. Увод у російську літературу і через те у громаду простонародного великоруського побиту і мови не став на одній белетристиці і поезії. Розбуджена белетристикою увага до простого люду піднялась у Росії особливо у часи емансипації крестян. Появились збірники пісень, пословиць, казок великоруських Киреєвського, Рибникова, Костомарова (Сарат[овська] губ[ернія]), Варенцова, Безсонова, Даля, Афанасьєва, Худякова, Якушкіна, Шейна і т. д., появивсь і "Толковый словарь живого великорусского языка" Даля. Домовий демократизм і вліяніє педагогічних ідей школи Песталоцці і Дістервега повели к тому, що книжки для шкіл не тільки народних, але й для елементарного домового виховання дворян і читанки для гімназій стали наполовину наповнятись простонародним великоруським елементом: піснями, казками, пословицями, которі стали основою науки рідної мови, як то можна бачити з книжок К. Ушинського ("Родное слово"), Водовозова, Паульсона, Семенова і т. д. Появились книжки і книги, як "Рассказы о русской земле", "Куль хлеба" Максимова і т. д., которі написані майже цілком простонародною великоруською мовою, а в книгах, як Петрушевського "Рассказы про старое время на Руси", близька до простонародної великоруська мова переміняється з одривками з великоруських билин, пісень і присловій історичних. З цією педагогічною великоруською літературою случилось вже qui pro quo не гірше тих, які бувають у Галичині. Ті ж самі причини, що викликали великоруську поезію і белетристику, т. є. демократизм і

реалізм, викликали і українську; ті ж самі педагогічні начала, котрі увели у педагогічну літературу коло общого і державного елемента елемент місцевий і простонародний, великоруський, мусили увести у педагогічну літературу і школу і елемент місцевий і народний український. Цього і хотіли передові педагоги російські, як Ушинський, Водовозов, Вессель. Але передові українофіли хотіли зразу підняти до монопольного панування у школах мову і елемент український і витіснити елемент російський, буцімто тільки крайовий, великоруський. Держава і усі, хто кріпко держиться за status quo і у Великорусі, і у Малорусі, на те не згодились. Та й передові українофіли ще мало наготовили були книжок до такої радикальної реформи. А тут піднялись крики про український революціонізм од поляків і про сепаратизм — од катковців. Печатання книг педагогічних українських і увод їх у школи були заборонені. Піти на компроміс і поставити народний елемент український рядом з культурно-державним, російським, передові українофіли не захотіли. Та між ними й не було спеціалістів-педагогів і практиків, як Ушинський, Семенов, Водовозов і т. д., — і уже од того одного вони не могли зробити таких книг, як великоруси-педагоги, у которих би згармонувати обще з крайовим, державне з народним, російське з українським. Ті ж, хто стояв ближче до діла педагогічного, учителі українці, ті або з українофільського доктринерства, а найбільш з провінціального малознання, ліності і "страха ради иудейска", страху зовсім мілкого, а не сурйозного, не тільки не виготовили українських книжок педагогічних, паралельних великоруським по принципам нової педагогіки, але й не вияснили цього питання у літературі. Через те сталось у Росії двічі нелогічне діло: спеціально великоруська, крайова педагогічна література прикладається, мов би то обща російська, і на Україні. І це настойне діло українських педагогів — вияснити цю нелогічність, — то тим більше діло

нетрудне, що питання це теоретично доволі вияснено у заграничній літературі. А коли у Франції і Германії, де сільський елемент не має такої сили перед городським, більш або менш вже одностайним, і де центральна мова літературна давніш почала вліяти на народні провінціальні, то у сільській, м у ж и ч і й, широкій і молодій Росії тим більше неможлива одностайна система педагогічна, ні та, котора б знати не хотіла сільсько-народних крайових елементів, ні особливо така, котора б один крайовий елемент нав'язувала усім краям, зовсім одмінним. Вияснити це тим легше можуть українські педагоги, коли стануть на позитивну точку; вони можуть указати на приміри і ідеї великоруських педагогів, котрі самі не думали вважати свої книжки всеросійськими, а не крайовими тілько. По натуральному ходу діла із цих qui pro quo мусить російська громада вийти — і уже один прогрес, чим дальше усе ідучий, великоруської філології, етнографії, літератури і педагогіки, котрі тепер вишередили безмірно українську, не може не посунути і прогрес української філології, етнографії, літератури і педагогіки; і так процес ународовлення і через те д и ф е р е н ц і ю в а н н я культури і літератури у Росії на великоруську і малоруську не може не посунутись уперед, бо основа російської держави — с е л о і м у ж и к, а це село і цей мужик дуже одмінні по ріжним краям Росії і у такій обширній державі не можуть і за віки зробитись одностайними. Як піде далі цей процес децентралізації літератури і громадської культури у Росії, цього тепер сказати не можна конечно. Все, що можна зробити тепер, це дослідити й виложити факти, як вони єсть, а не як кому бажається суб'єктивно. Це треба зробити як тим, хто стоїть більш за центротяжну силу, так і тим, хто за центробіжні, і для того, щоб знати вірніше, куди і як приложити силу своєї праці так, щоб вона й не пропала дурно і щоб стала на добро народу руському і освіті, бо всі гріхи простяться, окрім гріхів против народу й розуму.

Отже, з фактів я думаю, треба сказати галицько-руській публіці як панруського, так і українського напрямку, що на цей час те, що у Галичині зовуть просто руською, російською, або великоруською літературою, не є одностайне, а складом і навіть мовою ділиться надвоє: на руське або р о с і й с ь к е, і на великоруське почастно. Усе те, що передає наукові або поетичні факти, ідеї, почуття передової громади у Росії (од Архангельська до Севастополя і од Кам'янця-Подільського до Благовєщенська на Амурі) і тих шарів, котрі зараз стоять за передовими (дворянських і чиновничих), ця уся література по історичному характеру мови є більш чи менш великоруська, але по ціні своїй є в с е р о с і й с ь к а, р у с ь к а література, мова которої стала вже живою, материною мовою для тих, хто її читає. Усе ж, що у поезії, белетристиці, у педагогічній літературі говорить про сільський люд великоросійський або до його говорить, те і по матеріалу, і по мові в е л и к о р у с ь к е.

Скаже хто, і галицькі народовці говорять: коли так, то усе-таки відносини російської літератури до українського народу дуже ненормальні, усе-таки вона мусить одривати культурні шари української громади од народу, плодити, як кажуть, п е р е в е р т н і в і т. д. — а од того щирі друзі народу українського мусять поставити собі ціллю виробку осібної літератури на чисто українській підставі і для того перш усього вийти масою з літературної роботи російської і добиватись, щоб увести українську мову у літературу, школу, гімназію, університет. Почасти, щодо перевертнів, я вже одвічав на такі речі і повернусь до цього діла ще далі. А тепер подивимось, які фактичні шанси має такий дораджуваний галицькими народовцями літературний український сепаратизм. Тут мушу указати попереду на те, що, як видно по статистиці, найбільш купують книг і журналів російських після столиць іменно у южних, малоруських провінціях, значиться українська публіка не протестує

против російської літератури, не дуже бажає переміни, бо якби бажала, то й була б переміна; літературним сепаратистам українським прийшлось би попереду всього видержати конкуренцію з російською літературою у самім своїм рідним краю. Конкуренція ця не буде дуже рівна. Найлучче це стверджується тим, що не тільки Костомаров, але й сам Куліш більшу часть того, що написав про саму Україну, писав по-російському. А переводити Маколея або Тікнора і т. д. по-українському, а не по-російському навіть і у думку не приходило п. Кулішу — значиться, "перевертнями" треба б вважати і тих самих, котрі найбільш послужили збудженню українського напрямку у Росії. У послідні десять років, після того як був піднявсь спор у Росії про границі української літератури, література російська не тільки не втратила своєї сили, але ще безмірно придбала її, особливо переводами. Окрім того, моральна сила її прибула од того, що не тільки у Слов'янщині, але і у Германії, Франції, Італії, Англії стали учити російський літературний язик. Трудно думати, щоб коли-небудь, а особливо за нашого віку, сповнилось то, що проповідують кілька крайніх містиків-централістів у Слов'янщині і у Росії, цебто, щоб усі слов'янські мови злились у одну російську; але велике розширення мови російської по Слов'янщині і навіть узяття цією мовою ролі посередничающої між ріжними слов'янами і між Слов'янщиною і другими народами діло далеко не неможливе після того, що ми чули й бачили у послідні часи. Московські слов'янофіли і їх приятелі у Слов'янщині і не гадають, що́ скоріше дасть мові російській ходу за границями Росії. То буде не слов'янофільство, а скоріше "западничество" і навіть те, що кликали колись у Росії невірно "нігілізмом" і що виробилось у позитивізм і демократизм. Тому, хто безсторонньо погляне на західнослов'янські літератури, не може не кинутись в очі велика бідність їх общечоловічим елементом і перевага

національних, навіть узьких ідей і тенденцій. У самих чехів переводної літератури майже нема, хотя з усіх западнослов'янських народів одні чехи можуть рівнятись з німцями просвітою маси народу, чим безмірно опереджають Росію. Я не можу без сміху згадати комічного ефекту сцени, як колись один шановний дуже професор у Празі — щирий русофіл, але, як усі австрійські слов'яни, маючий про Росію чисто німецькі ідеї, — через п'ять хвилин знакомства мого з ним підійшов до своєї полиці з книгами і, узявши німецький перевод Бокля, спитав мене, чи знаю я це діло? Я йому пресмирним тоном сказав, що у Росії 9-10 год назад вийшло зразу 2 переводи Бокля і, мабуть, коли не раніше, ніж по-німецькому, то заразом. На неоднократні моі запитання, од чого у чехів так мала переводна література, мені казали завсігди: од того, що чехи добре знають чужі мови, так що обходяться без переводів. "Чужі мови", думаю, багато сказано: простіше треба б було сказати: німецьку. Одначе німці й англічани, мабуть, не менше чехів знають чужі мови, а проте література переводна у них не бідна. Правдивіше буде сказати, що чеська публіка морально і економічно бідна для того, щоб усвоїти на чеській мові усі великі твори чужих літератур. Економічно — ясне діло, що чим менший народ, тим трудніше йому оплатити працю обширної літератури; морально — маленькі народи, затягнуті у боротьбу за питання крайові і національні, бідніють ще більш ідеями і інтересами всесвітніми. Од цього ми бачимо по всіх западнослов'янських літературах, що після періоду національного розбудження, который дав кілька славних крайових істориків, археологів, етнографів і філологів, багато-багато як вспіла де, як у чехів, розвитись література елементарно-педагогічна. А затим уся література ударилась у газети, молодіж ухопилась за патріотично-політичні ідеї, которих завсігди не може бути багато і которі зводяться скоро на кілька стоптаних фраз. Широкі

общечоловічі ідеї, научні питання або стратили свій інтерес у западнослов'янських громадах, або й не получили ще інтересу. Національний же патріотизм один безсильний піддержати надовго не тільки умственну, але й соціально-політичну роботу. Од цього майже скрізь у Слов'янщині ми бачимо, що молодше покоління після Шафариків, Палацьких, Гаїв, Гавлічків[67] і т. д. одличається моральною бідностю і науковою мілкотою, котора веде за собою упадок і реального патріотизму, і праці над розвитком власної літератури. З усіх слов'янських літератур одна російська, наперекір тому, що говорять про Росію і німецькі, і московські, і слов'янські національні, не патріотична, а космополітична по принципам, ідеалам і по методу. Навіть ті російські писателі і поети, котрі пишуть про рідні теми історичні, народні і т. д., не мають попереду усього задач національно-патріотичних, цебто оборонити або вихвалити свій народ, а мають задачу вияснити факти і життя народу з общих наукових, соціальних і психологічних поглядів, а діло служби народу російському само собою робиться, так як с і я в с я завсігди само приложиться, коли ми будемо шукати попереду усього п р а в д и. Думаю, що це виходить не з чого, як з того, що Росія велика держава, російський народ — великий народ; йому нічого за своє життя боротись; йому треба самостроїтись так, як то велить наука і правда всесвітня. Од того виходить, що у Росії "патріотичну" літературу, як стихи Хом'якова[68], Язикова[69], драми Кукольника[70], Полевого[71], романи Загоскіна[72] і т. д. ніхто не чита, окрім кілька доктринерів та унтер-офіцерів, а любимі діла Пушкіна, Лєрмонтова, Гоголя, Герцена, Тургенева — або космополітичні, або сатиричні по ідеям; од того росіянин з сто раз більшим інтересом буде читати про Макіавелі, Вольтера, Прудона, Дарвіна, ніж про доброділелі Івана III, хоробрість Дмитрія Донського, про Івана Сусаніна і т. д. Треба додати, що довгочасна неволя і

одстоялість Росії виробили у умі навіть і простого росіянина охоту швидше до песимізму до свого рідного, ніж до ліричного патріотизму, — так що Тургенєв вірно сказав, що "руський чоловік тільки тим і гарний, що сам про себе препогано дума". Од того російська публіка — діло, самохвальним німцям і онімеченим слов'янам західним зовсім непонятне. Почувши, напр. (в монографії Костомарова), що Дмитрій Донський був трус, а "подвигу" Івана Сусаніна зовсім не було, не хотячи дуже довго й думати про такі сюжети, скоріш згодилась з песимістами і негаторами. У таких звичаях ума руського та у числі і багатстві громади російської лежить причина того, що література російська найменш узько-національна, найбільш космополітична з усіх слов'янських і що переводна література у Росії росте так, що з нею не можна рівняти ні однієї слов'янської, навіть і польської (у которій говорять як про щось дуже важне про початок переводу історії всеобщої Шлоссера, що переведена вже років з 10 на російську мову і що пора вже її перестати і читать, яко дуже одсталу од сучасних поглядів, потріб, а щодо старинної історії, то і по фактах). Тільки до часу цензура зупиня розвиття цієї переводної російської літератури, котора тим більшу має будучність, що книги російські і тепер дешевше не тільки англійських, але й німецьких (я говорю про книги нові і не про видання класиків). Коли подумаєте про бідність переводної літератури і мізерність журналів (Revue) слов'янських у порівнянні з російськими, про те, що по мірі того, як росте націоналізм у слов'ян, молодіж розучується по-німецькому, то скажеш, що тільки цензура російсько-патріотична (у цензурному комітеті в Петербурзі сидить кілька поетів і писателів з патріотичного табору) та недостаток організації торгу книгами російськими за границею і не дає російській переводній літературі і журналам ширитись і по Слов'ян-

щині*. Але незабаром молодіж слов'янська може мати і у російській літературі саму близьку до себе по мові літературу з тих європейських, которі говорять не про домові тільки національні діла, але і про всесвітні наукові і соціальні питання. А так як чужоземці усе більше виучують російську мову, то Слов'янщина, не лишаючи своїх мов і літератур, може справді получити у ній найближчий до себе по мові орган, через который вона буде мати голос до других великих народів. Поляки, ближче усіх поставлені у відношення з Росією, вже зрозуміли, яку для них конкуренцію навіть у власної молодіжі може робити російська література, — і свіжі сили польської громади покидають узький націоналізм і старосвітський патріотизм, почавши проповідувати позитивізм і видавати переводи творів передових умів європейських, включивши туди і кілька російських творів, як "Рефлексы головного мозга" Сеченова,

* Самі чужинці, що вспіли познайомитись з літературою російською, рівняють розвиття у ній великих о б о з р і н ь, що звуться у Росії журналами, з Англією. Тим-то дивно було нам недавно читати у польських газетах з поводу недавнього безтактного заборонення петербурзькою цензурною управою перепечатувати популярним виданням у Росії матеріали нової історії з спеціальних журналів, що у Росії зовсім нема спеціальних журналів, за виключенням "Русского архива", що мовбито пише про археологію (?), та "Знання", що пише про науки природні, і що як журнали російські перемішують документи історичні з переводами, то ця міра цензурна рівносильна смертному приговору над журналами російськими. Між тим печатанням документів у Росії займаються "Русский архив", "Русская старина", "Чтения в Моск[овском] общ[естве] истории и древностей", "XVIII-ый век", "XIX-ый век", "Исторический сборник", не рахуючи видань академій, археогр[афічних] комісій і т. д. (Ми не називаємо і видань медицинських і т. п.). Це спеціальні видання у Росії. Так звані учено-літературні щомісячні журнали у 30 печ[атних] листів ("Вестник Европы", "Отечественные записки", "Дело", "Знание" в Петербурзі і недавно "Беседа" у Москві) печатають інколи мемуари і історичні акти, а найбільш дають оригінальні і переводні статті, торкаючі усі важніші політичні, наукові, літературні діла Росії і Європи, обходячи хіба релігіозні. Розходяться петербурзькі журнали у 5000-8000 екземплярах, і який-небудь сільський пан, маючи 2-3 журнали, може, не бравши у руки чужинецької книжки, слідити за усім, що робиться на світі.

що колись-то цензура думала зупинити як нігілістичне діло. Патріотична польська преса накинулась на своїх позитивістів, котрі єднаються коло журналу "Przegląd tygodniowy", і закидає їм докір, вже зоставлений російською патріотичною реакцією, у нігілізмі, характерний докір, которому, здається, прийдеться оббігати усю Слов'янщину по черзі! Але польська молодіж позитивного напрямку, которій старовіри польські кидають вже ім'я нігілістів, т. є. приналежності до єресі російської молодіжі і літератури, іменно щоб одстояти свою індивідуальність од російської літератури і узялась за своє діло і хоче пустити свої переводи по нечувано дешевій ціні: по 5 р. за 50 томів. Побачимо, чи вдасться видержати скрізь конкуренцію з російською літературою; завсігди треба шанувати таку працю, бо чим більш кому удасться приблизити ці ідеї мовою до маси, тим лучче. А подавлення російською літературою якої-небудь слов'янської, котора пустила корені у народ, є діло недоладне ні з слов'янської, ні з чоловічої, ні потому і з російської точки погляду, бо росіяни іменно, як народ великий і которому самому черезмірна централізація може тільки шкодити, мусять бажати життя усьому, що піддержує принцип децентралізації. Але трудно не бачити, що при вольній конкуренції границі, які може мати російська література у Польщі і скрізь у Слов'янщині, скоріш мають шанси розширитись, ніж зузитись против сучасності.

Щодо українців російських, то як вони здавна зжились з російською літературою і самі затяглись у роботу у ній, то для того вони мають найменше шансів виробити рядом з російською літературою свою, не тільке рівну з нею, але й таку, яку можуть мати другі, дальше стоячі од Росії слов'янські племена. Наприклад, якби хто у Росії задумав перевести Бокля або Дарвіна на українську мову, то, перве діло, на цю роботу потратив би вдвоє або втроє більше часу, ніж на роботу по-російському, а друге, не знайшов би і

третьої часті читателів і мусив би обанкрутитись перед конкурентом російським. Ось де основний резон, од чого п. Куліш переводив Маколея на російську мову, а п. Костомаров писав свої "Две русские народности" теж не по-українському; а другий резон — що, значиться, не тільки українська публіка, але й самі українофіли тепер не дуже-то журяться тим, що пишуть не чисто по-українському. Проклинати громаду, кидати їй в очі слова: "перевертні", "запроданці" і т. д. нічого не поможе. Та не буде й правди у таких лайках, бо проклинати маємо право тілько обскурантизм та деспотизм і гніт над народом. Але обскурантизм і т. ін. може вироджатись і на власній народній мові, а інтелігенція може стати аристократичною і не одриваючись од народності, а тільки одірвавшись од народу. Тому приміром недавня ще Польща. І, повірте, коли ті "панки-перевертні", що проклинав їх Шевченко, "ссали кров людську" і одвертались од мужика українського, стидаючись його мови, то тут ріжниця мови була ділом другим, а первим ділом була ріжниця прав і недостаток гуманного виховання панів і полупанків. Скажу вп'ять — ріжниця мови освіченої громади і народу є свого роду ненормальність (хоть нігде ми не бачимо, щоб було зовсім без неї), але не сама більша, і помагати тепер цій біді можна на Україні, не зриваючи з російською літературною мовою, ставшою тепер органом європейської цивілізації у Росії. Інтелігенція українська, зріднившись з російською мовою, не дуже через те одірвалась од своїх рідних елементів — не то щоб стала без рідної мови, а більш стала двомовною, що коли має невигоди свої, але має вигоди і тепер, а особливо на будучність: хто має дві мови, той має дві душі, колись казано. Так, цю позицію не треба хоть до пори кидати українцям, котрі, якби зірвали зовсім (коли б це було можливо) з російською мовою, то зостались би тепер, мабуть, замість того, що тепер мають півтори душі, з половиною і, головне діло, з о в с і м

без усякої вигоди для народу українського, которому тепер ще потрібна елементарна освіта й література. Так лучче ж, не кидаючи однієї, розвити і другу душу. А це зовсім не так-то трудно, іменно по тому характеру, який має і тепер російська культура.

Не треба забувати, що мова російська не так-то вже далека од української, як здається з первого разу, а особливо з боку; треба знати, що вона усе-таки вийшла з такої, котора у XVII-XVIII в. стояла доволі нейтрально і до Великої, і до Малої Русі, що, як ми бачили, і облегшило перехід до неї і великорусів, і малорусів, коли в XIX в. вона більш стала великоруською, через централізацію культури російської у Петербурзі і Москві, то ніщо не говорить против того, що за підняттям культурної сили Києва, Харкова, Одеси вліяння українських елементів і на саму мову літературну російську не стане знову дужчим, як то було до XVIII в. Саме ж важне діло: мова російська тепер служить не стільки органом крайових великоруських, а ще менш старих історичних московських традицій і у самих великорусів не дуже-то ціненых, скілько нових європейсько-російських ідей, котрі дали їй і силу у момент її формування з XVIII в.* Важно й то, що українці тільки мовою російською, тільки як граждани російської держави можуть мати

* Не кажучи вже про так званий петербурзький напрямок у літературі і громаді російській, спом'яну про те, що казав хоть би і Катков у часи з'їзду слов'янського у 1867 р., що "московська історія була тяжка". Катков не раз казав, що треба би столицю Росії перенести у Київ, бо Петербург стоїть у дуже невигоднім місці, а Москва дивиться більш в Азію, ніж у Європу. Не треба перемішувать, як це роблять німецькі публіцисти, катковського напрямку державно-централістичного, который тільки того за великорусизм, що тепер Великорусь є основою держави, і который може завтра стати таким же централістично-малоруським, з слов'янофільством, которе у основі своїй є великоруська хлопоманія, также способна зв'язуватись з централістичними, як і з федеральними ідеями, так сперитись, як і дружити з українофільством, на що є факти.

вліяння на діла цієї держави, т. є. і свого народу, і подавати свій голос і у Слов'янщині, і дальш. А одректись од такої часті у широких ділах українці не мають сили душевної, хоть би й хотіли. А удобавок і чисто великоруські ідеї і інтереси о́всі не противні народним українським, бо і Велика Русь, і її народна інтелігенція це теж м у ж и ц ь к а земля і д е м о к р а т и ч н а інтелігенція. А іменно новоєвропейські ідеї і демократизм є і саме цінне, що може бути у народному українському напрямку. До того ж принципи європейсько-російської і великоруської літератури зовсім не вороги тому, щоб починаючись на справдешньо народних і потрібних народові основах, виросла потроху і українська література*, як вона і зросла, хоть досі і більш інстинктивно, ніж по системі, котора тілько тогді може виробитись і стати у пригоді, як вона вийде од фактичних, а не фантастичних основ. Далі, говорячи, що таке de facto є українська література у Росії, ми зачепимо питання і про шанси її прогресу у Росії, і про основи, при которих вона справді може стати у пригоді народові. А тепер ми тілько коротко скажемо про те, наскілько принципи російської і великоруської науки і поезії приязні розвиттю народного українського почуття і народної української літератури.

В очах галичан найлуччим оправданням цих принципів може служити те, що усе-таки жива малоруська література і

* Нагадаю хоть про те, що і московські слов'янофіли були з числа самих ярих заступників наділу крестян землею, демократичного принципу, сільського строю, земських виборів і т. д. по усій Росії і на Україні, не глядючи на її "змосковлених" панів; а такі факти мусять показати, що тепер у жалобах на "перевертнів" і "омоскалення" України є немала доля риторики або переносу на українські діла поглядів, виведених на фактах життя австрійського, де національна партія німецька у всьому — і у школі, і у економії і політиці — завсігди піддержує то аристократичний, то буржуазний, то жидівський елемент напротив слов'янського — ради одного націоналізму, де поляки роблять те ж саме з русинами, та, правда, і з своїми власними хлопами.

живе демократичне почуття малоруське вийшло, по признанню самих галичан, з України, т. є. з Росії. Не думаючи вменшати усе ростучої важності трудів галичан для цього діла, усе-таки не можна не признати, що і хронологічно Цертелєв, Максимович, Срезневський, Костомаров, Куліш, Котляревський, Квітка, Шевченко, М. Вовчок упереджають і Шашкевича, і Головацького, і Федьковича і т. д. Ріжниця дочасних поглядів російських і галицьких на народ малоруський видна особливо на граматиках малоруських галицької і російської роботи. У Галичині не тільки Лозинський[73], Левицький[74], але й Головацький і Осадця[75] не посміли узяти за основу своїх виводів граматичних малоруську простонародну мову, а намішали з нею у свої граматики і церковних, і російських елементів. У Росії ще у 1817 р. Павловський писав свою граматику малоруську по чисто простонародній мові. (Мимоходом скажу, що це одна з перших граматик чисто м у ж и ч о ї мови у Європі, — так само як збірник українських пісень Цертелєва (1819) — один з перших збірників простонародних пісень, що показує, що треба було тільки трохи повіяти новим європейським духом на Росію, то у цьому мужицькому царстві зараз виявилась хлопоманія і попереду, звісно, на Україні, як на землі мужицькій par excellence.*) Те ж робили у своїх граматичних роботах і малоруси Максимович, автор статті у "Журнале министерства народн[ого] просв[ещения]", Потебня, великоруси Срезневський, Лавровський[76], Даль[77]. Од чого то сталось? Од того, що Росія хоть географічно і далі лежить од земель, де працювали і працюють великі основателі філології — англічани, німці, французи, — але усе-таки морально ближче до їх стояла, ніж Галичина з її семінарською, а не гімназіально-університетською, новоєвро-

* Переважно (упор.).

пейською школою*. Од того у Росії, як би хто не думав про літературне питання російсько-українське, а ніхто, окрім неуків, которих і імена не можна назвати коло названих вище імен (не кажу вже про європейських, але і російських) філологів, не напише такої брошури, як "В один час малорусину виучитись по-великорусски" і т. ін.

Так само ні один росіянин не напише нічого схожого з "Буй-Туром", з одами, которими колись наповнялась "Зоря галицька", не стане печатати, як "Слово", у себе повістей Захер-Мазоха[78], не стане переробляти з німецького руську буцімто повість "Шляхтич і міщанка" і т. д. Тому причина те, що росіяни пройшли школу Діккенса, Гоголя, Тургенєва, навіть те, що колись-то за часи реакції уся майже моральна робота у Росії один час було увійшла у белетристику і поетичну критику, котора мала у Росії такого майстра, як Бєлінський, що підняв у перву половину своєї діяльності високо критику естетично-психологічну, а потім почав психолого-соціальну, продовжену у рр. 1856-1861 Добролюбовим. Через те вкус літературний у Росії став багато у чому, мабуть, чи не строгіший, ніж у других і більш передових землях європейських, особливо у Германії і Італії, де, то ради народного духу (любові німців до дидактики і алегорії), то ради тяготи старих традицій, то ради недавності заведення національної єдності і через війни національні часто захвалюються речі без усякого реального смислу, і алегорія, і дидактика, та ще "ковбасний" патріотизм часто примазуються до самих люблених публікою творів і до справді талантливих авторів, як Ауербах, Шпільгаген, Гверрацці[80] і т. д. Для того, щоб який автор став любимцем критики і публіки у Росії, він мусить стояти ідеями

* Тепер семінарщина у Галичині вменшається, але непомірно мале число слухачів руських на філософічнім факультеті показує, що чисто науковий інтерес і досі слабий або не може розвитись у Галичині.

урівні з передовими умами віку, мусить мати прогресивний демократичний напрямок або мати великий талант реального малювання образів життя, з которих самі собою витікають демократично-прогресивні ідеали. Строгість літературного вкусу у Росії показують ті нападки, з которими теперішня критика у Росії обертається до дрібності послідніх творів Тургенєва, до ретроградних ідей таких талантів, як Писемський, Гончаров, Достоєвський, до містицизму Л. Толстого (я вже не кажу про квасний патріотизм романів і драм якихнебудь Чаєва або Аверкієва[81] або про поліцейський дух якогонебудь Стебницького[82], который, скажу мимоходом, все-таки перелякав би своїм лібералізмом щирого святоюрця[83] і показався би йому хлюноманом і нігілістом). Про реалізм російської освіченої публіки багато говорить її холодність до таких небезталантних — особливо у порівнянню з новішими німецькими — проб історичної драми, як гр[афа] Ол. Толстого і самого Островського. Ця холодність особливо характерна у порівнянню з тою плодючостю на історичні драми, яку ми бачимо у Германії, де беруть перву попавшуся історичну фабулу, навидумують монологів, діалогів і т. д., по готовому приміру, та й зараз Шекспір готовий! Ні автори, ні критика тілько не спита: нащо це? (Галичанам нічого говорити, що їх власні "Буй-Тури" та "Роксолани" пишуться по німецьким рецептам з третіх рук)*. Нічого говорити, що публіка росій-

* Замічу при случаї, що у польській літературі реалізм безконечно менш розвитий, ніж у німецькій, од чого і можливі у ній у 1873 року такі нісенітниці, як "Powieść z Wschodu i Zachodu" гр[афа] Дзедушицького[86] або "Adska komedyja" Ленартовича[87]. Господи боже мій, у наші часи люди романи про Семираміду пишуть або діалоги на образ колишніх-то діалогів у Царстві мертвих; я уже про ясність ідей якого-небудь Ленартовича, що береться од плеча рубати усі питання соціальні, культурні і т. д., і не кажу! Усе думають у Віктори Гюго попасти! Та забувають тілько то, що у В. Гюго справді талант великий, ідеї прямо ліберальні — та й то його манера 30-х років вже надокучає у наші часи і його популярність підгріта гоненіями Наполеона III, нова французька школа [Еркмана]-Шатріана, Флобера, Золя одійшла по простоті і натуральності не тілько [од] Гюго, але й од Жорж Занд.

ська требує од усякого поета і белетриста живої мови, і коли він узяв сюжет народний — то чистої народної (просто-народної) мови; тут публіка російська доходить до пуризму. Ця-то строгість і цей пуризм не дає ходу у Росії і усяким "Роксоланам", "Боянам", "Зорям"[85], "Буй-Турам", "Страхопудам" і т. д. і тим пробам пера і "первоцвітам українських молодиків", мало-талантливих або недоуків, которі печатають свої пустоцвіти та кислички по Таганрогам, Києвам, Катеринославам[85], а то і у Львові, — і тільки гатять Лету. Але справдешньо народній, живій і реальній українській літературі, котора може живою народною мовою розказати народу потрібні йому наукові ідеї або розказати про життя народне, строгость і пуризм російсько-європейських поглядів на літературу тим більше дає благоприятне поле. І коли справді українська література появила що-небудь цінного, то не тільки виходячи з народних українських інстинктів і традицій, але і у гармонії з прогресом наукових і літературних ідей європейсько-російської громади, що тим самим уже показує і ту дорогу, якою мусить іти українська література, коли хоче бути літературою живою і пригодною освіті і народу. Це ми постараємось розібрати у дальшім письмі.

III

Обертаючись тепер до розбору питання про українську літературу у Росії, ми мусимо поперед усього заявити читателям, що де в яких пунктах ми будемо говорити зовсім догадочно із-за недостачі матеріалу історичного, по которому можна б було з вірністю судити про відносини українських писателів і літератури до

громади; так, ми майже не маємо матеріалу для характеристики зачатків українського націоналізму у XVIII-ому в., та й внутреннє життя українських кружків у Харкові, Києві і т. д. 1800-1847 рр. досі звісно мало, бо переписка не тільки Квітки і товаришів, але й самого Шевченка досі не зібрана; мемуарів напечатано мало, біографій теж.

З цих причин ми наперед бачимо, що стаття наша буде неповною; те ж, що ми знаємо з фактів про наш сюжет, мусять знати і наші читателі; для того стаття наша мусить бути більш теоретичною, ніж історичною.

Ми поставимо два питання: 1) Що таке була і єсть українська література щодо ідей, т. є. які потреби і які обставини соціально-політичні викликали до життя цю літературу і давали їй той чи другий напрямок і характер? 2) Що таке була і єсть ця література по її матеріалу? Розібравши ці питання, ми дозволимо собі зачепити третє: які шанси може мати для будучого розвиття українська література і яка, при тих обставинах, у которих вона находиться, може бути дорога, которою мусить іти ця література, щоб розвинутись, одвічаючи тим потребам і цілям, що її викликали, і щоб послужити на користь нашому народові?

По первому питанню, ми думаємо, факти свідчать, що українська література зачалась, жила і росла під впливом тих самих ідей і потріб, котрі давали життя і російсько-європейській і великоруській літературі; другими словами, українська література є дитина Росії XIX-ого в. і через те мусить жити і рости, поки Росія є Росією. Ця теза наша не подобається щирим централістам, але ми знаємо, що проти цього станутъ дехто і з українських автономістів. Перший закид, которого ми ждемо од своїх друзей автономістів, — це такий: "але й сама російська література теж росла під вліянням ідей і потріб європейських, однако ж ви даєте

більш широке поле літературі російській, ніж українській"*. На це одвічу, що справді ті самі напрямки, що збудили українську літературу, як-то: сентименталізм, романтизм, націоналізм (слов'янофільство), демократизм — це напрямки усеєвропейські, а не тільки російські, але українці добували ці європейські ідеї і напрямки не стільки прямо з європейських літератур, скільки через російську літературу. Так стоїть діло й досі, так стоятиме воно й довше, коли не навіки. А через те не можна сказати, що українська література появилась серед європейських прямо, — ні! Вона появилась усередині російської.

* Такого закиду усього скоріше можна ждати од галичан — і у них він зовсім понятний, бо вони не мають можливості слідити за російською літературою, про котору і досі мають звістки найбільш од німців і поляків, т. є. або ніякі, або тенденційно вменшаючі силу російської літератури. Од цього я не дивуюсь, коли хто з галичан подума, що я дуже вже вбільшую розвиття літератури російської. Таку думку я бачу і у тому примічанню до моєї першої статті[88], у которому ред[акція] "Правди" дуже вже через край лестно сказала про мене, але мов побоялась признати абсолютне широке розвиття російської літератури, а признала його у порівнянню тільки з малоруською. А між тим маємо такі факти — окрім приведених у II статті, — що, напр., книгу Бокля стали переводить у Росії раніш, ніж у Германії і Франції, що два послідні діла Дарвіна переводились у Росії з рукописі, що "Капітал" К. Маркса появивсь у Росії з коректур, що деякі статті, напр., Герб. Спенсера, переводяться у Росії вже два роки назад, тоді як у Франції тільки тепер почали його переводити, що інтерес до нового будування науки с о ц і о л о г і ї у Росії майже чи не більший, ніж у Германії і т. д. Ці факти свідчать, що російська громада спішить узяти часть в усіх найважніших питаннях наукових і культурних, которі займають громади передових європейських народів. Щодо українців, то як би хто не дививсь на будучність української літератури, а ніхто не може з них одректи того факту, що тепер освічена громада на Україні зв'язується з життям європейським не чим другим, як літературою російською,— а цей факт не може не обмежувати ходу української літератури і на будуще. Треба замітити, що Галичина, як руська, так польська, стоять і по свому географічному стану, і по свому *провінціалізму особенно невигідно, щоб знати про Росію, невигідніше, ніж* Варшава і самий Відень, бо у Краків і Львів не тільки не заходять журнали, газети і книги про Росію, але й книги і статті серйозних чужинців, як Ральстон, Леже[89], Рамбо[90] і т. д.

Щоб вияснити те, що ми зараз сказали, ми мусимо коротко переглянути, у які часи і при яких обставинах громадського життя у Росії піднімалась українська ідея і українська література. Сліди нового українофільства, звісно, можна находити у XVII-ім і XVIII-ім в., і од того дуже жалко, що література київського періоду XVII-ого в. мало висліджена щодо народних ідей, бо нею, окрім покійного Пекарського (который у своїх роботах шукав тільки зв'язку київської літератури з реформою Петра В[еликого]), займались тільки духовні писателі, як митроп[олит] Євгеній і др. Особливо мемуари, драми і комедії, інтермедії XVIII-ого в. інтересні яко початки того літературного напрямку, который у XIX-ім в. виявився у українофільстві. Але мемуари малоруські XVII-XVIII-ого в. ще не всі й видані, і дяка п. Бодянському, редактору "Чтений в и[мператорском] московском обществе истории и древностей" і київській археографічній комісії, що хоть головніші з них напечатані, — літературна ж критика їх ще desideratur*. Драматичною ж літературою малоруською XVII-XVIII в. серйозно займавсь тільки великорус, московський проф[есор] Тихонравов, — і нашим молодим українофілам на цей час можна побажати хіба б того, щоб вони покористувались і розібрали з свого погляду те видання пам'ятників цієї літератури, яке наготовив п. Тихонравов к ювілею Петра В[еликого].

Але як не мало ми ще знаємо вірного про дух громади і про стан національних і народних ідей на Україні XVII-XVIII-ого в., не думаю, щоб я помилився дуже, сказавши, що іменно тогді, як автономія козацької України усе більш піддавалась загальному строю Російської імперії, тогді на Україні складались основи для того, щоб виявивсь народний українофільський напрямок з його народною літературою. Як не

* Бездіяльна (щодо мемуарів) (упор.).

багато мала у собі гарних зерен доброго громадського строю козацька Україна XVII-ого в., як не важка була московсько-остзейська централізація, під котру попала Україна у XVIII-ому в., а усе-таки треба признатись, що тільки у XVIII-ому в., під державою російською, на Україні зникли ті перепони, котрі не давали до тих часів розвиватися там освіті і літературі порядковим прогресом. Так, тільки конечне завоювання Криму і берега Чорного моря за Катерини II зробило Україну безпечною для життя мирного економічного і культурного. А з другого боку світська, державно-європейська культура російської імперії "петербургского периода" висвободила українську освіту із узьких рамок церковних, котрі задержували і вплив народної мови у літературу, а світські школи, котрі стали множитись на Україні (хоть через централізацію державну і не так скоро, як би то було потрібним і можливим), і світська література російська нанесли ті ідеї європейські, літературні, політичні і соціальні, котрі помічні зросту народолюбства у літературі і політиці. Петербурзька література, Харківська колегія, потім перероблена в університет, ліцей у Ніжині, університет у Києві — ось де настоящі батьки українофільського народовства, которе через них годується тим духом, що панує у Європі з XVIII-ого в. і который упав на слабі прояви свідомого патріотизму і народовства, які держались у українській громаді у кінці XVIII-ого в. Реакція псевдокласицизму, котора усиливалась на Україні реакцією провінціального духу вкусам столичним, попхнула Котляревського на його знаменну пародію "Енеїда", котора пішла ще дальше од "Душеньки" Богдановича; сентименталізм, що дав російській літературі "Бедную Лизу" Карамзіна, "Сбитенщика" Аблесимова, родив "Наталку Полтавку"; пани і адміністратори, як Трощинський, Куракін, що заводили на Україні *двірки на взгляд петербурзького двору, викликали потребу* театру, для которого Гоголь-батько і Котляревський постав-

ляли п'єси, мішаючи комічну манеру інтермедій XVIII-ого в. з новомодним сентименталізмом á la Карамзін. І треба признатись, що, як побит сільської шляхти України не так відірвавсь тогді од народного, як це було з придворною шляхтою у Великорусі, а, з другого боку, як простонародний побит український більш був утончений, ніж великоруський, — то і сентиментально-комічні оперетки українські усе-таки мали більш реальності, ніж сучасні їм аналогічні твори великоруські, а здоровий гумор український виносив на плечах і крайні карикатури "Енеїди", так що і досі з гріхом пополам, а читаються і дивляться на сцені п'єси Гоголя-батька і Котляревського, тоді як Карамзіна "Бедная Лиза", Аблесимова "Сбитенщик", Жуковського "Марьину рощу" теперішній читатель з пошаною одсува набік.

Скоро чисто дилетантське, белетристичне діло Котляревського і Гоголя-батька взмоглось ще одним елементом, теж маючим тісний зв'язок з ідеями, ходившими по усій Росії у кінці XVIII-ого в. і начатку XIX-ого в. Масонський містицизм, у которому брали добру долю ті з української шляхти, що вертілись у столицях (як Гамалія[91] і т. д.), на Україні прийняв більш народну форму у філософії Сковороди, который теж на свій лад клопотавсь об освіті і народі, як і Новиков[92] і його приятелі. Коло Харкова і Полтави пішла охота заводити школи, і серед підготовлених Сковородою поміщиків харківсько-полтавських більш опетербуржений і об'європеєний Каразін і став пропагувати ідею про університет, который і був заведений у 1807 р. на гроші, наполовину державні — наполовину дворянські. Каразін пропагував і ідею про емансипацію крестян, а также і слов'янофільські ідеї, розвиваючи оригінально і без обскурантної примішки ці ідеї, которі висказував на Великорусі защитник "старого слога" Шишков. Каразін думав і харківський університет зробити всеслов'янським. І справді, цей університет, который завели українські дворяни і росій-

ський уряд по ініціативі сербо-українського "маркіза Пози", університет, у котрому первим куратором був поляк Северин Потоцький, був первим у Росії розсадником ученого славізму: він дав з учеників своїх Бодянського, Григоровича[93], Метлинського, Костомарова, він мав велике вліяння на Срезневського. Під цими вліяннями наївне, дилетантське українофільство Котляревського стало приймати більш серйозну форму, яку бачимо у повістях Квітки, у виданню журналів "Украинский вестник", "Славянин", пісень українських кн[язя] Цертелєва, граматики Павловського, історії Малоросії Б[антиша]-Каменського; українські традиції почали зв'язуватись з ліберальними ідеями "Соединенного общества славян", "Союза благоденствия" і т. д. Свідоцтвом настрою визначающихся людей української громади того часу може бути начавша тоді ходити частіше по рукам "Історія русів" Псевдоконіського. Провінціалізм, а потім реакція після 1825 р. придержала ширший прогрес українського слов'янофільства і народолюбія, одначе перечислені нами твори літературні і прояви соціальні не остались без наслідків не тільки для української громади, але й для усієї Росії, як то можна бачити по Пушкіну, который дуже любовався "Історією русів", по Рилєєву, по Наріжному, Гоголю, про которого зв'язь з харківсько-полтавським українофільством ми говорили доволі. Мусимо нагадати, що література у Росії до самих "Записок охотника" Тургенєва не мала нічого, що б так реально і симпатично малювало простонародний побит, як Квітчині повісті. Уп'ять бачимо, як природні обставини побуту і традицій України зробили те, що український сентименталізм і романтизм, як і українське слов'янофільство, дали щось реальніше, научніше і симпатичніше, ніж "Світлана" Жуковського, "Размышление о старом слоге" Шишкова і т. д., хоть на Україні тільки розвивались ті ж самі теми, що і у Великорусі.

У 30-ті — 40-ві роки ми бачимо вп'ять, що рух моральний на Україні теж живе одними ідеями, що і на Великорусі, причому бачимо, що в силу процесу централізації де у чому Україна живе тільки одкликом руху великоруського, або російського, хоть усе-таки власні обставини і тут виводять багато оригінального, українського у варіації загальноросійських напрямків. У цю епоху ми бачимо, що поезія у Росії живе під вліянням дуже обнаціоналізованого Пушкіним і Гоголем романтизму, который чим далыш, усе більш склоняється до національного натуралізму; а обік з цим бачимо у найближчій до поезії сфері науковій охоту дослідження власної старини, і побуту, і історії народів слов'янського щепу. Це епоха видачі літописів, актів, пісень народних, епоха закладу кафедр слов'янських мов через міністра Уварова, епоха зорганізування московського слов'янофільства з обривків шишковської реакції і лібералізму александровських часів (дивись про це подрібно у Пипіна — у "Очерках умственного движения от 30-х до пятидесятых годов"). На Україні це епоха видання пісень Максимовичем, Лукашевичем, Срезневським, поезій Бодянського, Гребінки, Метлинського, Костомарова, а наконець Шевченка, учених творів, як начатки слов'янської філології Максимовича, його ж "Старіший період історії літератури руської", про народну слов'янську поезію Бодянського, про руську — Костомарова, про слов'янську міфологію, що видав Костомаров церковнослов'янськими буквами, — епоха, закінчившася київським братством Кирило-Мефодіївським. Характерний представитель цієї епохи — Шевченко, который, одначе, прибавив багато свого оригінального до загального російського, що жило на Україні, і до сучасно-українофільського. По літературній школі Шевченко належить до романтиків не тільки таких, як Пушкін у ранніх поемах або Гоголь у "Тарасу Бульбі", але часом нагадує Жуковського і Козлова. Тільки українська

родина, а особенно мужицька, давала окрему окраску Шевченковому романтизму. Український романтик, як і другі, обертавсь до старини, але та старина була не за горами (у цьому Шевченко, як і Гоголь, мають аналогію тільки з Вальтер Скоттом, который теж виріс на свіжих ще традиціях феодальної Шотландії), як у других; цю старовину не треба було одшукувати по архівах і бібліотекам: могила, пісня, казка нагадували про неї. Од цього Шевченко у своїх козацьких поемах являється романтиком, хоть і не таким, і по роду таланту, і по силі знання, як Вальтер Скотт — цей єдиний історичний романіст, як Шекспір — єдиний історичний драматург. Та ще треба додати, що характер козацької старини і мужицька природа Шевченка зробили те, що романтизм і сентименталізм Шевченка зразу став на соціальну дорогу, у чому Шевченко не має собі аналогії ні у якій літературі європейській, теж оригінальний, як оригінальне українське слов'янофільство. Це слов'янофільство уже у одних його наукових представителів, у Максимовичу і Срезневському, а особенно у Бодянському, Григоровичу і Костомарову, стоїть окремої студії, і ми дуже жаліємо, що п. Пипін у своїх статтях про московське слов'янофільство не зупинивсь кілька хвиль з своїм спокійним і острим аналізом на представителях українського славізму і панславізму у науці. Чисті ж українофіли новіших часів не дуже-то часто згадують наукові праці названих учених, одчисляючи їх, по язиковому доктринерству свому, до с у с і д н ь о ї словесності, та й не дуже-то прихильні до слов'янофільства і русофільства узагалі, не бачачи по доктринерському узькоглядству, яку міцну основу робить це слов'янофільство і русофільство і самому українофільству. Ми думаємо, що не дуже помилимось, коли скажемо, що перевага позитивно-наукових ідей над фантазіями і тенденційностю робить одну з характерних ознак українських славістів старого

покоління; до цього треба додати, що у них немає клерикально-національної антипатії до Заходу, Польщі, ні такої ж тенденційної симпатії до Візантії. Надіємось, що колись-то, рівняючи Шевченкове слов'янофільство з Коларовим, Хом'яковським і т. д., і неукраїнці замітять, що Шевченко співав не про воїнів (хоть і він тішився, може, без міри славою козацькою) і царів, не страхав світа величезною силою слов'янства, котора колись у свій черед запанує на світі, кров'ю оддасть за пролиту кров свою ворогами, — а узяв своїм героєм на Слов'янщині єретика Гуса[94] та бажав, "щоб усі слав'яне стали" такими єретиками "і синами сонця правди" і подарували "мир мирові". Так-то Шевченком романтизм і славізм український подав руку до того ліберального стану російського "западничества", который пробивав собі дорогу у післягоголівському періоді літератури, періоді соціальному. Так-то до 1847-ого р. йшла історія українських тенденцій, причому вони завсігди в'язались з ходом мислі і науки у Росії, но завсігди давали оригінальні варіанти, черпаючи їх з місцевого ґрунту, і часом опереджали аналогічні їм напрямки і прояви у Великорусі, іноді годуючи і саму Великорусь, хоть вона і держала у собі столиці — натуральні центри культури. Це єсть найлуччий доказ натуральності і законності зросту українського напрямку і найлуччий показ ціни його не тільки для України, але й для усієї Росії, як то каже і біограф п. Куліша у "Правді" 1868 р.

Але після 1847 р. ми не бачимо такого прогресу в українізмі, якого б можна було ждати по таким початкам, і бачимо, що він уже не тільки майже не має колишнього вліяння на Великорусь, але ледве плететься за прогресом науковим і літературним не тільки російським, але й почастно великоруським, — хоть, як то ми трохи зачепили, кажучи про Гоголя, великоруський народний напрямок у літературі і науці, мабуть, чи не треба признати одголоском українського

1820-30-х років, а в усякім разі він виявивсь пізніше українського. Причиною такої переміни був, безспорно, той погром, який потерпів кружок Кирило-Мефодіївський у 1847-48 рр., зсилка Костомарова, Куліша, Шевченка і ін. Зсилка ця прибила талант Шевченка і задержала його на однім ступені літературного розвиття; вона одірвала Костомарова од кафедри у Києві, де він, на місцевім ґрунті, міг би укоренити наукову працю над Україною у молодших поколінь і породити школу історико-етнографічну; погром 1847 р. перебив кар'єру Куліша як академіка слов'янських мов, до которої його виводив приятель Гоголя Плетньов. Через це усе случилось так, що з молодшого покоління на Україні, котора так славно і з такою пригодою для усієї Росії дебютувала на полі слов'яно-руської етнографії, філології і історії, з молодшого покоління після 1847 р. не появилось ні одного ученого з академічною підготовкою, окрім, і то вже в останні роки, Потебні і Антоновича.

Од цього виходить те, що дальніше українофільство зосталось майже зовсім без наукових підстав, окрім тільки робіт старшого покоління, особливо костомаровських. І це тогді, як за працю над великоруською народністю прийнялись люди з такою щирістю і з такою європейською виучкою, як Буслаєв, Даль, Гільфердінг, Рибников, Худяков, Міллер, Веселовський, Щапов, Афанасьєв і т. д. Але окрім погрому 1847 р. і його послідків і одголосків і сили централізації, котора робила, що у Києві, Харкові не було до останнього часу таких інституцій, як географічне товариство, Моск[овське] общество любителів літератури (що почало видавати пісні Киреєвського, Рибникова, словар Даля і т. п.), централізації, котра робила, що кафедри у Києві і Харкові або пустували, або заміщались великорусами, часто такими, що не знаходили собі місця по столицям, що чим дальше усе більш одливали українські вроженці од столиць і од літератури, — у цій науковій і літературній одсталості

України після 1847 р. почасти винні і деякі основні ознаки українофільства часів Шевченкових.

Можна сказати, що тільки за ці часи українофільство перестало бути чисто інстинктовним, а стало самосвідомим. Але зате зараз же воно стало схожим з західним слов'янофільством — чеським, польським, сербським, т. є. стало націоналізмом*. Як ми вже казали, через це українофільство стало зовсім на другу дорогу, ніж та, у основі космополітична дорога, по котрій йде більшість освіченої громади у Росії.

---

* Я дуже боюсь, щоб термін націоналізм своїм дуже широким буквальним смислом не затемнив того, що я хочу ним сказати, тим більше що самі національні напрямки у наші часи дуже змішуються з тим, що я хотів би одрізнити терміном народовство, і що терміни ці не в усякій мові можна виразити одмінними словами (у романських мовах таки є ріжниця — nazionale і populare (національний і народний — упор.), хоть романці, особливо італьянці, і менш усього діляться на класи, більш других демократичні, так що там до popolo (народу — упор.) належить і аристократія більш, ніж де-небудь). Націоналізм появився наперед у французів, коли вони стали найдужчою нацією у Європі, потім він піднявсь у німців, котрі захотіли й собі бути такою, а дальш — у слов'ян. Націоналізм — це прив'язаність у власному народі до того, що робить його найбільш уражаючу ознаку, значить і до того часу історії, коли народ імпонував другим, до того устрою, культурного і соціального, який був тогді, як нарід найменш підпадав вліянню других. Націоналізм має собі підставу у тих інстинктах, котрі виробили у всхідних народів ж и д і в с т в о, к и т а ї з м і т. д. От од чого націоналізм і у наші часи дуже легко зростається з воєнним духом. От од чого націоналізм у французів і німців зростається з імперіалізмом і Drang nach Osten (хоть би іноді і з примішками "ідей 1789 р." або вольного духу Тацітової Германії і культуртрегерства, а з другого боку, од клерикалізму, як бачимо по Жозефу де Местру або по Шлегелям), у італьянців ріднився з поклонами Римській імперії, а то й самому папству (неогвельфізм), у поляків і венгрів — з олігархізмом, у великорусів — з царизмом і т. д. Коли нація яка попалась у неволю або стратила власну державу, то націоналізм зростається з поривами до волі, становиться більш демократичним — і це тільки й дає йому прогресивну силу у XIX в.; але й то, коли болгарин згадує Крума, сербин Лазаря, словак Святополка або й наш брат українець Хмельницького, то не тільки од того, що за часів їх не було турка, німця, московського (?) пана і чиновника з царем угорі, — а од того, що тоді й наші "чуби другим голили", як нам тепер голять. Коли хід історії зробив те, що ознаки національні вдержались найбільш (а це майже скрізь так) або виключно у простому народі — як це переважно случалось у Слов'янщині, — тогді й націоналізм становиться ще більш

Націоналізм сам по собі не дуже-то має ресурсів для багатої літератури, а тут ще, на Україні, націоналізм не міг дати і того, що дав він у чехів, сербів, поляків, бо як не крути, а усетаки Україна не у таких відносинах до Росії, як Чехія до Германії, Сербія до Турції і т. д. Українським націоналам через те не хватало сили не тільки на те, щоб одірвати хоть морально більшість своєї громади од Росії, але й щоб ясно формулювати свою програму — не у стихах, а у прозі. Як ми бачили з приміру епілогу до "Чорної ради" Куліша, з "Двох

демократичним. Але ми маємо приміри, що демонстративна симпатія до деяких мужицьких ознак становиться тільки одним з придатків націоналізму воюючого і зовсім не обов'язує націоналізм до правдивого демократизму, до піднятя прав мужика. Так, німка Катерина II з радості, що стала "північною Семирамідою", завела при дворі форму для фрейлін — великоруський сарафан кокошник, що не забороняло їй роздавати в кріпацтво мужицьких її оригіналів; так польські б а л а г у л и[97] в українських костюмах, їздячи по Україні, били добре батогами українського хлопа і т. д. У наш вік націоналізм — ця дуже стара пісня, як розібрати її, — часто зв'язується з новою — про волю і про демократію, народоправство. Але справдешній народоволець не може бути націоналом, не може бачити ідеалу позаду; не сила і слава його національності, а добро його народу — ось його ідеали. А ці ідеали — космополітичні, і час для зреалізування їх — попереду. Народовець може поважати історичні форми життя національного тільки тоді, як вони мали або мають зерна його космополітичних ідей, може будити почуття національні тільки такі, котрі ведуть до зросту волі і обичаїв мас народу, — він може любити родину свою тільки яко місце, де він найлегше може працювати для чоловіка.

Українофільству, т. є. націоналізму серед народу зовсім хлопського, усього б легше стати не націоналізмом, а тільки одною з форм космополітичного народовства — так воно й буде, надіємось; вже Шевченко дає право такої надії. Але й українофільство не могло утекти од общої части всіх національних напрямків. У 40-ві роки воно мало багато шляхетського — було чимало мазепинським гетьманщинофільством, як то можна бачити і з сатиричних заміток самого Шевченка у "Посланію до земляків" і іншому. У новіші часи воно стало яснішим народовством, хлопоманією, але зате багато з потомків старшини мазепинської, що було вже тішились костюмами українськими а навіть переписувались з українськими літераторами по-"свому", а не по-"московському", одлетіли у табор п. Каткова і стали писати статті о неможливості української літератури, давати субвенції святоюрцям і т. д. Але при усьому "хлопоманстві" новішого українофільства ми б сказали, що і нові Палії — як і старий — не дуже-то розірвали з старим Мазепою і брали часто

русских народностей" Костомарова, з усієї "Основи", що печатала більшу часть статей своїх по-російському, — самі передові націоналісти українські не доводили до послідніх консеквенцій свого націоналізму, навіть і літературного. А між тим національна формула ad instar* чехів, поляків і т. д. усе-таки заявлялась на Україні, для неї усе-таки одшукувались "історичні права" у старій козаччині — і це усе тільки збивало молодіж українофільську з практичного погляду на роботу для народу і освіти, а поверхносний поділ літератури у Росії по мові тільки, поділ, который усе, що не було писано українською або новоукраїнською мовою, записував у чужу, "сусідню" словесность, зробив те, що українофільська молодіж стала холодна до наукової літератури російської, хоть би в ній говорилось і про народ український. (Я минаю такі послідки, як реакція проти українофільства у великорусів через його претензійність і нетерпимість, мало одвічающу його силам і праці). Стала холодіти ця молодіж і до літератури російської і великоруської саме якраз тогді, як ця література пішла вгору, — і, покинувши навіки сентименталізм і романтизм Жуковського і ранніх Пушкіна і Гоголя з його легким народним колоритом, пройшовши об'єктивно-артистичну школу пізнього Пушкіна і особенно натуральну школу пізнього Гоголя і Лєрмонтова, а потім з широкими свободними європейськими ідеями соціальної школи Герцена, Тургенєва і

форму, історичний націоналізм, за суть діла, за прогресивне народовство, через що й самі вменшили свою силу, як то ми хочемо показати у тексті.

В Галичині, здавалось би, ще менш є підстав для історичного націоналізму, бо віки державної самостійності і воєнної слави Галичини були так давно, що народ вже забув про них, бо усі класи повищі, которі у минувшому носили у собі силу національно-державну, не дбають зовсім про дійсне добро народу, — одначе й тут на першому плані у патріотів ми бачимо скарги, що "потомки князів стали жебраками, що шляхта не дба про величність церков і т. п.".

* *На зразок (упор.).*

др. прийнялась малювати побит н а р о д н и й так живо, як це бачимо у Некрасова, Островського і молодших белетристів. Українська ж література — або живуща без критики, інстинктивно, або тільки з критикою з погляду націоналізму, — не могла вслідити за цим прогресом російської і великоруської літератури — і то, плетучись за віком, більш інстинктивно, ніж свідомо, потрапляла в такт новішому соціальному реалізму, то знов закидала не тільки романтизмом, але й сентименталізмом á la Карамзін, то кидала грязюкою на Котляревського і самого Гоголя за їх "панський" погляд на народ (чим показувала брак історичного змісту), то знову зводила буцімто реалізм до арлекінад часів Котляревського.

Через це усе українофільство і після нового свого збудження у 1859-63 рр. не викликало собі симпатії громадської навіть у самій Україні у такій силі, як мусило би і могло би, а потім не змогло з честю пережити і тих невеликих перепон, які йому зустрітились знов на дорозі після 1863 р. Добра доля української громади, навіть молодіжі, і часто ті, хто тягся до ширших політично-соціальних і наукових інтересів, люди енергічні, хто рвався зараз до соціальної праці, — ті сторонились од українофільства, не знаючи, як їм приладити до своїх тенденцій цей старомодний, слабосильний, але претензійний напрямок. Українофіли сердились на таких людей, звали їх космополітами, думаючи, що це не знать яка нечесть, і вважали цих космополітів за первих ворогів своїх, тогді як з ідеї політикування або з бажання завести "історичну шляхту", "національний клір" часом дуже кокетували з адміністраторами, багатими панами, благочинними і архієреями, поки ці всі скоро не показали своїх зубів після двох-трьох статей Каткова, поки не сталось так, що в літературі за українофільство тільки чуть було голоси так званих космополітів, которим іноді приходилось терпіти більш, ніж чистим

українським націоналам. (В Полтаві, напр., усі найголовніші з українофілів зосталися цілісінькі, а космополітів розвезено у Вятку, і Архангельськ і т. д., і при цьому розумнішого з них, которому довелось немало потерпіти ганьби од українофілів, обвинено і в українському сепаратизмі: corpus delicti* був український буквар, ним зроблений. У гарячіших українофілів такого corpus delicti не знайшлось!).

Ця уся одсталість українофільства і всі ці послідки, ці усі недорозуміння пішли іменно з того, що в українофільстві дана була перевага формальному боку, націоналізму, партикуляризму, і за ними не замічена була та середина, котора давала йому силу од Котляревського до Шевченка включно. А ця середина у тому і залежить, що українська муза тогді тілько давала свіжі і дужі твори, коли завдавалась загальними європейсько-російськими ідеями і напрямками — сентименталізмом, романтизмом, охотою до простонародності[105] і т. д., — що українські національні ідеї і традиції тогді тілько користувались симпатією громади, коли вони підходили під ці загальні тенденції, що самого Шевченка сильніший бік не у тому, що він плаче за колишніми "бунчуками і булавами", а у тому, що він рветься до "волі і науки", не у тому, що він лає ляхів і москалів, а що кляне панів і своїх, которі гірше чужих розпинають меншого брата. Не у тому також саме перше діло науки на Україні, щоб конечно полуукраїнською мовою, хоть як-небудь скомпонованою, писати розправи про що попало, а у тому, щоб знала публіка і на Україні, і поза нею хоть на готовій мові, що то за край, що за народ, що є чоловічого у його історії, побиту, мові, що треба з ними робити, щоб добрі елементи його пішли на користь йому і другим. І до такого погляду не трудно дійти було, переглянувши те, що зроблено

* Доказ провини (упор.).

для науки про Україну хоть і на російській мові писаними творами Максимовича, Бодянського, Костомарова, Куліша і т. д., котрі, йдучи одною дорогою з великорусами, і про своє розказали, і других навчили, — творами, за которими не пішли праці молодших щирих націоналів українських, що, задумавши виробити окрімну од російської науку, не тілько других не навчили, але й самі не навчились тому, що вже було зроблено, і довели діло до того, що і другі забули про те, що було зроблено старшими, що було признано у часи, як ще не ставилась різко українська сепаратистично-національна програма*.

Позаяк — між іншими причинами — націоналізм зузив і обезсилив українофільство і прогрес української літератури після 1847 р., то потім вона, коли піднімалась і посувалась хоть трохи уперед, то ще більше силою прогресу загальноросійського, ніж місцевими, чисто українськими елементами. А цей факт, з одного боку, говорить против крайніх автономістів, а з другого боку, ще більше мусить свідчити перед централістами про фатальну конечність українського напрямку.

Всхідня війна[100] 1854-56 рр. підняла у Росії попереду національно-державний патріотизм, который після неудач перейшов у народно-реформаторський. Як той, так і другий зачепив і Україну. Після погрому 1847 р. кілька років не появлялось навіть ні стрічки по-українському, і збірник пісень Метлинського лежав у типографії у Києві, поки насилу його випустили у 1854 р. А тепер здавалось натуральним самій адміністрації збудження старих, козацьких традицій, тілько б вони направлялись против турків. Гулак-

* У 1860-і роки часто доводилось замічати, що то з недостатку нових видань старих українських праць, то з реакції против українізму багато дечого про мову українську, про пісні, про старовину київську, про "Слово о полку Ігоревім" і т. п., що вже у 1840 р. высказувалось як аксіома, зовсім було забуте.

Артемовський і за ним інші пішли писати "Сидить Абдул, губи надув"[101] і т. д. Невелику літературну, а ще менше моральну ціну мають ці вірші; але у свій час вони послужили збудженню української ідеї, як і формування "погонців" і "козаків малоросійських". Вони поміщались наївною провінціальною публікою і школярами у тетрадках рукописних творів коло поем Шевченкових — і усе-таки подавали образчик, що українським словом можна говорити і про сучасні діла, котрі були в усіх тогді на гадці. Це був первий, хоть дуже недосконалий, образчик практичної української літератури*. Воєнні неудачі 1855 р. показали патріотам у Росії, не тільки западничого опозиційного стану, але й національного, слов'янофільського, потребу реформ, народної освіти, потребу знати народний побит. Слов'янофіли московські стали виступати як національно-ліберальна партія. Під крилом і у згоді з московським слов'янофільством виступило у лиці п. Куліша і українофільство. Лід, который прикривав українське слово і козацькі традиції, був проламаний: після "Абдула" виплинули "Записки о Южной Руси", котрі найбільш розкупувались у Москві слов'янофільствуючою публікою, "Чорна рада", которої перевод з пам'ятним епілогом поміщались у "Руській бесіді" рядом з "Письмами о древности и самобытности малороссийского наречия" і "Временами года украинского простолюдина" Максимовича, а "Пропо-

* Занятно, що те ж саме ми бачимо на недавніх примірах у провінціальних літературах у Франції, де слугам Наполеона III приходилось переводити "Марсельєзу" на бретонську мову, а бретонські і провансальські поети почали писати у 1870 р. воєнні пісні, а далі маніфести, політичні брошури, а далі й популярні наукові статті і книжки, окрім того ідилічного і віршописного дилетантства, яке панувало у них до війни 1870 р., та романтичних згадок про колишню славу. Дивись "Armana Provençau", 1871-1872 р., і статтю Gaidoz'a "La poezie bretonne pendant la guerre" у "Révue des deux Mondes" 1871, 15 decembre.

віді" Гречулевича викликали рецензію Хом'якова, который бажав швидше побачити "слово боже" на простонародних мовах у Росії. Нове видання Гоголя працею п. Куліша за помоччю московських кружків знову збуджало інтерес до хуторів українських і козаччини. "Народное чтение" почало печатати малоруські стихи з переводами великоруськими. Російська громада ждала емансипації крестян і стрітила через те з ентузіазмом "Народні оповідання" М. Вовчка. Ні одна ще книга українська до того не мала такого успіху, як ці оповідання. Тому причиною був час її появи, коли селяни були в усіх на думці, а окрім того, ще й те, що ні попереду, ні опісля не було української книжки — не виключаючи і Шевченкових творів, часом глибших по ідеях і дужчих талантом, — котора б так була спосібна видержати критику літературну в Росії після Гоголя і Бєлінського, як ці "Оповідання". Як не щиро українським духом повні ці оповідання, але усе-таки ми мусимо признати, що на них видна школа "Записок охотника". Так як українська критика тогді *ще менше існувала, ніж тепер, і так як писателі, пізніше* М. Вовчка появившіся (та і сам М. Вовчок у дальших випусках оповідань), повертали не раз на стару дорогу романтичну, малюючи сільську ідилію ("Три долі") або передаючи безцільно сільські легенди ("Сім братів" і т. д.), то ми й не можемо у тому факті, що перший випуск "Народних оповідань" М. Вовчка доволі одвіча принципам натурально-соціальної школи російської літератури, признати, буцімто література українська консеквентно і безповоротно усвоїла собі ці принципи. Ми мусимо бачити у "Народних оповіданнях" більш мимовольний рефлекс російської літератури школи Тургенєва, хоть і доволі оригінальний, як оригінальний ґрунт народного життя на Україні, ніж чисто самостійну прояву прогресу українських ідей і літератури. В усякому разі поява усіх оповідань М. Вовчка тісно в'яжеться з тим ентузіазмом до крестянства, з тим духом

протесту проти кріпацтва, який опанував російську літературу у часи перед 1861 р. Цей же ентузіазм збудив загальну симпатію і до Шевченка, которого тепер кинулися переводити російські поети і вивищувати критики, забувши на цей раз авторитет Бєлінського.*

На цьому обнявшому усю Росію інтересі до народу, волі, освіти його, на симпатії до усього опозиційного старому порядкові і через те й до усього автономного і федеративного, на симпатії до староруського, києво-новгородського і земськомосковського "народоправного і вечевого" і піднялось українофільство часів "Основи". Але треба признатись, що українофільство показало себе нижче тії ролі, котору йому дав тодішній дух громади у Росії, а вже далеко нижче тієї, на котору воно заявило претензії. І нижче воно показалось іменно через те, що не зрозуміло, що йому дало силу, і виявило претензії зовсім не на те, у чому могло мати силу. Українофіли, за виємом хіба п. Костомарова, не поняли, що силу їм дає народовство, але не націоналізм, оригінальні варіації всеросійського демократизму і автономізму, а не сепаратизм, хоть би і літературний, — і пішли, або лучче, хотіли піти по дорозі поляків, чехів і т. д., заявляючи претензії "історичної національності". Одно з перших питань, которі вони підняли, було питання про розміри літератури української, причому замість того, щоб попереду виповнити ті узенькі з поверхностного погляду, а на ділі дуже широкі рамки "літератури народної", "літератури

* Добролюбов, наслідник Бєлінського, при первому після амнестії виданню "Кобзаря" одвітив на питання, чи можлива українська література: "чому ж не можлива, коли українські писателі, як Шевченко і М. Вовчок, так гарно малюють побит народний", — і вказував українській літературі практичну дорогу: книги для народної освіти, которих, як каже Д[обролюбов], немає ні для Великорусі, ні для Малорусі нарівні. З тої пори як перемінилась ця пропорція! Скажуть: усе через "московське ненажерство". А нащо ж "конституційна Австрія?"

домашнього обходу", котору признавали за ними і їх противники, українофіли ударились жалуватись "на ворогів", на "зажерность московську" та одмежовуватись од "сусідньої", "московської" літератури; замість того, щоб дивитись більш під ноги і докладати працю для будущого, українофіли, як усі націоналісти, дивились більш у минувше, звертаючи на ворогів, на сусід усі біди сучасного. Таким жалкуванням, таким претензіям зовсім не одвічала фактична ціна творів нових українських писателів. Ми вже сказали, що по літературному характеру українські твори і післяшевченкової епохи одміняються своєю неконсеквенцією і одсталостю у порівнянню з російськими і великоруськими після 40-х років. Російська і великоруська белетристика і поезія сих часів не задавалась вже якими-небудь узькими, національними ідеалами: вона старається висліджувати натуру, як вона є, виставля, як стрій і принципи такі або інші життя чоловічого вилилися у побиту чи то вищих клас, чи то великоруського народу, у сім'ї, у хозяйстві, громаді, — і виводить живі типи, найбільше борючись против деспотизму в усіх його формах і проявах, протестуючи не голими фразами, а картинами, типами. Сфера белетристики і поезії усе розширяється, багатство фактичне усе росте, а національність сама собою йде за картинами і типами, узятими з національного джерела. Щоб зробити безспорним те, що ми пишемо про російську і великоруську літературу з 40-х років і виставити паралельно слабість українських творів новіших часів, коли українська література стала виходити з інстинктивного періоду, нам треба було б написати багато, особенно подрібно розібрати хоть важніших українських писателів.

На цей час ми не візьмемось за таку обширну працю, а скажемо кілька коротких заміток про деяких писателів для того, щоб наші слова не були вже зовсім безосновними. Думаємо, що мало хто стане боронити од нашого приговору

українську поезію віршовану після Шевченка. Мішанина напрямків — од сентименталізму (приторні любощі) і романтизму (балади на теми народних легенд або переводні) до сухої декламації або алегорії (цієї могили поезії) на ліберальні теми (вічне засівання ниви), водяниста довгота, переспів по кілька раз одних і тих же тем, мала оригінальність (так що усю нову українську лірику можна признати за макулатури Шевченка[102]) — ось де літературні одміни нової української поезії. У ідеях видна бідність і неясність: родина, вороги, вороги, вороги, слава козацька, воля, а яка? і як?., засівання ниви, а як? угроза помстою, народним або божим судом якось á la псалми, плач на горе, которе привелось терпіть за родину, за Україну, горе, далеко не таке велике, як те, що терпить усякий простий чоловік од експлуататорів, а у кінці опротивілі до нудності жалоби на "долю" — ось що бачить у українських ліриків читатель, привикший до реалізму і соціального аналізу нових європейських літератур. І це усе виходить не тільки од малого поетичного таланту українських віршотворців, але й од того, що вони хотять націоналничати або народничати, підмазуючись під народні пісні.

Більш свіжого знайдемо у белетристів. Лишаючи М. Вовчка, который чим дальше усе слабішав як український писатель, найбільш повістей написали у останні 10- 12 років п. Куліш (найбільш по-російському), п. Стороженко[103], а у нові часи п. Нечуй. Літературний талант п. Куліша, здається нам, вірно оцінив Гоголь у письмі свому до Плетньова, ще як тільки був напечатаний "Михайло Чернышенко". Він признав п. Куліша більш етнографом і істориком, ніж поетом. Історичні романи п. Куліша, особливо його "Чорна рада", вказують велику начитаність, тонкий аналіз, уміння скомпонувати хід дії, але мало живого, дійсного поетичного таланту — уміння родити живі типи. Та таки про історичні романи, коли вони не беруть темою такі близькі епохи, як

романи Еркмана-Шатріана, треба тепер сказати, як каже Пушкін: "умчался век эпических поэм!" Публіка, "почтительно поскучавши" над "Чорною радою", перейшла до дневного порядку. Більш живі повісті п. Куліша із сучасності, що печатались у "Русском вестнике" і "Основі". Але з цих повістей "Потомки гайдамак" є мішанина заміток про старину, годних для "Записок о Южной Руси", з сентиментальною любовною історійкою з немотивованими перешкодами і deus ex machina. "Майор" є повість, котору автор обробив, як видно, з найбільшою любов'ю, і у которій він почасти хотів виложити свої ідеали. Але тут у основі теж бачимо ідилію, сватання з перешкодою, без усяких нових оригінальних психологічних варіантів, тільки приправлену окремішним не стілько народолюбієм, скільки "народностелюбієм", которе вводиться в програму для української молодіжі. "Народностелюбіє", етнографічне дилетантство має свою ціну, як первий початок реакції нерівності соціальній, як романтична форма симпатій до народу, — але ставити ідеалом, щоб получивший європейську освіту народолюбець бив поклони перед 10 000 церемоніями мужицького побиту так само ложно, як заковувати чоловіка і у "салонні приличія". Нехай народолюбці беруть собі розумних жінок між сільськими дівчатами (п. Куліш не рішився, однако, зробити милу Сагайдачного зовсім чорноробочою мужичкою), але коли вони не постараються зразу підняти їх освіти на рівні з собою, то такі пари завсігди будуть фальшею, якою по більшій часті і бувають пари пансько-селянські, хоть би на самих романтичних основах зроблені. Основна ідея "Майора" — це етнографічний дилетантизм на жанжаковській темі — ще смішніша у наші часи, ніж ідея яких-небудь "Циган" Пушкіна. Націоналізм, або етнографічне доктринерство п. Куліша навело його тільки на один сюжет повісті, справді зачіпаючий важний і соціальний інтерес, — це "Совсем другой человек", у

которому, хоть і не ярко і не живо, більш аналітично, ніж колоритно, а все досить ясно представлено, як такі верстви народу, як солдати (додай: писарі, усякі полупанки) робляться ні цим, ні тим — тратять усяку душу і стають якимись автоматами, у суті діла нещасними, однімаючими "цвіт життя" і у близьких з ними. Цієї теми ніхто не міг би розвити так ясно перед публікою у Росії, як українські писателі, а ця тема має інтерес для усієї Росії, як для землі сільсько-крестянської. Але, щоб зачерпнути усю глибину цього поважного морального питання, треба стати не тільки на національний погляд, що, мовляв, уся біда через те, що змосковився чоловік, а поставити перед собою цю тему як загальну психологічну задачу про інтереси і цвіт життя сільського і мішанського, наївного і такого, що наївність стратило, а свідомості і широких ідей не набралось.

Стороженко виявив талант поетичний більш яркий, ніж у п. Куліша. Це, може, самий дужий природний талант у українській літературі за останні 20 років. Але марно ми б стали шукати у нього яких би то не було руководних ідей його літературної праці. Там-сям проглядають у нього запорозькі симпатії, але що тепер зробиш на світі з запорозтвом? І п. Стороженко сходить на безцільне жартування, приправлене хіба наївною опозицією народних анекдот, гідною для часів Котляревського, як "Вуси", або на пересказ старинних анекдот про чудасії і самодурів, як "Голка", або на перероблення старих легенд, ще чудніших, ніж "Страшная месть" Гоголя, забуваючи, що часи гофманівщини не вертаються ("Убогий Марко").*

П[ан] Нечуй, молодший з белетристів українських, показав у первих своїх повістях ("Дві московки", "Опанас Круть"[104]), що його більш усіх, окрім М. Вовчка, торкнула,

* Мова про повість "Марко Проклятий" О. Стороженка.

хоть може мимо волі, школа Тургенєва, і намітив три правдиві типи з українського народного побуту, але, як тільки захотів вийти з наївного натуралізму, у "Причепі" зараз став не тільки тенденційним, але сів на дуже небезпечного коня тенденційності — націоналізм (ще й епіграф узяв з старозаконної літератури!), который довів його до узькоглядства доволі крайнього, который попсував йому вірно задумані характери у його повісті, однявши у них усякий індивідуалізм, а поробивши з них кукли з загальними етикетками — шляхтич, шляхтянка, поляк, полька, — і заставив безосновно зовсім вже ідеалізувати волинське попівство перед шляхтою та ще теж бити поклони перед 10000 етнографічних церемоній побуту Лемішок, а то й перед "самодурством" старого Лемішки (дивись, напр., сцену гашення свічок). У "Новому чоловікові"*, у которому автор зняв опалу з "московських університетів", признавши, що й вони спосібні давати "нових людей", п. Нечуй попереду виявив було, правда, годів на 5-6 запізнившися, знакомство з "Отцы и дети" Тургенєва, а особливо з романами Слєпцова і Михайлова, которі не дуже-то з великим талантом виводили "нових людей", — але попереду зробив свого героя трохи комічним, заставляючи його у дорозі носити у кишені цілу бібліотеку заборонених книг і у бесіді не давати нікому слова вимовити, а у дальших главах зійшов зовсім на старий шлях любощів, прибавивши до них хіба вп'ять етнографічний дилетантизм.

От і майже усе, що дала українська белетристика після М. Вовчка, іменно з того часу, як заявлена була ідея про широку національну літературу українську! Ніхто, я думаю, не скаже, щоб це було багато. І це тоді, як перед українськими белетристами падало кріпацтво, заводився новий

* Говоримо тільки про те, що напечатано у "Правді".

сільський устрій, нове земство, йшло польське повстання, а за ним "обрусіння" з їх трагікомічними епізодами, коли одна судова реформа одкрила масу матеріалу психологічного з побуту народного, сімейного і соціального! Ей-ей, ми б оддали охотно усе напечатане новою українофільською літературою за стенографічний протокол 20-30 сцен у мирових суддей, котрі (сцени) показали б нам нашого селянина з паном, попом, жидом, чиновником, "кулаком"-кацапом, з жінкою, батьком і т. д. Націоналізм український виказав себе не тільки поверховним, не намічаючим, що він не показавсь здібним вичерпати і таку тему, як кріпацтво, як економічна неволя народу, хоть ці теми і прямо в'яжуться з лементом про "долю і волю". А щоб заглянути у психологію сім'ї народної так, як заглянув у неї Островський, напр., — про це й гадати нічого. Против Островського ми маємо оперетки, розводячі й досі методу Котляревського. Тогді, як російська і великоруська література ішла дорогою, виготуваною українськими піснями і казками Гоголя, усе розширяючи її, українці думали, що йдуть справді дорогою Шевченка, коли не розличали, що є у посліднього основного, а що побічне, що сильне, а що слабе і старе.

Мало радісного побачимо, коли од поезії обернемось до наукової прози української за останні 10-15 рр. Ми бачили, що оборонці української літератури, як Добролюбов, вказували на гарячу потребу популярно-наукової літератури української. Перша проба її — "Граматка" Куліша — була, не глядючи на її дорогу ціну, прийнята дуже симпатично публікою на Україні і скрізь у Росії (тільки пани польські настояли на тому, що вона була заборонена у Юго-Западному краю, але це заборонення було більш формою). Перший тогді популярний журнал у Росії "Народное чтение" печатав малоросійські вірші і печатав би і прозу, якби вона була йому досилана. Як ми бачили, теж симпатично усі однеслись до "Проповідей" Гречулевича. Одкриті

після 1859 р. недільні школи викликали гарячу потребу педагогічних українських книжок: майже скрізь по городам на полудні Росії, де були ці школи — а були вони скрізь, — де були гімназії і дворянські училища (прогімназії), которих ученики і учителі учили по неділях народ, — йшли бесіди найбільш по-українському. Тогді ще у Росії не чули про французькі і пруські ідеї державно-національного централізму, а, толкуючи про народну освіту, держались тільки педагогічних поглядів, з котрих нічого не можна було сказати против української мови в народних школах, і педагогічні авторитети у Росії і на місці сам М. І. Пирогов признавали, що вчити в українській народній школі прямо по-російському не педагогічно, а у правобічній Україні, з реакції полякам, которі виставляли свою мову як к р а й о в у, тим дужче говорено про українську мову, як дійсно крайову (дивись "Замечания на проект устава средних и нижних учебных заведений по киевскому учебному округу", видані міністерством нар[одної] освіти, стор. 157; "Мнение совета 2-й киевской гимназии", стор. 196; "Мнение инспектора Чалого", стор. 200; "Мн[ение] совета полтавской гимн[азии]", стор. 313, 314; "Мнение директора волынск. дир. Пристюка" (тепер директор учит[ельської] семінарії у Чернігові), стор. 396; "Мн[ение] учит[еля] Барского", стор. 9; "Мн[ение] ровенской гимназии и дир[ектора] Теодоровича", стор. 26, 27; стор. 114 — "Мн[ение] новгоро[д]-с[еверской] гимназии"; стор. 80, 81 — "Мн[ение] черниговской гимн[азии]" і порівняй з "Мн[ением] кам[енец]-подольской гимн[азии] и директора Бякстера" про Muttersprache* і польский язик, стор. 51, 54, 64, і учителя Ржондьковського про те ж — стор. 156. Звісно, що поіменовані педагоги не одрікали потреби і російського язика в українських школах). То був час кувати залізо: вистав тоді українофіли популярно-наукову бібліотеку і книги, посте-

* Матірня мова (упор.).

пенно переходячі од українського до російського, — і школи народні зостались би за ними. Але рідко хто з них становивсь на педагогічний погляд, більшість стояла на національному. Вона кинулась на спір про ширину української літератури. Тогді, як не було зовсім книг педагогічних українських, підписувались петиції до комітету грамотності, заходились у міністерстві про офіціальне узнання української мови у школах, про те, щоб і "Положение о крестьянах 19 февр[аля] 1861 г." було переведено на українську мову, що, кажуть, і задумувалось, але не виконано через те, що самі голови українофільські не поладили між собою про мову переводу: тогді, як одні думали, щоби зробити "Положение" практично (педагогічно) зрозумілішим для народу, переложивши його на його мову, як вона єсть, другі хотіли зробити це "Положение" пам'ятником національної юридичної мови української, увівши у нього терміни з актів старих і доповнюючи їх новими виробленими. В листах з Києва в "Основу" докоряли луччих професорів університету за те, чому не читають лекції по-українському. (Потребу української мови в викладі у народних школах можна було вияснити з безспорних педагогічних принципів, чого, по меншій мірі, не можна було сказати про заміну понятної усім гімназистам і студентам на Україні мови наукової російської проектованою ще українською). Треба признати, що п. Куліш, хоть і висказував крайні ідеї українського націоналізму, але усе-таки підходив доволі близько до настоящого, дужого боку українського напрямку, напр. у статті "О простонародности украинской литературы", усе-таки і своєю "Граматкою", і виданням "Хмельниччини" показав охоту працювати для елементарної освіти народу, а не тільки для демонстрації прав національності української. Але діяльність п. Куліша була так розмаїта, що він не міг спеціалізувати її на народній освіті. Щодо других, особливо молодших, українофілів і тих, которі стояли ближче до діла, вони вдовольнялись демон-

страціями в хосен самостійності національної у найширших розмірах. Треба признати що перша проба українського видання педагогічного, приспособленого до нових методів і потріб заведених недільних шкіл, — переклад на українську мову букваря (по звуковому методу) Золотова — була зроблена (у Полтаві) п. Строніним, который, як звісно, не тільки не належав до українських національ, але ще й терпів од них укори як "космополіт". Друге було "Таблицы" для читання п. Горячковського, члена подольської недільної школи у Києві, теж уважаної зараженою язвою космополітизму, т. є. признававшою в українофільстві більш педагогічний, ніж національний смисл. Таблиці і буквар п. Шейковського[107] з більш національного українського табору були вже третьою пробою, за которою пішов буквар п. Ященка, а потім "Арифметика" п. Мороза[108]. Цим до самого 1862 р. і кінчилась педагогічна література українська. Між тим і петербурзькі українські національ бачили потребу дати народові українську бібліотеку, хоть, як видно по усьому, не вважали це за саме важне діло у порівнянні з другими, "вищого", як думалось, порядку. Але чи для того, щоб не братись за нову працю, чи з свого етнографічного і поетичного дилетантства задумали вони вдовольнити цій потребі виданнями у маленьких брошурах готових поем, казок, повістей з Шевченка, М. Вовчка і др., з "Записок о Южной Руси" і т. д. Початок зробила "Казка про дівку семилітку", котора, нігде правди діти, не раз робила скандали у школах; немало скандалу наробила і "Очаківська біда", про котору потім говорили, що цим розказом українофіли хотять пропагувати ту ідею, що москаля треба одурювати. Правда, у цій "сільській бібліотеці" були речі симпатичніші, ніж ці казки або "Сіра кобила" і "Півпівника", — але усі вони були педагогічно негідними для шкіл, которі вимагали спеціально для них зробленої бібліотеки, а взагалі треба було більш наукового і утилітарного, ніж казочного і навіть поетичного

елемента, которого доволі є у самих селян. Так ішло діло, поки у 1862 р. п. Костомаров зробив своє завізвання до земляків, у которому признав безплодним для народу поетичний дилетантизм, а жадав наукової і утилітарної літератури для простого люду. Але тільки у 1863 р. появились послідки цього завізвання: у Петербурзі 1-й вип[уск] "Оповідань з св[ятого] письма" о[тця] Онатовича[109] і слабенька арифметика п. Каменецького (?), у Києві — 1-й вип[уск] "Дещо про світ божий". Діло збирання грошей на ці видання велось дуже з великим шумом, демонстративно; зібрано через те, правда, кажуть, до 5 тисяч рублів, але у таких грошах зовсім не було потреби: можна було видати цілу серію книжечок за менші гроші і з меншим шумом. Між тим цей шум у зв'язку з другими причинами, про которі я розказував у статті "Народна просвіта і література на Україні"[110], привели до того, що діло видання педагогічних українських книжок було задержано адміністративним порядком. У свій час українофіли боронили це діло слабо. На це було багато причин, між ними і та, що бібліотека народна була більше у проекті, ніж у руках видавців. Але й тут попереду національні, а не утилітарно-народні ідеї передових українофілів були винні. В оборону свого заміру, зв'язаного з заміром добитись обов'язкового офіціального введення в школи української мови, петербурзькі українофіли доставили записку, що була напечатана у "Журналі міністерства нар[одної] освіти", про окремішності малоруського язика, де на первому плані стояли слова Миклошича про його самостійність і з них виводились ідеї про самостійність малоруської "літератури" против "ворогів її". Педагогічна ж сторона діла, роля народного елемента у школі, хоть би й при державному, зовсім не була вияснена українофілами; про це говорили тогді більш чужі, але педагоги, як Ушинський, Вессель, Водовозов, — поки й вони замовкли, бо діло це було не їх близьке діло. Українські

національні так налякались адміністративною задержкою або так увійшли у ролю "пасивної опозиції", що цілих 8 літ ніхто не надумавсь попробувати, чи не минула вже сила задержки 1863 р., аж поки у 1872 р. не однесли у Києві у цензуру "Дещо про світ божий" — і побачили, що воно любісінько пройшло і явилось другим виданням. Одначе ось вже більш року дальших випусків не бачимо.

Не дуже більше втішну картину побачимо, коли глянемо на плоди цвіту українського націоналізму на полі науковім. Не тільки нічого не появила цінного українська наука на українській мові у ті часи і після того, як з таким громом були виголошені права її на широку самостійність, але мало бачили ми і цінних творів про Україну хоть би й на російській мові. Ні словаря, ні граматики, ні зводу історії України, ні етнографії, ні статистики, ні навіть видання народної словесності — окрім приказок п. Номиса[111], про которі не маємо й досі повної критичної статті, окрім в усякому разі шановного очерка п. Нечуя[112]; не бачимо ми навіть повної біографії ні одного українського писателя, ні компендії літератури української (окрім праць великорусів Прижова і Пипіна), ні навіть повної характеристики самого Шевченка. Багато з цього, що бракує нам, і не можна написати, ставши на виключну національну українську точку погляду: яка, напр., вийде "Історія Южної Русі", коли ми усе до Хмельницького і після його запишемо чорною тінню як царювання Арімана[114]? Яка вийде історія культури або статистика України, коли ми за українську громаду признаємо тільки сільський народ, а за українську культуру тільки 5-6 писателів, писавших його мовою, і т. д. Правда, ми маємо цінні праці п. Костомарова. Але п. Костомаров усього менше національ український: він всеросійський народовець, тільки вирісший на українськім грунті київський русофіл і слов'янофіл. Правда, п. Костомаров сказав багато інтересного і нового про Україну — але через те, що він розуміє її роль в усьому руському

світові; він вмів вловити багато інтересних одмін однієї руської народності, але він постиг ціну і другої і важність їх взаємин для обох і для усієї Слов'янщини. Од того-то ніхто, окрім Шевченка, не зробив стілько для пропаганди українських симпатій, як п. Костомаров своїми "російськими" монографіями. Як не бушували після 1863 р. у публіцистиці централістичні противоукраїнські доктрини, а у науці, у освіченої громади ідеї п. Костомарова все брали верх, йшли вони і у школу, бо на усякому учебнику географії Росії, на усякій географічній або історичній хрестоматії видні сліди творів п. Костомарова (дивись, напр., "Отечествоведение" Семенова, у которому цілком наведені тиради з "Двох русских народностей"). Більше б нам таких "російських", або, як недавно помилився один шановний товариш наш по праці у "Правді", "московських" монографій, як п. Костомарова, про історію, етнографію, культуру, літературу України — і ми не бачили б тієї рівнодушності до неї, яку часто бачимо тепер у самих її дітей після так голосного крику про її національну самостійність! Але п. Костомаров один був, один і зостається! Хто ж заступить його?!

Малость наукової праці про Україну — ось де причина, од чого, як замовкли демонстраційні статті "Основи"[114], то публіка у Росії і на Україні самій майже забула про українську ідею. "Основа" ж (основана на гроші великоруса) змовкла, треба замітить, не од того, щоб її адміністрація задушила, а через безпорядок у редакції. Її мусили замінити галицькі журнали, особливо "Правда". Галицькі журнали подали кілька цінних статей, з котрих між чисто українськими видаються статті пп. Куліша і Нечуя. Але галицькі журнали не мали сили на Україні, де про них мало хто і чув, — а "Мета"[115] і "Слово" 1863-64 рр. мали швидше недобрі, ніж добрі послідки своїми демонстративними виходками. "Правда" майже не має цього демонстративного елемента, але українські приятелі її так увірили себе, а далі й других,

що вони щось роблять конспіраційне і страшне вже однією працею у Галичині над українською літературою, що майже й не пробували ширити "Правду" на Україні, — хоть усякий раз, коли хто хотів привозити і виписувати галицький журнал, він пропускавсь російською цензурою вільно. Треба було, щоб мимо волі українських патріотів заведені залізниці між Україною і Галичиною зробили взаємини між українцями і галичанами частішими, щоб і "Правда" стала більш ширитися у Росії. Але при її малому форматі їй ще далеко, щоб мати силу, особливо наукову, на Україні*. Науковий і артистичний інтерес з усього появившогося на Україні після 1863 р. — окрім видань археографічної комісії, которих судьба не зависить од приватних лиць і которі, по своєму характеру, не можуть мати великого ходу між публікою, і окрім спімнених "Приказок" п. Номиса — мали "Казки", видані п. Рудченком[116], і "Пісні", вид[ані] п. Лисенком[117]. Про перві треба сказати, що видання їх, явившися дуже на часі, бо вже не тільки у публіки, але й для спеціалістів не було у продажі старих збірників української народної мови (у послідніх випусках граматики Миклошича майже усі приміри українські приведені по казках Рудченка), зовсім немає демонстративного націоналізму. Це тим більша хвала п. видавцеві, що він не зостав на віршечках і жалях на те, що Україна гине, а узявсь за спокійну наукову працю, котора послужила і ідеї народній. Тільки мусимо вказати, що перший випуск казок цих вийшов у 1869 р., другий — у 1870, і з тієї пори усе читаємо на йому, що III-й готовиться до печаті. Не дуже-то поспішалось і видання пісень п. Лисенком, которе, як ми знаємо, задумано ще 1863 р. — і з

* Та треба сказати, що після свого поновлення "Правда" не дала ні однії наукової статті і навіть і етнографічного матеріалу, окрім "Сави Чалого", — а між тим багато народних пісень і казок, по меншій мірі, не нижче і як літературні твори, ніж оригінальні писання наших белетристів і поетів.

тієї пори вийшло тільки два доволі дорогі випуски по 40 пісень, та й то з таким антрактом, як од 1869 до 1872.

Отже як не низько спустились після 1863 р. акції українофільства, а усе-таки воно не загинуло. Мало того, воно стало явно підніматися у останні часи, і ми мусимо ждати, що скоро воно підніметься ще більш угору. І підняло його і піднімає не стільки власна праця і воля самих українських національ, скільки те колесо прогресу, которе тягне усю Росію щодо ідей народності, слов'янщини, демократизму, народної освіти, добробуту, науки і т. д. Так уп'ять ми бачимо фатальну незнищимість українофільства у Росії, а з другого боку, його тісну зв'язку з загальним ходом прогресу історичного усієї Росії.

Часи після 1864 р., коли у Росії вже не безсвідомо, як попереду, а систематично висказувались і мали силу на уряд ідеї національного централізму по приміру пруського, коли зложилась система "обрусения окраин", здається, були страшно неприязні українству, которе три-чотири сильних газет голосно кликали "изменою", продуктом "польської інтриги". Правда, гіркі години приходилось не раз переживати щирому українцеві, бачачи, як невіджені руки, усякі "ташкенці" то з великорусів, то з своїх брались, як казано, "чистити" народність малоруську, буцімто засквернену полонізмом і тим тільки й одріжняющуся од "чистої руської", т. є. великоруської. Але заглянувши скрізь поверхність, треба признатись, що система "обрусения" фатально мусила скріпити основу для українського напрямку, хоть, звісно, трохи не таку, яка бажалась українофілам, — почасти од того не таку, що вони без потрібної енергії боронили свої далекосяглі ідеали. Вже один наділ землі крестянам у Холмщині і у Київській, Волинській, Подольській губернії — це така закладка для підняття народу нашого, котора не може не датись взнаки у близькій будущині. Те доволі велике число учеників з селян у гімназіях білоцерківській,

острозькій, у семінарії педагогічній коростишевській, которим мусили опікуватись "обруситєлі", теж факт, который не зостанеться без послідку. Як там, так і там — це справдешній народ український піднімається угору, а він підносить і народність. Потім, як не кричали невіджені обруситєлі про нечистоту народності української, а вони ж мусили заявляти і про те, що край западний — щиро, іздавна руський, вони мимовольно запутувались і мусили покликатись на традиції українські, крайові. Поляки, которі брали ініціативу у гоніннях на українство до 1863 р., з которих деякі, по злості на хлопоманію, швидше готові піддержувати поліцейський централізм, ніж цю хлопоманію, тепер мусили роздуматись (а наперед ще більше роздумаються), що українство — це одна з перепон тому централістичному потоку, который хоче звести і польську народність і там, де вона має усе право жити. Ми думаємо, що ті симпатії, которі іноді на злість "Москві" виказує преса польська у Галичині українофільству, поки що фразеологія або недоладний рощот: українофільство хоче жити і працювати для себе, для свого народу, а не для повертання Польщі 1772 або ще й 1654 р., а на таку ціль українофільства теперішня генерація польських політиків так само мало спосібна згодитись, як і на "змосковлення" Польщі. Але й фразеологія oblique*, й фразеологія затягує людей у діло — і тепер польські національні ідеї, которі, як і треба було ждати, після первої апатії по 1863 р. знов піднімаються на правому березі Дніпра, мусять зводити цоти з українськими. Ми ждемо ще багато клопоту з польським елементом у його краю: не раз і не два ще побачимо ті ж самі клевети, інтриги, що й до 1862 р.; але по усьому мусимо ждати, що на цей раз з польської молодіжі ми бачимо більший численно приплод для "хлопоманії" і українофільства, ніж до 1863 р. З другого боку,

* Зобов'язує (упор.).

підняття польського прапора мусить знов заставити і самих обруситєлів прихилитись і до українського, а показана за 10 років безплодність адміністративно-централізаційної реакції полонізму на полі моральнім облича перед мислячими людьми у Росії і з національного табору, що і тут тільки підняття власних крайових моральних елементів поможе конечне знейтралізувати чужі сепаратистичні елементи і привчить поборників єдинства Росії до мислі, що не може бути, щоб органічне єдинство стало одномертвою одностайностю. З третього боку, той зв'язок системи "обрусения" з політичною і культурною реакцією, який виявився по 1863 р., мусив звернути увагу усього ліберального табору в Росії на загальну, а не тільки провінціальну важність українофільства як одного з звен "нової" Росії, хоть і опирающогося і у старих традиціях.

Це усе більш готовиться для будущого, але вже й тепер ми бачимо доволі яркі покази його. Такими показами вважаємо маніфестацію перед Європою і з сторони російського уряду і польської опозиції фактів української історії, маніфестації тенденційні, але закінчующіся тим, що світ почина визнавати їх, як вони є. Другим поважним фактом ми вважаємо построєння пам'ятника Хмельницькому в Києві після того, як один невіджений, хоть і займавший поважне становище в учебній адміністрації, обруситель з татарського роду[118] не пустив у книгу для шкіл київського округа дуже умірковапої статті про Хмельницького через те, що там те й діло натикаєшся на такі речі, як рада, козак, гетьман. Третім показом ми вважаємо те, що російське географічне товариство у часи, як про "западний край" стали говорити з політичного погляду, винарядило етнографічну експедицію туди і тепер печата 7 томів, або 10 книг матеріалу, по которому можна буде зробити собі образ українського народу. Логічним послідком цеї експедиції було відкриття у 1873 р. виділу географічного товариства у Києві,

який, так само як заведена у зв'язку з противупольською реакцією після 1830-1839 рр. археографічна комісія, має заложити наукову етнографічно-статистичну [основу] для народного напрямку українського, як та комісія заложила її працею історичною. Четверту прояву ми бачимо у тому, що поважніший журнал російський напечатав цілий ряд статей, у которих показав, яку важність має українофільство у зв'язку з питанням про "окраины России", з питанням про порозуміння з поляками, од чого, між іншим, зависить і сила держави російської перед німецькою, про автономію країв і народів у Росії узагалі, про демократизм, без которого не може прогресувати мужицька земля — Росія, і т. д. Статті ці пішли против усієї системи "обрусения" — і, одначе, у одній часті преси російської вони визвали похвали, а друга, котора так багато поламала списів за цю систему, мусила або мовчати, або дуже несміло і неконсеквентно полемізувала.

Дуже, на первий раз глядючи, шкодливі були українофільству ті панславістичні маніфестації, які були послідком пруської сили і Бейстової політики[119] у Австрії. Ось глядіть, могли сказати і казали українофілам, глядіть: ви хочете виділитись з російської літератури, аж ось старі, культурні народи слов'янські, самі чехи кинулись вчитися по-російському, а ваша кість од костей, галичани, ті самі, що, як "Слово" колись, кидали громи на "неситу Москву", тепер питаються: "быть ли малорусскому вопросу?" — і одвічають: "не быть!" На перший раз демонстрація була против українофільства дуже вразлива, і п. Стебельський у "Бояні" кричав злорадно: "Тільки поляки і українофіли не прийшли під знам'я Кирила і Мефодія", — на що п. Руський[120] у додатку до "Правди" (1867) сказав з повним правом: "а під цим знаменем стоявші забули одного гарячого панславіста, автора "Посланія до Шафарика"". Але хто спосібний був поглянути трохи за туман хвильових криків і скоробігучих обставин, той, бачивши перед собою у московському етно-

графічному музеї моделі малорусів і галичан, слухаючи серед панславістичних концертів і малоруські пісні, которих не можна було минути, бачачи, як у Росії і західній Слов'янщині зачинали перебирати факти про взаємини слов'янських народів у минувшості і сучасності, про близость мов люду слов'янського, той мусив додуматися до таких речей: "Е, братця, не обійдеться ця слов'янська хвиля без українофільства! Нехай вчаться чехи російській мові, нехай читають чехи і галичани російські книги і журнали: вони й там зустрінуть українські ідеї, вони встрітять ідеї народовців українських і у вищих великорусів, у писателів, которих поважає вся Росія! Вчіться історії, етнографії Росії — ви там знайдете і Україну; вчіться, росіяни, мовам западних слов'ян, слухайте їх пісні, дивіться на їх костюми — ви там побачите і почуєте багато такого, на що без уваги гляділи на нашій Україні. Толкуйтесь про братання з слов'янами — дійдете до федералізму і хлопоманії". Справді, не на те наша Україна стоїть посеред слов'янства, щоб який-небудь славізм, а особливо панславізм обійшовсь без українофільства!*

І що ж ми бачимо після усього того, як слов'янофіли у 1867 р. у Росії, Чехії і Галичині засудили українофільство, як "ізміну", як дисонанс у слов'янському хорі? Чехи, которі у "Научному словнику", у кореспонденціях в "Zukunft-і" і т. д. говорили так строго про українофільство, мусили недавно признатись, що тільки та партія у Галичині, котора має оратором о. Качалу[121], стоїть на цирослов'янській основі.

* Як з іменем Києва зв'язується невольно щось панславістичне, видно хоч би у тому, що, як тілько назначено було зібратись російському з'їзду археологів на 1874 р. у Києві, так натурально явилась ідея, щоб туди покликати і западнослов'янських ученых і зробити там виставу слов'янських древностей (до XIV в.). Було б дуже жалко, якби галицькі учені з народної партії не явились на той з'їзд і не помогли тій виставі досилкою речей, фотографій і т. ін., з которої може заснуватись у Києві музей, що буде свідчити про місце України, або лучче Київської Русі, у Слов'янщині.

"Голос", "Московские ведомости" мусили або мовчки ковтнути, або коротко похвалити таку пігулку, як промова п. Качали. Слов'янофільська "Беседа" у Москві стала печатати статті п. Костомарова про українські пісні і наготовилась було у 1-ому н-рі за цей рік (1873) печатати статтю про українську і галицьку літературу, прислану сотрудником "Правди". Невольний конець "Беседы" не дав виповнитись цьому заміру, але не може бути далеким той час, коли вп'ять українофілів побачать у московському слов'янофільському журналі, особливо у такому, который, як "Беседа", заявив, що він хоче бути органом чистої слов'янофільської ідеї без псевдослов'янських, на самому ділі реакційних, примішок. Вже одні жалоби централістів у Галичині і Росії на галицьких народовців звернули на них увагу в Росії і українців, і великорусів; а братні долоні, которі простягають галицькі "ташкентці" до Росії з Відня, Львова, і т. д., заставили послідніх придивитись до братів своїх у себе і у них — нові залізниці помогли цьому. І що ж? Ми бачимо, що молодіж не тілько з України, але й з Великорусі охотно братається з молодіжжю "Січі"[122], а ця послідня у книгах і журналах, виходячих у Петербурзі і Москві, знаходить нове оружжя, щоб обороняти свої ідеї од своїх реакціонерів, не по праву надівших на себе клобуки панрусистів і панславістів (дивись статті п. Пипіна і його "Историю славянских литератур"). Поживемо — побачимо ще й не те!

Ці усі причини роблять те, що українофільство в останні часи знов піднімається видимо, — чого ознакою стають не тільки статті про Україну в російських журналах, але й немало книжок на українській мові, появившихся у останні 2 роки. Правда, послідній зріст більш квантитативний, ніж квалітативний* (бо цінних діл маємо тільки 3: "Повісті

* Кількісний, аніж якісний (упор.).

Нечуя", "Байки Глібова" та "Дещо про світ божий"); але він усе-таки свідчить, що є люди, котрі мають потребу говорити по-українському печатно. Остається тільки, щоб розумна і холодна критика справила цю потребу на таку дорогу, щоб вона стала на користь народові і не розстріляла своєї праці на вітер. Ми думаємо, що історично-критичний погляд на минувші прояви українофільства і той спір, который ми хочемо викликати нашими хоть і не зовсім може вірними у кінці, але зложеними, як думаємо, у консеквентну систему поглядами, поможе справити на міцну основу ту працю, котора знов піднімається над українською літературою і народностю.

Ми бачили, що у своєму прогресі українська література завсігди йшла одною дорогою з російською і великоруською, то забігаючи трохи вперед, то одстаючи, но завсігди варіюючи тілько по місцевим обставинам ті напрямки, котрі у Росії звертали увагу на народ, на старовину, на слов'янство. Всякий раз, коли українофільство хотіло виділитись зовсім з цього процесу, воно давало мертві плоди, слабіло. Це є пересторога і на будуще, показуюча, що ціллю українофільства мусить бути не виділятись з Росії і навіть її загальної літератури, а старатись, розвивши свої народні елементи рядом з великоруськими, унести їх у загальну російську культуру і силою її, силою Росії піднімати свій народ і через Росію, через російську літературу і культуру подавати свій голос і у Слов'янстві і Європі. На іншу, безпосередню ролю ми, при обставинах етнографічних, географічних, культурних, не маємо сили, і сили внутренньої, а не тілько побічної. Усі обставини ставлять нам дилему або вибирати цю, усе-таки досить шановну ролю, або бути заставленими одректись од усякої і, не схотівши стати українськими росіянами, стати великорусами, або, коли інтелігенція українофільська, забувши реальні нужди народу, потратить усі сили на літературний дилетантизм, — то й спуститись до пасивних

білорусів. Яку дорогу вибрати, щоб не тільки дати вихід духові українському у російську культуру, але задержати і розвити і слово українське, цю видиму ознаку індивідуальності, — це, думаємо, можна вивести, розібравши друге питання в історії української літератури, которе ми намітили вище, а іменно: які роди літературні писались досі з найбільшим успіхом по-українському?

Не трудно бачить, що ці роди були майже виключно: а) поезія і белетристика, малююча побут сільсько-народний або тих часів, як життя на Україні усіх клас мало піднімалось над сільсько-народним, т. є. за часів козаччини; б) елементарно-наукові книги для сільського люду. Виключень небагато, та й не вони роблять дужчий бік української літератури. Так, у Шевченка "Сон", "Кавказ", "Неофіти", почасти "Гус"* виходять за ці границі, але зате треба сказати, що в усіх цих речах намішано міцного з слабим, і міцне є іменно те, де поет український говорить за селянина; а часом, як в "Неофітах", він прямо так розказує свій сюжет, що зовсім не розбереш, про кого йде діло — про українців чи римлян, — од чого п'єса не виграє у цінї своїй. Про двітри комедійки, навіть про деякі сцени у "Причепі" або про деякі проби п. Куліша писати критики і передмови по-українському говорити нічого. Скільки-небудь обширні статті учені по-українському — це "Перший період козаччини"[123] та Нечуя "Світогляд українського народу". Але у обох сюжет мало виходить з кругу народно-українського, та як придивитись до мови їх, то видно, що вона часто більш правописом та фонетикою одрізняється од російської, на котрій, очевидно, думали автори, як писали. В усякому разі очевидний факт, що поважніші статті учені і публіцистичні статті українських писателів (Костомарова, Куліша і т. д.), навіть і ті, которі говорять про Україну і висказують

* "Єретик" (упор.).

українофільські ідеї, писались і пишуться по-російському, чисто же по-українському ми маємо майже виключно тільки народну белетристику і поезію та початки народно-педагогічної літератури.

І нам здається, що це надовго зостанеться так, бо це одвічає усім обставинам, серед которих живе Україна і житиме довго. Але нам ще здається, що держатись цієї дороги — є одно вірне, которе може зберегти за українською літературою живость, народність, дати їй практичну силу, а через те й забезпечити і саме її існування і прогрес. Я знаю, що багато з друзів наших крикне против моїх слов: це, скажуть, вп'ять та література для домашнього обходу, котору нам з милості зоставляв слов'янофільський "День", ще вп'ять второстепенна роля простонародної літератури. Проти посліднього у принципі боротись не трудно: ми спитаємо, відколи це, панове, стало обидно для народолюбців працювати над простонародною літературою? Простий народ у нас — це 90% народу, коли не більш. Опишіть його побит, навчіть його, це вам праця на 20-30 років. А там побачимо, що треба робити далі. Як не здається узькою рамка простонародної або домової літератури, а хіба ми наповнили ці рамки? Хіба не діло першої практичності наповнити ці рамки і так повести діло прогресу української літератури знизу угору? А по мірі того, як ми будемо взнавати сам народ наш і його мову і розширяти з її поміччю ідеї нашого народу, ці рамки самі собою будуть розширятись природно.

Та й тепер рамки простонародної української літератури не дуже-то узькі, праця над нею потребує таланту і знання немалого, пожалуй, більшого, ніж як попало мішаною мовою написати публіцистичну статтю або й учену спеціальну монографію, які пишуться на других, старих мовах, або перевести яке попало діло з німецької і т. ін. мови на імпровізовану українську. Хіба мало треба талантів, щоб вичерпати усі типи народні у сучасності і у недавньому

минувшому? Нагадаєм, що луччі комедії і драми у Росії (Островського), луччі з нових повістей за 10 літ (Решетникова) — простонародні. А нам здається, що українська література не побідніла б, якби придбала собі хоть по одному Островському і Решетникову, — а праці простий народ нам задасть і на десять. Окрім того, писання по-українському простонародної літератури, т. є. такого, що тепер можна без натяжки і живе розказати мовою, которою говорить народ, співа пісні, каже приказки і казки, обніма собою досить широку систему ідей, которі роблять, мабуть, чи не основне і у літературі повищих клас. Народ наш не так-то бідний, коли не на ідеї, то на запрос на них, не так-то бідний психологічним аналізом, естетичним почуттям — мабуть, чи не багатший деяких з тих українських літераторів, що у недавні часи посипали сіренькими книжечками віршей про кисленькі і солоденькі сюжети. І ми думаємо, не пошкодить, коли усякий прикликавший до себе музу українець представить собі, беручись за перо, публіку з 2-3 мужиків середнього розуму і подума: чи буде їм потрібно і інтересно те, що я збираюсь написати? Думаю, що у такім случаю ми менше будемо мати недозрілого, дилетантського, многословного, а зовсім не ужчого по ідеях. Так, ми думаємо, напр., що, узявши за точку одходу для літератури української простонародні пісні і казки, можна буде перевести образці луччих епосів народних до самого Гомера; з Шекспіра можна буде перевести "Ліра", "Макбета", "Гамлета", "Річарда III", "Тімона Афінського", з Шіллера — "Орлеанську дівчину", "Дон-Карлоса", "Вільгельма Телля", з нової літератури — романи Еркмана-Шатріана, деякі з різдвяних повістей ("Коляди") Діккенса, з "Шварцвальдських повістей" Ауербаха. Добрий матеріал можуть доставити і провінціальні літератури других аналогічних нашому напрямків (Геббель[124], Клаус Грот[125], Консцієнс[126] і т. д.), тільки треба з

великим вибором зостерегатись дуже ідилічного, а то й ретроградного романтизму, которим часом одзначуються так звані народні поети і напрямки у Європі ще більш од українофільських. Так ми здобудемо цілу немалу поетично-белетристичну бібліотеку на простонародній, т. є. живій мові.

Немала праця настане, щоб виготовити потрібну народові бібліотеку наукову. Ми думаємо, що те, що тепер у Росії офіціально не допущений язик український у школу, має свої вигоди. Цим часом можна покористуватись, щоб наготовити українську популярну енциклопедію, не глядючи на офіціальні програми, а глядючи на потреби чистої науки. Ми думаємо, наскільки знаємо народ наш з власних зустріч і з таких статей, як п. Куліша про кобзарів або н. Костомарова "Воспоминание о двух малярах", що у нашого народу Перебендя — живий тип, так що він способен був би прийняти з науки не тілько шматочки або одні грубоутилітарні статейки (спаси біг, хто й те подає), а стиснуту, але систематичну науку, викладаючу закони життя природи і чоловіка теоретично і свободно. Для того ми думаємо, що одно з первих діл української молодіжі мусить бути: написати популярну енциклопедію по системі позитивізму; арифметику і геометрію, механіку і астрономію, фізику й хімію, геологію з біологією, антропологію і соціологію, наскільки, конечно, можна її тепер виложити. (Про цей план, одначе, ми надіємось поговорити осібно). Цю енциклопедію, звісно, треба написати тоном спокійним, об'єктивно, без демонстрацій, але твердо і ясно провести крізь метод свободного розуму, которий покладається тілько на себе і більш ні на що. Таку енциклопедію написати — потрібно буде немало праці і праці спеціальної, щоб вибрати не рутинні, а самі характерні, та ще й приспособлені до місцевих обставин факти, покриваючі теоретичний скелет наукових законів. Особливо потреба праці і учености для викладу антропології і соціології, котора умістить у собі

і так звану історію. Про цю працю ми можемо сказати з Гамлетом, "що така річ достойна бажання гарячого!"

Такого роду література поетична, белетристична і наукова, в які-небудь 5-10 літ систематично розпускаючася, не може не ствердити симпатію до малоруського діла у громаді освіченій у Малорусі і у народі підніме повагу до мови малоруської і стане твердішою основою для малоруського напрямку, ніж усякі романтичні згадки про те, як "було колись", та "більше не буде", ніж плачі на "долю", ніж маніфестації прав малорусів на повну національну самостійність, маніфестації, практичний запровід которих розвивається обставинами, у которих живе край, а і сам край почасти до них холодний. Без голосних та безплодних фраз, без маніфестацій прав, которих немає сили запровадити, которих навіть не завсігди можна й боронити теоретично (бо партія централістів на Русі усе-таки не безсильна і на Україні, і у Галичині), без зачіпання тепер вже існуючих живих інтересів, которі в'яжуться з усім устроєм державним і культурним на Русі, зросте жива і міцна, народові потрібна література українська, котора проб'є собі дорогу й до шкіл офіціальних.

По нашій системі, опираючійся на факти існуючі і од них ідучій дальше, треба, щоб українська література і у своїй народній сфері показала можливі уступки і шанування російському державно-культурному елементу, з которим народові нашому приходиться мати діло і прийдеться мати його ще більше, бо колонізація на Україну великоруського елемента, підстави державної центротяжної сили, може тілько вбільшуватись з часами і особливо у Новоросію, котора може чи не буде мати більше ваги у будущині полудня Русі, ніж середньодніпровська Україна. Ця пошана мусить консеквентно проводитись а) і у матеріалі української літератури, бо нудно було б, якби вона говорила народові тільки про спеціально українське і не розказувала

б нашому народові про краї великоруські, про устрій держави, про загальні цілі і інтереси Росії, котрі так торкаються щоденного життя і українця; б) у правописі і в) у мові. Не кидаючи принципу фонетичної правописі, українським писателям не треба, однако, гнатись за графічною оригінальністю, котору тепер часто змішують з фонетичним принципом у правописі, бо, видумуючи без конечної потреби нові їх комбінації, ми тілько утруднимо нашому народові, который учиться на російських книгах у школах, читання наших видань, утруднимо допуск наших книг у народні школи, которого зовсім не трудно добитись, коли ми всвоїмо цю систему, котору я стараюсь тепер виложити; коли б же ми, що дуже невіроятно, й добились виключного панування нашої грамоти у школах (для того треба б скорого і широкого зросту літератури української і зросту національно-українських ідей серед крайової громади, такого великого і скорого, которого без чуда ми не можемо придумати), то дуже одрубна графіка українська утрудняла б нашому народові і громаді доступ до російської літератури, котора все-таки має більше шансів бути багатшою од української.

Пишучи і саму популярну енциклопедію або викладаючи народові ідеї, виходячі з кругу сільського побуту, ми підходимо до питання про українську термінологію. Якої системи держатись при цьому ділі? Націоналісти попереду усього будуть ставити одрубність, оригінальність і для цього або будуть стояти за те, щоб видумати усі терміни зовсім народні (як зробили чехи або і як то хотіли зробити петербурзькі слов'янофіли часів Шишкова), або одшукувати слова архаїчні по актам, або брати терміни у чужих народів, дальших од того, од которого хочеться оборонити автономію свою. Всіх цих замірів початки ми бачили й бачимо серед українофілів. Між іншим, послідній робить те, що українці, коли пишучи зустрічаються з терміном, которого нема в

українській сільській мові, то, аби не брати російського слова, беруть польські, а, навиворот, галичани, котрі, по понятним причинам, немало заносять у свою річ полонізмів, іноді, щоб одрізнитись од поляків, беруть терміни російські, а часом ті і другі, щоб не сказати ні по-польському, ні по-російському, кажуть по-латинському або й по-німецькому. Од цього новоукраїнська, або лучче українофільська, мова літературна кидається у очі своєю пестротою: що рядок, то зустрічаєш: в п л и в (замість в л і я н і є, которе усе-таки ближче до українського і вірніше переводить influence, бо задержує корінь "лити", а не "пливти"), р о з в і й (у которому простий українець та, думаємо, й філолог почує корінь віяти, тогді як р а з в і т і є усе-таки ближче до українського, бо й цей має: розвиватись — дивись пісню: розвивайся, луже!); з а с а д а вм[істо] о с н о в а, котра однаково гарно і для великорусів, і для малорусів; с п р а в о з д а н н є, сторона (коли є чистіше українське — б і к), м н і н н є (коли можна б сказати д у м к а), а т о й а н к е т а, с и т у а ц і я, о п і н і я, а р т и к у л (з которим рядом бачимо і с т а т т я — слово, которе у останні часи галичани охотніше вживають, ніж українці, бо а р т и к у л вживається поляками; с т а т т я, здається, й старе українське слово), а л і я н т и, ш к і ц і т. д. У часи "Основи" деякі одшукували й такі слова з XVII в., як с п у д е ї, коли й наш народ зовсім привик до більш правильного слова с т у д е н т и. Виробка термінології і вповнення мови народної — це діло, которе вимагає великого знання (которого нам з браку словаря нашої народної речі недостає), — тут можуть стати у пригоді й одноплемінні мови, і перевод слов, і виробка нових од народного кореня, а часом потрібно буде зоставити і слова романські або германські, коли вони вже вжились скрізь, увійшли у громадську мову, прийняли народну фонетику і дали од себе походні. Але, окрім таланту і знання, треба, щоб вироблячі термінології завдались правильною систе-

мою і ставили первою ціллю не те, аби, що б то не стоїло, виробити термінологію одрубну, але понятну народові, практичну. Отже, поглядаючи на обставини, у которих живе більшість українського народу, ми знаходимо практичним, щоб усякий раз, коли не можна знайти або придумати українського слова, у которому б корінь був видний ясно і понятний (а часом, окрім народного з малоруських губерній, тут може стати у пригоді і мова староруська або народні наріччя великоруські, которі мають багато характерних слов, дуже близьких до українських), — щоб брати термін російський, который часто виходить і церковнослов'янський або й старомалоруський, або досить вірний перевод на слов'яно-руські корені переміну романського або германського. (Ми думаємо, що при такій системі українська термінологія, не втративши своєї цілі для України, послужила б немало у користь і самим великорусам, коли б вони звернули увагу на зближення теперішньої термінології до народної мови).

З такими основами і з такою практичністю виготовлена література белетристично- і науково-народна знайде собі дорогу і в школи українські, для которих, одвічаючи нашим принципам, ми проектуємо читанки українсько-російські по ідеям педагогів школи Песталоцці. Такі читанки, як і така література, поможуть не втратити нашому народові свого существенного, користувавшись російським.

По тим же принципам мусять бути упорядковані цілі круги літератури педагогічної для гімназій і ряд академічних праць. Замість того, щоб видати по-українському яку-небудь тригонометрію або логіку Мілля і т. ін., що зостанеться ізольованим і безплодним, важніше для української ідеї, щоб і українці, беручи вищу науку у гімназіях і університетах, знали, що таке Україна, і великоруси знали, що таке Україна у Росії і у Слов'янщині, т. є., значить, яка її мирова

роля. Показати це можна тільки йдучи тою дорогою, яку проложив п. Костомаров, пишучи "Богдана Хмельницкого", "Последние годы Речи Посполитой", "Две русские народности", "Стеньку Разина", "Севернорусские народоправства", "Черты народной южнорусской истории", "Мысли о федеративном начале в древней Руси", — розказуючи, що таке Україна і народ її у своїй природі і у зв'язку з народом великоруським, що її в'яже з старою Руссю, з усією Руссю народоправною, яка її роль серед держави Польської і Московської і яка її, значить, може бути роль у новому європейському союзі народу руського, Росії і у готовляющомуся такому чи другому союзі слов'янсько-народному. Це усе вияснити громаді і на Україні, і у Великорусі (при холодності або при неприязні которої українське самопізнання не може йти вспішно) можна тільки через мову і літературу російську. Цим-то дужим орудієм мусять покористуватися українські патріоти у цілому ряді праць академічних, педагогічних і спеціальних. Нехай українські філологи видадуть граматику і словар малоруський та нехай вияснять відносини мови малоруської до церковнослов'янської і нових слов'янських до староруської і до народних нарічій старих земель білорусько-великоруських; нехай історики українські вияснять відносини історії української періоду козацтва і старої Русі Київської, нехай вкажуть на всеруську важність історії Русі Литовської і самого польського періоду історії Западної Русі, на культурну важність Віленсько-Львівсько-Київської Русі XVI-XVII в., на зв'язок її з Росією XVIII в., на політичну важність козацької України у загальноруському питанні про Чорне море, у так званому "восточному питанні", питанні всесвітньої важності, на культурно-державну важність малоруських переселенців у Московщину XVII-XVIII в., на вклад малоросіян од Димитрія Ростовського до Гоголя і Костомарова у літературу і науку Росії; хай етнографи малоруські вияснять, що є високочоловічого у

характері, поняттях малоруського народу про світ, про сім'ю, громаду, виявлять, які таланти він має у собі. Тоді ми побачимо, чи так холодна буде українська і великоруська громада до українофільства, як вона холодна тепер до українського романтизму або сепаратистичної фразеології. Популярність, яку має п. Костомаров в усій Русі, в таборі космополітів, як і націоналів, дає нам право ждати найлуччих результатів од ряду учених праць українців, зроблених по його дорозі. Додайте до цього працю артистичну, скульпторів, живописців, музиків, співців українців, которих немало є по Росії, которі, по характеру краю і своєї роботи, не можуть не держатись столиць і там або не можуть слідити за українськими тенденціями, коли вони скриваються по провінціальним кружкам, коли вони не в'яжуться з широкими народними і культурними інтересами Росії, або, як співці, не можуть не збувати з себе українство, коли українських музиків або немає, або вони мало що роблять. Хай тільки українські артисти не ганяються за поверхностним демонстраційним або костюмним націоналізмом, як то роблять поляки, що б'ють уперве на те, як би побільше намалювати Понятовських та Сигізмундів та кунтушів, як би виставити своїх цяцею, а чужих какою*. А нехай завдаються загальними чоловічими питаннями психологічними, шукаючи для них фактів в українському життю і історії. Три-чотири скульптурні групи, картини, опери на теми з пісень народних, на сюжети, як Маруся Богуславка, Хмельницький, Немирич, Дорошенко, Палій, Данило Братковський, Сава Чалий,

* Які історичні неправди намалював Матейко у "Стефані Баторії", напр., думаємо, розказувати нічого неполякам і не німецьким централістам. А у Відні виставлена картина другого небезталанного живописця польського — на яку тему, як би ви думали? Ріхард Вагнер дає концерт при дворі королеви Бони, а слухають його у костюмах XVI-ого в. Моцарт, Бетховен, Ліст і т. д.

Гонта і т. д., — і зразу буде звернута увага усього світу на українське іскуство*.

У зв'язку з працею науково-артистичною над українським матеріалом мусять стати учебники для середніх шкіл, которі б теж уводили у сознання усієї Росії, що то таке Україна. І позаяк справді Україна жила по-своєму усіми тими моментами життя соціального і культурного, що і другі краї Росії, а позаяк варіації українського життя на загальноросійські теми були завсігди оригінальними і яркими, то у розумно і науково упорядкованих учебниках руської філології, географії, історії, літератури знайдуться логічні рубрики, куди можна вставити усі характерні факти про Україну, усі прояви її духу і життя. Так, історичні граматики руські мусять бути вироблені так, щоб у них

* Ми маємо тепер вже трьох музиків, которі виявили себе виданнями українських пісень. Це п. Лисенко у Києві (2 вип.), п. Рубець, проф[есор] консерваторії у Петербурзі, що, окрім 3 вип[усків] пісень, видав недавно ще 216 мотивів і організував у Петербурзі хор співців, п. Чайковський, проф[есор] консерваторії у Москві, що упорядкував 1 вип[уск] дитячих пісень великоруських і малоруських. Од цих пп. ми можемо надіятись коли не опер українських, таких, які Глинка зробив з великоруських мотивів, то хоть основи для них. З "Киевлянина" бачимо, що п. Лисенко написав музику на куплети у оперетах "Різдвяна ніч" і "Чорноморський побит". Добрий це, може, буде початок, але це усе-таки іграшка, усе дорога "Наталки Полтавки", а не поважна опера. По усьому видно, що музикам-українцям бракує лібрет, бо драматична література на Україні не цвіте, а у Росії тепер композитори майже прямо беруть драми Пушкіна, Мея лібреттом для опер. Ми провидимо ще одну трудність для української опери: це питання про мову лібретта, особливо од того, що у Петербурзі і Москві (а там тільки є великі трупи співців, та й завсігди подобає пророку явитися в Ієрусалимі) український текст був би не зовсім можливий. Так як у опері діло головне — музика, то ми б подали голос за російський текст українських опер, щоб тільки дати їм ширшу ходу. Але треба сказати, що у столицях дуже люблять українські пісні і оперетки, і такі старомодні, як "Наталка Полтавка", що недавно грались у аристократичному клубі у Петербурзі, а недавно з "С[анкт]-Петерб[ургских ведом[остей]" ми побачили, що примадонна російської опери у Петербурзі з великим мастерством співає українські пісні, которими робила фурор на двох концертах у Варшаві. Це усе показує, що для опери української є і співці, і публіка, — нема тільки опери.

найшла собі місце і характеристика старого книжкового западноруського язика, который мав вліяння і на теперішній російський літературний язик, і теперішнього народного українського. В історико-літературних хрестоматіях мусять бути показані зв'язки мови літописної, мови й характеру "Слова о полку Ігоревім" і усієї літератури Русі удільно-вічової з малоруською народною мовою і поезією. Багата, хоть досі не зачеплена ні одним українцем (бо про це писали досі тілько великоруси пп. Пипін, Тихонравов, Веселовський) література повістей XVI-XVII в., багата, але зовсім не займана з літературного боку література мемуарів малоруських XVII-ого і XVIII-ого в. знайдуть собі місце коло таких же повістей великоруських редакцій і вкажуть, як малоруські редакції були їм образцем, коло біднішої мемуарної літератури (ми кажемо про мемуари до половини XVII-ого в.) великоруської. Література релігійна періоду перед унією і після неї, помістившись рядом з літературою, групуючоюся коло "Стоглаву", справи книг, розколу і єресей великоруських, покаже, наскільки український період "возрождення наук (renaissance) і реформації" був ближче до європейського, ніж московський, і вияснить лучче ту роль, яку грали і у Москві українці перед і у часи так званої реформи Петра В[еликого]. Те ж саме, з другого боку, вияснить аналіз української драматичної літератури, котору Дм. Ростовський і Феофан Прокопович пересаджували у Великорусь серед реакції чисто великоруського кліру. Само собою розуміється, що пісні українські і думи мусять поміститись коло пісень, билин і козацьких пісень великоруських і, конечно, не програють од такого сусідства, а покажуть, що дійсний розвитий історичний епос має руський народ тілько на Україні. Так само нова українська література поміститься у тих главах, де буде річ про приклад сентименталізму, романтизму, слов'янофільства, русофільства, соціалізму до живописання побиту народного і ста-

рини у Росії Великій і Малій. Так же розміститься факти історії політичної і гео- і етнографії української у курсах історії і етнографії Росії. Самий метод цей не буде новиною: і тепер поважні учені і педагоги російські, не тільки малоруси, як Максимович, але й великоруси, як Шевирьов, Буслаєв, Тихонравов, Галахов, Іловайський, Семенов і т. д., робили це у своїх монографіях і курсах; новий зовсім у нашому програмі тільки увод літератури новоукраїнської у курс історії літератури у Росії. Треба признати, що названі учені і педагоги великоруси говорять завсігди з великою повагою і симпатією про історію, мову, поезію, культуру України, тільки, поневолі, дуже коротко (дивись напр., Галахова курс літератури р[уської]). Українці, натурально, мусять сказати про це усе подрібніше. Тільки, коли ті педагоги, що у молоді літа свої, у 1859-1863 рр., так україно-фільствували в Києві і Харкові, а особливо у Пепербурзі, і досі не наготовили курсів, написаних по такій системі, то причиною тому, окрім провінціально-української ліні, ще й національний сепаратизм, который іногді так гарно може прикривати лінь і брак енергії і науки. По нашій думці, історії культури на Україні не можна написати науково з одрубно-національного україно-фільського погляду: вона вийде дуже уривочна і одностороння; історія наукова мусить розказати усі факти, которі мали вліяння на життя краю і народу, а таких фактів більшість спільна Україні з Великоруссю. Але хто би стояв і на погляді узько українським, ми того спитаємо: чи практична така дуже вже пасивна опозиція, в силу которої не тільки з учебників, писаних bona fide* великорусами, але й з уст учителів ех- чи тайних україно-філів малоруська молодіж виучується знати, куди скочив кінь Іллі Муромця з села Карачарова, заінтере-

* Щиросердно (упор.).

совується справді інтересним Котошихиним, бере за історичний факт легенду про Сусаніна і т. д., а не знає нічого про думи українські, не чує про Самовидця і Величку, про Данила Братковського, не чує наукової критики Квітки і Шевченка, т. є. критики, основаної на історії культури XIX-ого в. у Європі і у Росії? Чи не помагаємо ми самі тому, щоб виростити на Україні правдиво вже не руських, а тільки великорусів? А цього зовсім не треба не тільки з українського, але й з російського, з слов'янського погляду. Та система, котору ми викладаємо тут, іменно захоронить нас од такого "омосковлення", не торкаючи у русизмі того, що є у йому основаного на справдешніх фактах і інтересах краю і народу.

Цю систему ми вивели не з фантазії, не з суб'єктивних поглядів і бажань, а з холодного розбору фактичного стану літератури і культури у Росії. Ми мусили прийти, як бачив читатель, до таких виводів, що у Росії є не дві літератури, московська і українська, з которих одна держить гегемонію тільки б то через офіціальний гніт, а друга старається з-під нього вибитись, а є три літератури: а) обща — руско-європейська і б) і в) дві народних, місцевих — великоруська і малоруська. Цей вивод ми взнаємо фактом, з которого мусимо іти у будуще. З минувшого і теперішнього ми гадаємо і о будущому і виводимо систему діяння для нас а) яко граждан великого союзу народів, переважно слов'яно-руських, Росії, которими ми перестати бути не можемо і не хочемо, бо ми б утратили більшу половину своїх моральних інтересів і одреклись би од своєї світової ролі, і б) яко сини українського народу. Ми думаємо, що у будуще нам треба йти свідомо, так само як ішли ми досі фатально, інстинктовно, — т. є. не одриваючись од Росії не тільки політично, але й морально, не кидаючи російської літератури і у приязні й до великоруської розвивати народну малоруську, бо цілі народу великоруського такі ж самі, як і малоруського,

а до цих цілей йде й та дуже одностайна інтелігенція руська чи російська, котора складається з великорусів і малорусів і котора нові європейські ідеї приклада на службу мужицькій нації руській — малорусам і великорусам*. Виложену нами систему діяння ми вважаємо не тілько практичною, але й такою, котора може захоронити правдиву користь народові, збудити нам симпатію громади на Україні і у Великорусі; з цією системою ми, не перестаючи бути українцями, не стратимо тієї сили, яку дає нам російська держава і культура, сили бути у пригоді свому народові, слов'янству і світу. Ми вбільшаєм ще цю силу, збудивши у Росії друге джерело народного генія, не меншого од великоруського, которому на теперішню добу історія дала перевагу у Росії.

Друга система, націоналізму українського, здається простішою і через те вірнішою і буцімто легшою. Але усі системи, вироблені у кабінеті, прості — та чи вірніші і легші? Якби я не боявсь наложити грубо палець на недавні

---

* Ще раз спитаймо, од чого "Основа" мала тілько 800-1000 підпищиків, а "Современник" — 4000-5000? Од того, що "Основа" говорила тілько про діла українські, та й то більше про минувше, ніж сучасне, а "Современник" — про усю Росію і Європу. Отже, життя самої України зависить од такого чи другого ходу культурного, соціального, політичного усієї Росії, а цей зв'язується з життям Європи.

Ніхто не скаже, що треба українцям усім залізти тілько в романтично-літературні інтереси, — усякий признається, що навіть самий зріст, напр., української літератури і школи зависить, напр., од закону про печать, од сили земських і громадських прав у Росії і т. д. Значить, українці конечно затягуються в літературу і політику всеросійську, значить, український журнал, щоб мати таку ж широку публіку, як всеросійські, мусить давати такі ж статті по всеросійським і всесвітнім питанням, як і "Современник", "Вестник Европы" і т. п. А тут конечно і случиться те, що і случиться завсігди з українцями ученими і літератами, близька і готова мова одтягне їх од праці над виробкою нової, хоть би колись і ще ближчої до української народної, і український журнал фатально стане $^{2}/_{3}$ російським, а $^{1}/_{3}$ українським і по матеріалу, і по мові. Можна плакати на це — та що ж, коли "ин закон противувоюющ во удех наших".

факти, на живих і близьких людей, я міг би немало розказати фактів з недавньої практики українофільства, quaque ipse miserrima vidi et quorum pars magna fui*. Поминаючи такі факти, як те, що початком національного відродження і пропаганди українофільства було збудження расових ненавистей (признаймось нелицемірно у цьому хоть серед себе)** я зупинюсь на таких фактах, як праця над словарем російсько-малоруським, коли нема малоросійського, при чому йшли спори про те, чи треба перенести у малоросійську мову усякі абаси, абати, абстракти і т. д. без переводу, чи видумати на усяке таке слово своє; згадаю про переводи — усе для вбагачення мови української і літератури, маючих такі ж самі права, як і "московська", — чого попало з Байрона, Гейне (найбільш з переводів, навіть і не французьких, а прямо російських), а то й Пушкіна, а то й Фета[132] і т. д. Коли вказувалось з чийого боку про мішанину, пестроту і мертву неорганічність нової української мови, про дилетантство, безсистемність, одривочність літературних праць, про нікчемність їх — бо їм немає публіки, — на це одказувано: так починались усі літератури, а і сама російська у XVIII-ому в.

Правда, так починались коли не усі, то багато національних рухів, багато літератур. Але чи усі дійшли справді до того, щоб стати своїм народам у пригоді, чи усі задержали хоть свої народності од смерті? Правда, так починалась російська література у XVIII-ому в. Але раз, то був XVIII-ий в., а тепер XIX-ий, а удруге, там література

* Яку я бачив у всій мізерності і великою частиною якої сам був (упор.).

** Недавно хіба ми не читали примітку до слова р а й я, що так і москалі звуть українців хахлами, цебто відносини малорусів до великорусів рівняються до сербо-турецьких? А то, що й на Україні великорусів звуть кацапами, то й нічого! Те й діло, коли зайде річ про самостійність мови і літератури української, читаємо фрази: "Москалі кричать" і т. п. А хіба Даль і сам Лавровський, хіба Чернишевський, Добролюбов, Пипін, А. Григор'єв[133] і не москалі?

почалась яко потреба держави і йшла дальше униз, розширяючи свою сферу, — та й то стала живою і кріпкою, коли торкнулась зовсім до хлопського низу, держучись руками за європейський демократизм. А де наш двір, наша держава, навіть наша українська аристократія і буржуазія? Хто ждатиме у нас 100 літ, поки ми діждемось Пушкінів і Тургенєвих од наших Тредьяковських[133]? Ми заявляємо права наші іменем народу, хлопства; ми жадаємо освіти на його мові для того, що він не розуміє мови російської, що вона для його мертва. Так і не будем же починати нашої літератури з виробки нової мертвої мови, а приложім наші сили прямо до хлопської літератури на живій хлопській мові*. Коли історія зоставила нашу народність тілько в хлопстві, а ми звемо себе народовцями, так і приймемо чесно те ім'я, которим думали вразити нас вороги: признаймо себе чесними хлопоманами. Будем працювати поперед усього як українські хлопомани. А така праця не тілько не вимагає розриву, але веде к союзу з великоруською хлопоманією і з європейсько-руською демократією, которих органами служать великоруська і російська література. Праця для самого хлопства, праця учена над елементами українського духу в мові і історії — ця праця, з которої ми тілько і можемо набрати аргументів в піддержку і для пропаганди нашого напрямку, займе нас, по меншій мірі, на 15-20 літ.

* Недавно заявлена у "Правді" ідея п. Сакуна про те, що треба вибирати з діалектів українських форми (логічно також і слова), найодрубніші од великоруських, є свого роду прогрес перед доктриною, по котрій для нової української літератури брано слова, форми і т. п. польські, слов'янські, а й латинські, аби тільки виробилась оригінальна мова. Але й пан Сакун ставить на первому плані оригінальність мови, а не її зрозумілість, т. є. пряму вигоду народові. Можна і з живих діалектів вибрати такі форми і слова, що в сумі вийде мова мертва і непонятна; це не буде мова — більшість мови більшості народу, — а коаліція меншостей. І п. Сакун націоналізм a tout prix (за всяку ціну — упор.) ставить вище нужд і пригоди народу.

За останні двадцять — тридцять літ всеросійська культура дуже набралась великоруського елемента; за двадцять літ, коли ми будемо вести розумно і систематично свою працю над українським елементом, вона може прихилитись і до нашого. Та за двадцять — тридцять літ хто знає, де ще стане центр культури у Росії, що станеться з теперішньою Росією і Слов'янщиною? Будем же працювати для свого хлопа у братерстві з другими, хто для своїх працює, — а там далі підемо, куди нас поведуть воля і інтереси нашого — коли б ми мали цю честь сказати: нашою працею просвіченого і вольного хлопа!

IV

Вияснивши, що таке на фактах є література російська, великоруська і українська у Росії, чим вони різняться одна од другої і у чому зв'язуються, я можу гадати, що звалив з своїх плеч саму важку гору. Тепер зостається сказати про відносини до них галичан, причому можу тепер говорити коротко, позаяк факти своєї історії читателі галицькі, звісно, знають лучче мене.

Ми бачили, що на відносини літератури російської і української не можна дивитись, виходячи тільки од фактів чисто етнографічних і діалектичних, бо літературу робить уся совокупність життя історичного. Од цієї причини виходить, що література українська є тільки різновидністю культури російської. Од цього ж виходить, що література галицька зовсім не таке одно з українською, як думають одні, і ще менше одно з російською і великоруською, як бажають другі. Українці — граждани Росії, галичани — Австрії, а у ній — Галичини, а це не одні тільки географічні

імена, а соціально-культурні типи, доволі один од другого одмінні: російський українофіл навіть ближчий по усьому моральному складу до освіченого великоруса, ніж до галицького народовця; про галицьких святоюрців вже й казати нічого.

В ті часи, як святоюрські патріоти галицько-руські у перший раз виступили скілько-небудь зорганізованими у літературі і політиці і признали себе частю українського народу у 15 м[ільйонів], вони не були українцями; так і після того, як вони об'явили себе частю 60 мільйонів руського народу, вони не стали росіянами. Як п. Дідицький не походив на Шевченка і Костомарова, так не походить він і на Пушкіна або на Тургенєва і Герцена. Уніатство, за которе галичани держаться й досі, як за одміну їх національності, переважно — а колись виключно — церковна освіта, виховання по семінаріях і на теологічному факультеті, сила польських, а потім німецьких ідей найбільш бюрократично-австрійського складу, одірваность од народу мабуть чи не тричі, виховання без усякої руської мови, а особливо без своєї народної (бо церковщина, польщина, латинь і німеччина дальш од галицько-народної мови, ніж російська од української), — ось де обставини, серед которих зросла галицька інтеліґенція старшого покоління, серед которих піднялась вона — і то не стільки сама по собі, скілько підгонювана другими (німецькою бюрократією), яко національна партія, коли зачалась галицько-руська література. А ці обставини — діло не послідньої важности, у тім числі і те, що галицька література не держиться своїми силами: колись вона держалась силами святоюрського кліру, підпираного бюрократією, тепер припадають їй окрухи од слов'янського благотворительного комітету; часами не обходилось і не обходиться і без польських або зависящих од поляків грошей. Важне діло і те, що галицька література висунулась або була висунута яко ознака національно-політичної

боротьби, — а як ця боротьба от'ять-таки ведеться не стільки власними силами, скільки зависить од побічних політичних комбінацій, то од цього тим більш література галицька прийняла не стільки культурно-соціальний, як російська, великоруська і українська, скільки національно-політичний, або, сказати б, публіцистичний характер, од чого і виходить та перемінчивість усякого роду, навіть і наукових поглядів, коли переміняються політичні обставини з боку Галичини і без її волі, міняється вітер політичний.

Ці усі обставини, при которих почалась і живе й досі література і політика галицька старшого, або святоюрського, або рутенського табору, не могли не одріжнити її од російської в усіх трьох видах послідньої. Коли хто любить шукати аналогії, той, пожалуй, знайде у Росії аналогію святоюрсько-рутенському націоналізму хіба у слов'янофільстві часів Шишкова, т. є. первої четверті нашого віку. Тільки до "старого слогу" і клерикально-національних ідей благочестивого адмірала треба додати ті одміни, які накладаються сусідством з єзуїтами і ультрамонтанами, та послідки конституційної формалістики, бо трудно щолибонь інше винести з конституції, не самим краєм виробленої і даючої зразу людям цього краю і народності підначальний стан, який дає австрійська конституція русинам. Одних, і то полувимовлених, демонстрацій за єдність з Росією після 1867 р. не було доволі святоюрцям, щоб стати росіянами, тим більш, що вони водяться, і з ними хотять водитися у Росії хіба ті, що самі ближче стоять до Шишкова, чим навіть до самих Аксакових. Од цього усякі фрази навіть про літературну єдність з Росією як були, так і зостались фразами. Правда, мова, і то одного "Слова", у останні роки більш стала походити на російську, але тільки лексиконом своїм, а не усім своїм складом, бо усе-таки вона осталась такою же неконсеквентною, неорганічною мішаниною. Не знаю, як видаються в святоюрських кругах ті книги і

журнали, котрі переважно чита Росія, — коли тільки вони доходять до Галичини (бо слов'янський комітет не особливо дотепен вибирати книжки для одсилки братам закордонним). Але росіянина тільки за кару можна було б заставити читати "Слово".

Як вже казав я у першій статті, галицькі народовці, їх тенденції і література ближче до російських. Тому причина те, що вони усе-таки більш стали мати діло з українською літературою, котора, як було говорено, живе одним духом з російською; а ще більше причина цього у тому, що народовці, як молодші, маючі більш світське, більш новоєвропейське виховання, ближчі до українців і росіян університетських взагалі, од чого, може, виходить і те, що народовці й до української літератури стали прихильніше, ніж старі рутенці. Але ця близость галицьких народовців до українців і до росіян виходить не стільки з їх народного споріднення, скілько з того, що і ті, другі, більш або менш новоєвропейці. Одначе це спорідненння не виключає і великих ріжниць, так що братерство галичан з росіянами, навіть і з українцями, надовго зостанеться шитим білими нитками. Скілько раз було, що те літературне діло, которе подобається у Галичині, не подобається нікому на Україні і навиворот? Естетичні погляди, теми поетичні і наукові, котрі вибирають для своїх праць галичани і українці, далеко не рівні між собою. Окрім ріжниці крайових інтересів і обставин, тут багато діє й те, що галичани учаться у школі німецькій, живуть під переважним натиском культури німецької, та ще й австронімецької. Про ці тонкі одміни трудно говорити, а особливо перед тим, хто сам не мав случаю рівняти одних з другими та ще й по тому, що кожний чоловік у дрібних культурних ознаках життя дуже прихильний до суб'єктивізму. Однако коли про це вже зайшла річ, то не можемо кинути її, щоб хоть не вияснити, що ми хочемо сказати.

Так, росіянам і почасти українцям кидається в очі хоть би у літературі галицькій прихильність до тем археологічних і взагалі далеких од життя сучасного або вже прямо утилітарних, у політичних заявліннях — монархізм, хоч і серед конституційної держави, добра доля клерикалізму, преклонність перед високими чинами, в тім числі і церковними, перед орденами і декораціями, любов до церемоній, зборів, про которі тілько й можна сказати, що одбулось гарно, ganz gemüthlich*, і т. д.

Я задержавсь на цьому усьому, щоб показати, що не тільки ті з галичан, що говорять про єдність з Росією, але й ті, которі справді більш близькі до росіян, так багато мають окремішних інтересів, так одміняються психологічно, що, як я казав у першій статті, хоть би й хотіли іначе, а не можуть не виробляти окрімної літератури і од Росії, і од самої України. Хіба захотять зовсім нічого не писати, нічого не робити (що, як довідуюсь; дехто з святоюрців з розпуки, що до Росії не пристануть, а до свого народного теж не можуть або не хочуть, і радять робити), але це буде теж дуже оригінальна одміна і од Росії, і од України**.

Перша одміна Галичини од Росії і України та, що у Галичині на першому плані стоїть і не може зійти з нього питання національне, которе навіть не може зовсім розірватись і з релігійним. А це дає переважно національний характер літературі галицькій, которого не може мати російська од того, що не така її місія і у Росії, і од того, що ні великоруській народній, ні російській політичній національності

* Дуже приємно, по-домашньому (упор.).

** Щось подібне недавно висказав один галицький кореспондент "Голосу" (н-р. 167 з р. 1873), боронячи стару галицьку партію од укору "Вестника Европы": чому вона не дба о народну освіту. Тому, каже, що усі школи оддані у руки поляків (?), та, по логіці проводирів галицьких, нехай лучче народ буде у невіжестві, ніж деморалізується національно і морально (?). Спитаємо: чи є лучча основа для деморалізації, як невіжество?

ніхто не грозить, ні навіть і українська, бо реакція національна російщині на Україні зовсім не сильна і щодня слабіє, а поляки як національність не тільки роздавлені в малоруських краях, але і загрожувані у самім Царстві Польськім[13], так що українцям, замість того, щоб наступати на поляків як на національність, скоріш треба, як одному з переважних центробіжних елементів у Росії, подавати голос за їх неодмінні права у царстві, що не виключає борби соціальної з польським панством у западнім краю. Питань релігійних для росіян усяких мастей немає вже, окрім хіба борби против зв'язку церкви з державою, борби за віротерпимість. У українців релігіозних одмін од великорусів нема, католицизм же сам тільки що держиться в українських землях. Політичні задачі, способи, якими йде соціальний поступ у галичан і у Росії, різні. Школи построєні неоднаково. У національних, у політичних, соціальних, літературних інтересах галичани розійшлись з поляками так, що назад уже вернутися їм не можна. На всі ці інтереси вони мають свої окрімні права і інституції, которі занедбати їм не можна і не честь. Це не те, що на Україні, де соціально-політичні інтереси одні з російськими, де історія не виробила переважно або виключно українських інституцій і не одрізнила зовсім і українських національно-культурних інтересів, бо хоть вони й не зливаються з великоруськими і не покриваються зовсім російськими, а усе-таки і передові патріоти українські не виділились не тільки по побічній, але й не по своїй волі з російської політики, літератури і науки.

По цьому усьому нерозумно поступав би той галичанин, который з поводу єдності з Росією одрікся б од праці крайової для своєї народності і народу, для крайової літератури, науки, політики у тих формах, на тій мові, яка виходить з крайових обставин. Якби яка-небудь партія або кружок і подумали у Галичині одректись од такої крайової

праці, то усе рівно природа висунула б другі кружки, другі партії, котрі б робили цю природну працю. Святоюрці й самі тепер бачать плоди своєї моральної, або більш демонстративної еміграції у Росію після 1867 р., хоть вони тепер своєю службою перед централістами німецько-жидівськими доказують, що у них так же мало такту в покаянні, скільки мало було б його "во гресех". Еміграція ж фактична з Галичини у Росію пошкодила двічі галицьким інтересам: вона ослабила сили інтелігенції галицько-руської і підорвала симпатію російської громади до Галичини саме тогді, як святоюрська партія знайшла потрібним опертись на поміч Росії. Од того усякий приятель руської народності у Галичині, хоть будь він панрусист у ідеалах, мусить казати спасибіг таким людям, як товариство "Просвіта", що вели вперед діло літератури і педагогії руської в Галичині на власних крайових основах і зберегли край од конечної деморалізації, а руську ідею національну од гибелі. Тепер мусить бути усякому несліпому ясно, що діло, которе проводиться "Просвітою" і їй аналогічними інституціями у Галичині, зупинити не можна і не треба, а враз з тим вкріпляться і культурно-національні одміни Галичини од Росії, бо в результаті вийдуть не тільки одмінна література для шкіл елементарних, але й для гімназій. До цього прибавити треба оригінальну літературу публіцистичну, наукову, виклад в університеті на язику, одмінному од російського. У Галичині може виробитись тип образованих русинів, одмінний од російських, — так що тут зовсім натурально явитись таким романам, як Тургенєва, Гончарова[135] і т. п., тілько не тією мовою писаним. Словом, поскільку Галичина не Росія, постільку у Галичині виробляється і виробиться одмінна од російської школа, література і культура узагалі і, звісно, коли вона змусить бути живою по духу і формі, вона мусить стати близько до народу галицького; коли ж ні — то стане церковною, святоюрською, а усе ж

таки не російською. По усьому видно, що література і культура галицька вийде середня між народною і святоюрською. І у такому виді вона не останеться без ваги і для Росії, і для України, хоть прогрес культурної літератури у Галичині ще більше одрізнить її де з яких боків од України, — бо усетаки новорастуча галицька література і культура не може обійтись без польсько-німецьких одмін, котрі, будучи не похожі на народно-руські, коли їм не противопоставлять тих реагентів, про котрі скажемо нижче, ще більше натиснуть і у народну мову, і у народний характер чужої неорганічної мішанини, ще більш обезличать оригінальність народну, ще вбільшать моральну пасивність народу під поверхносною покришкою націоналізму*. Коли прибавити до цього малочисленість галичан і те, що політично-соціальні обставини життя Галичини засудили руський народ там на второстепенну ролю, а елементи чужі — польський, німецько-жидівський — узброїли новішими удосконаленими орудіями експлуатації народу, то трудно надіятись, що сама по собі галицько-руська культура і література дійшла до

* Ми боїмось, що хто-небудь з противників "Просвіти" підхопить наші слова і скаже: "От бачте, які послідки праці вашої вказує сам ваш приятель". На це скажемо, що такі ж самі послідки ще гірші були б, якби зовсім ніяке руське товариство не взялось за руську освіту у Галичині, а школи у ній зостались би у руках німців і поляків; ще гірші послідки були б, якби школи і література виключно були у руках святоюрців, бо вони ще більша психологічно-язикова мішанина, ще більш носять у собі польського і німецького, тільки із старішого. Ні культури, ні мови російської вони б не завели у Галичині не тільки через те, що цього б не дали їм німці і поляки, але через те, що вони самі до того не здольні. Партія "Просвіти" усе ж заведе світську просвіту і школу, ближчу до народного галицько-руського духу і мови, і вже по цим двом причинам ближчу й до самого російського, як це не чудно здається. Окрім того, ми говоримо про такі послідки, тільки поставивши наперед, що спеціально галицька інтелігенція не буде у взаєминах з українською і російською, чого, як побачить читатель, не може бути.

потрібної широти ідей, багатства і самої народності*. От тут-то і може і мусить стати Галичині у пригоді Україна, на котору тепер плюють рутенці-общеруси, забуваючи, скільки вони пили з цього колодязя од самих старинних часів і до М. Шашкевича і братів Головацьких включно, і не розуміючи, скільки ще може дати живої народної води родина Мономаха, Острозьких, Хмельницького і Шевченка, — а за нею і Росія, которої знать не хотять галицькі народовці-українофіли.

Навіть і святоюрці не можуть одректи, що перві ідеї руської літератури, первий підпих національному одродженню у Галичині дан був, у часи М. Шашкевича, з України, не можуть одректи тієї ваги, яку мало для Галичини познакомлення з Шевченком. Не можуть вони одректи й того, що сама по собі історія Галичини од самого XIV-ого в. не має примірів навіть і пориву до національної особности, тогді як на Україні, на Русі Київській не тілько бачимо такі прориви, але ще й основані на руху мас народу до свободи — народу, цього найміцнішого носителя і одмін національних. Од цього оживити археологізм своїх національних

* Характерний примір того, як життя галицьке виробля моральні одміни, зовсім окрімні од російсько-українських, можна бачити на виданнях "Просвіти" для народного читання. "Зорі" (окрім хіба почасти VI кн.), "Життя..." і "Пісні о св[ятім] Николаю, Юрію", "Фармазони"[136], которі визвали гарячу хвалу од обох партій галицьких, хоть і написані мовою, досить близькою до української, одначе самому щирому українофілові здаються то методом своїм, то матеріалом чимсь до того старосвітським, до того наївним і не похожим до того ідеалу, який мають передові люди у Росії (і на Україні) для народних книг, що самий щирий українофіл скоріш дасть хлопцеві дальшу по мові великоруську книжку про *географію, фізику і т. ін., ніж ці гарненькі* по мові, але дуже легенькі по нутренності своїй книжки галицькі. Як несамостайно односяться у Галичині до німецької і навіть польської культури, видно вже з того, як копіюють галичани усякі культурні терміни у їх німецькій, польській або латинській формі, насилуючи власну фонетику і граматику (телеграм, деклямація, факта, студія наукові, *урльоп* і т. д.). Такі поверхні знаки свідчать і о слабості нутренньої самостайності.

тенденцій можуть галичани, навіть і святоюрського табору, тілько покликом на Україну. З другого боку, трудно спорити́сь против того, що у літературі і у іскуствах має силу над більшістю тілько дуже близьке, у первому разі рідне. Так, скілько б не хтіли галицькі панруси покликатись на Іванів Московських, хоть на самого Петра В[еликого], — а усе-таки традиції і приміри не тільки московського царства, але й нової російської історії не можуть бути так живі для Галичини, як українські імена Сагайдачного, Могили, Хмельницького, Палія і т. д. Коли обернемось до того у культурі, що має найбільш силу над громадою, — до поезії і іскуства, которі скрізь найбільш показуються ознакою національного духу і будять його в масах, — то побачимо, що великоруська поезія, живопись, сама музика для галичан доволі далека матеріалом і характером; російська те ж само далека матеріалом, характером же коли може бути інтересна і навіть пригодна для збудження у Галичині більш реального, новосвітського напрямку, то усе зостанеться абстрактною і од того наполовину мертвою. Хай, напр., хто возьме найлуччі романи Тургенєва — "Рудин", "Дворянское гнездо", "Накануне", "Отцы и дети" — і покаже у Галичині типи, которі б одвічали тамошнім, а ці типи, як можна пересвідчитись, у Росії стільки ж великоруські, як і українські... та не галицькі, бо галичани не були у тій лабораторії, котора їх виробила, — у Росії*. Зовсім не ту силу може мати поезія, живопись, музика українська, котора

* На тому, як не зможуть приладитись до Тургенева святоюрські прихильники російської літератури, можна бачити найлуччу піддержку наших слов. Чули у Львові, що це найбільше люблений у Росії з живих белетристів, — бачуть, що треба б познакомити з ним публіку галицьку, коли вже раз пішла розмова про єдність літератури з Росією. А що з його вибрати, ніяк не знають, а виберуть, так якраз попадуть на слабіше і якраз поминуть найлучче, найхарактерніше і найлюбленіше у Росії. Так, названих романів Тургенева святоюрці не можуть оцінити раз через те, що типи народової громади у Росії чужі

буде передавати у Ґаличину ті ж самі ідеї, що й великоруська і російська, тільки у близьких, живих для Ґаличини образах. Од того галичани, коли хотять справді стати общерусами, мусять сприяти українству, а не ворогувати з ним. Б е з у к р а ї н с т в а в о н и н е с т а н у т ь о б щ е р у с а м и, а т і л ь к и з о с т а н у т ь с я а в с т р о - р у т е н ц я м и, т. є. не здобувши широти ідей общеруських, стратять, або лучче, не наживуть ніякої органічності, ніякої народної живості. Найлуччим доказом за вірність цього, що ми кажемо, служить література "общеруської" партії у Галичині і їх політика після 1866 р. На своєму верху, у двох-трьох писателів, ця література лексиконом трохи, правда, приближалась до російської, але не усвоїла ні однії з тих ідей, которими поступа громада російська, не проявила аж нічогісінько ні у науці, ні у поезії, що б нагадувало хоть трохи науку і поезію російську, навіть сама мова галицько-руської літератури як була, так і зосталась неорганічною мішаниною, до которої не прибереш ні словаря, ні граматики, — як була, так і зосталась рутенською. Якого ще треба нагляднішого приміру на те, що у "Слова" не збудилось і після 1866 р. чуття реально-народного у літературі, як те, що воно печатало повісті Захер-Мазоха,

Галичині, а друге — і не можуть бути симпатичними клерикалам, для которих не тільки Базаров ("Отцы и дети"), до которого суб'єктивну симпатію недавно (у мемуарах) заявив сам Тургенєв, але й Рудін і навіть Лаврецький ("Дв[орянское] гнездо") покажуться страшенними нігілістами. З другого боку, не можуть святоюрці знайти смаку і в тих повістях Тургенєва, у которих він малює простий народ ("Записки охотника", "Муму", "Постоялый двор") і котрі багато критиків у Росії вважають навіть за найлуччі твори Тургенєва; це буде хлопство, ненависне святоюрцям! От вони і вибирають хіба таке зовсім плохе діло, як "Жид" (у "Бояні") або, хіба-хіба, як "Первая любовь", що тепер печата "Слово", що хоть і лучче от "Жида", але усе-таки одна з слабіших повістей Тургенєва, бо не має ні одного широкого характеру, ніякої соціальної ідеї і навіть по самим психологічним фактам нічого місцевого, руського, того іменно, чого ніколи не зрозуміти рутенцям.

которі заставляли як великорусів, так і українців здвигати плечами і сміятись над наївною редакцією "Révue des deux Mondes"[137], що друкувала у себе ці "Recits de la Galicie et de la Petitte Russie"?* Але що для французької редакції наївність незнання, то для галицької ознака нерозвитості до того крайньої, що після цього якби хто написав новозеландську повість з галицькими іменами, то львівський журнал і напечатав би. Що таке і у політиці значить послідній поворот до святоюрців німецьких централістів, як не той же самий поворот з общеруськості, з общеслов'янства до узького і безплодного у корені австрорутенства? І коли не всі російські журнали головно і постоянно порицають цей поворот, то тільки через те, що не всі звертають увагу на Галичину, та через те, що деякі жаліють виступити з прямими докорами недавнім приятелям. Але явно пробували було, і то на час, боронити львівських централістів тільки "Московские ведомости", а потім і вони, і "Голос" тільки звиняли політику цих централістів як політику розпучливої реакції полякам. Узагалі ж усі, як ліберальні, так і національні і панславістичні, дневники у Росії стоять за систему федеральну у Австрії, за систему гр[афа] Гогенварта[138], котору недавно і "Моск[овские] вед[омости]" признали як одну спасенну, одну природну для Австрії. Що таке цей союз львівських з німецько-жидівськими централістами, як не союз з тією партією у Австрії і Германії, котора є зліщий ворог і слов'янства, і самої Росії — як народу у ній, так і держави? Коли ж добавимо до цього, що крайові у Галичині елементи цієї партії, жиди — самий явно експлуататорський елемент, прямі вороги народу, то вийде, що рутенська політика не тільки не общеруська, не російська, та ще у добавок і противонародна. Та інако бути не може,

* Галицькі та малоруські оповідання (упор.).

бо слов'яно-народний напрямок у культурі і політиці зовсім зливається з прямими інтересами і Росії, і кожного з народів слов'янських. Галичани ж, як не можуть стати славістами, так не можуть бути й общерусами, одірвавшись од українства, т. є. од народно-автономного напрямку.

Тогді, як ця одірваність, це ворогування львівських общерусів против народно-українського напрямку з поводу непонятої їми общеруськості привели до так нерадісних послідків у літературі і у політиці, усе, що є, що діється живого, народу пригодного, у Галичині з боку самої святоюрської партії, те усе діється по дорозі, проложеній у часи, як ще стара галицька партія не ворогувала з українством, а старалась ним користуватись, і діється прямо по тим принципам, котрі виставили українофіли. Характерно, що недавно галицький кореспондент "Голоса" (№ 167), И. Л-нъ, который узявся полемізувати проти статей М. Т-ова в "Вестнику Европы" "Русские в Галиции", зовсім не поняв-ши ні замірів, ні ідеї статей цих, признавав, що поляки з того часу, як галичани стали грати на своїм театрі не тільки п'єси, писані, як він каже, на "местном жаргоне", а і п'єси українських писателів, — що з того часу поляки почали гніватись на галицько-руський театр. Нащо ж апологіст святоюрських "проводирів" інсинує публіці у Росії на українофільство (troppo tardi, santo padre, troppo tardi!)*, коли виходить, що іменно воно основало у Галичині живий руський театр, страшний полякам, бо він будить національну ідею? Марно спекулює п. Л-нъ на те, що публіка у Росії не догадається, що п'єси "местного изделия на простонародном жаргоне", которим поляки готові були і кидати милостиню, як їм не страшним, іменно і єсть п'єси "прово-

* Надто пізно, святий отче, надто пізно (упор.).

дирів", а "местный жаргон" і єсть зовсім не простонародна — бо це б значило українська, — а іменно мова цих проводирів. Коли українська література і мова виступали в Галичині з конкуренцією чому-небудь, то, окрім польської, іменно цьому "местному жаргону" і його літературі: другої-бо літератури і другої мови, у тім числі і російської, у Галичині не було і немає перед українською. І "проводирі" галицькі зовсім марно покликуються на російську літературу і общеруську мову, бо її і досі немає у Галичині; а "местный жаргон" і його література усього менше може вважатись представителем російської літератури. Так і поляки, коли можуть бачити чому-небудь серйозну собі конкуренцію, то, звісно, у літературі, котора числить у себе Квітку, Шевченка, Костомарова, М. Вовчка, Куліша, Нечуя, а зовсім не у літературі "местного жаргона". Були часи, що п. Дідицький бачив епоху для Галичини у тому, що і у ній появився писатель, который вільно пішов на дорозі української літератури щодо матеріалу і мови, — Ю. Федькович, і характерне діло, що цей самий талантливий і самий живий з писателів галицьких не повернув за своїм видавцем, а зоставсь вірен народно-українському напрямку і узявсь за діло народної освіти і літератури для сільського люду, тоді як те діло занедбали і од мови "хлопської" одвернулись "проводирі". Теж характерно, що самий щирий приятель народу з усіх "проводирів" старої галицької партії, п. Наумович, іде тією ж дорогою, не глядючи на усі його зверти, і de facto являється українофілом і народовцем. Чи не розумніше ж було б свіжим людям з всеруської партії не боротись, не зводити клевет на українофільство, а користуватись ним, що не тільки не пошкодить їх зв'язкам з російським життям, а іменно вкріпить їх. А рядом ніхто їм не перечить общатись з російською ширшою літературою, коли вони те здоліють.

Народовцям у Галичині нічого толкувати про потребу зв'язки з Україною, коли вони часто самі себе звуть україно-

філами, од якого титлу одрікаються хіба іноді ті "політики", що бояться, як або поляки і німці, або і власні рутенці назвуть їх сепаратистами (од Австрії) і революціонерами, або панславістами, або схизматиками у ролі українофілів. Одначе треба б забажати, щоб і народовці звернули увагу на Україні і у літературі українській на той бік її, который є дужчим і характернішим, т. є. не на історичний націоналізм, а на порив до волі моральної і соціальної. Перше діло, которе у Галичині без усяких удержок, які у Галичині ставить вольному слову censura morum* і хвильових політичних відносин ще більш, ніж іноді поліцейська цензура, передає систематично основні ідеї українського руху, є діло п. Партицького про Шевченка, на біду зупинившеся на первому випуску. І п. Партицький не розличає степені важності націоналізму і демократизму в характернішого писателя України, але у його хоть послідніший бік Шевченка не тільки не затемняється, але досить ясно обрисовується. Чим логічніше нова українська література ступить на чисто хлопську і вольнодумну дорогу, тим більшу силу вона буде мати у Галичині як одна з остеріг не тільки од крайностей націоналізму, але і од того, щоб у малій землі, серед народності, затягнутої у національні питання, якими переважно займаються австрійські народи, уся робота патріотична звернулась зовсім більш на поверхньо-національну, ніж на реально-народну. Окрім того, українська література, живописуючи переважно чисто народний побут, говорячи переважно з сільським людом, буде для Галичини скарбницею чисто народної мови. Українська література вже і досі грала таку ролю у Галичині, принісши у 1860-63 гг. живу народну мову, збудивши живіші, світські, більш народні питання, ніж ті, національно-клерикальні,

* Цензура звичаїв (упор.).

которими тілько з реакції полякам і католицизму займались переважно проводирі старої партії після 1848 р. Тим самим українська література, хоть сама трохи хора недугом, незбіжно слідуючим за націоналізмом, усе-таки для Галичини була тим, чим бувають літератури, у которих поверхні питання націоналізму мають безмірно меншу ціну, ніж інтереси реальні: виучення побиту громадського і думки, якби його встроїти по ідеям науковим, общечоловічим, якими літературами бувають тільки літератури народів великих і которих національності ніхто не грозить. Україна, збуджаючи у Галичині разом з національними, а особливо національно-клерикальними, чисто літературні і соціальні питання, діяла тут як частина такого великого політично народного тіла — Росії.

Сказавши це, ми вже намітили увесь ряд ідей, который треба нам виложити, щоб вказати на важність і прямих відносин Галичини і її літератури до Росії і російської літератури, і навіть і до великоруської, і до іскуства російського і великоруського, особливо до музики. Скажу уп'ять, що одректись од своєї літератури для російської галичани не в силах, і цього їм не посовітує ні один навіть і всеруський патріот, коли він хоть трошки серйозно вдумається в діло, а особливо вдивиться в його на місці. Але галицька література може стати дуже виключною, дуже узькою по інтересам, дуже провінціальною, коли буде годуватись тільки з власних джерел. Україна одна пособити не може, бо як би там не було дальш, а натепер, а значить і надовго, Україна сама бере широкі ідеї і інтереси російської літератури, у ній бачить образці сьоговічні — наукові, педагогічні і поетичні. Галичина, правда, має під боком велику літературу німецьку, з которою зв'язки трудно щоб порвались у всіх австрійських народів, — і я наперед бачу, що цю-то літературу і вкажуть галицькі автономісти. І як звісно, що тепер література німців, як старійшого народу, багатша російської, то тут

мені і трудно буде одстояти свій тез. Одначе попробую, хоч наперед знаю, що пробити ті австро-німецькі окуляри, которими дивляться на Росію усі слов'яни австрійські, навіть і ті, що тепер симпатії їй виказують, трудно буде. Перше, против чого прийшлось би мені спориться, — це ідея, буцімто усе культурне, що має Росія, є тілько проста копія западного, а особливо з німецького. Я вже привів деякі факти, которі, не одрікаючи того, що наука і література у Росії іде поза западом, показують, що багато у чому вона іде оригінально, а особливо не іде, як холоп, за яким-небудь одним народом, особливо не за німцями. Щоб доказати це, я мусив би розказати історію наукової праці у Росії над народною поезією, почавшуся раніш (Чулков, 1787; Цертелєв, 1819; Максимович, 1827, 1834; Сахаров, 1838), ніж у німців (О. Вольф, 1830; Ерлах, 1834-37; Фірменіх, 1834), а особливо у французів і італійців, вказати на те, що реальна школа у белетристиці у Росії запанувала хіба пізніше однієї тільки Англії (Гоголь раніше Ж-Санда, Ауербаха і т. д.), що народна новела у Росії (Гоголь, Квітка) появилася раніше, ніж у Франції (Ж. Санд) і Германії (Ауербах), що народна драма, як Островського, так само як і така народна поезія, як Шевченка, немає собі аналогії у бюргерській середній Європі, що Бєлінський і Добролюбов дали приміри оригінальності у критиці естетичній і соціальній, которі заслуговують більшої уваги ширшого світу, що Герцен виявив талант публіциста і агітатора первої величини і, окрім того, розсипав по своїм творам масу ідей політичних і соціальних, которі можуть бути не в меншій пригоді до соціологічно-наукової праці, ніж ідеї Конта, Прудона, Маркса і т. д. Та довго про це усе треба б говорити. Я вкажу тілько на те, що, живучи в зв'язках тілько з німецькою літературою, галичани були б подавлені силою німецьких форм цієї культури, которі часом сховали б од них і більш широкі ідеї загальні. Щоб зберегтись од такої

німецької узості, галичанам прийшлось би обертатися до літератур французької, англійської, італьянської. Але до цього здольні тільки дуже небагато людей. Російська ж література, черпаюча з усіх європейських, у послідні годи, та й завсігди, маюча найбільшу прихильність до англійської, могла б дати галичанам на мові, котору вивчити майже ніякої трудності їм нема, ріжні форми ідей для порівняння з тими, которі дає німецька література. Мушу добавити, що усе-таки слов'янському уму ближчі способи думати і форми ідей російські, ніж німецькі, галичанам же вони ще ближчі уже по тому, що у праці над культурою Росії завсігди мали і матимуть немалу частину і українці. Знаємо наперед, що усього сказаного нами мало, щоб поставити галицького читателя на наш погляд; але на цей раз годі. Ми скажемо тільки тому, хто не вірить нам: прийдіть і дивіться! Прийдіть і дивіться хоть ради України, з которою хочете ж жити, як з своїм близьким. А ця Україна живе у Росії не тілько географічно, але й морально. Погляньте ж на Київ, Одесу, Харків, подивіться і на Петербург і Москву; прочитайте Гоголя, Тургенєва, Герцена, Некрасова, Бєлінського, Добролюбова, перегляньте журнали і газети, киньте хоть оком на переводну літературу, зупиніться над педагогічною, а потім дома подивіться критично на галицькі розправи, драми, повісті, вірші, на їх сюжети, форми, ідеї, порівняйте популярні книжки галицькі з книжками Ушинського, Водовозова і т. д. — то й побачите, що ближче до Азії, до Візантії, до середніх віків — Галичина чи Росія? Одною бідностою усієї цієї ріжниці не оправдиш, як не оправдиш і того, що більшість студентів галицьких іде у теологи, що всі мови, письма галицькі скаржаться на те, що "мало або немає людей", що усі справи ідуть черепашачою ходою і т. д. Тут мусять бути ширші причини: одсталість — через провінціоналізм, брак широких ідей — од націоналізму, брак оригінальності, віри у свої сили і енергії — од нагніту

чужої, польської та німецької школи. Отут-то і може помогти конкуренція російської літератури, її широких європейських ідей, переданих оригінальним слов'яно-руським методом, українським аналізом з прибавкою великоруської сміливості. Тепер, коли чотири залізниці йде з Галичини у Росію і коли життя у Росії начинає приливати до западної границі, од такої конкуренції не втечеш. Лучче ж, вглядівшись розумно у нову ідущу на нас силу, зрозуміти, чим можна покористуватись з неї, чим можна і на неї повліяти, ніж вихваляти її, не користуючись з неї нічим добрим, та ще й її саму псувати, як святоюрці, або заплющивши очі, "противу рожна прати", як галицькі українофіли!

Я старався досі обходити питання політичні і говорив тільки про літературні послідки взаємин Галичини з Україною і Росією. Але літературні і культурні взаємини не можуть зостатись і без політичних послідків. Та мало того: взаємини між Галичиною і Україною і Росією можуть привести до свого роду солідарності між ними і політичної, котора так же легко може між ними зробитись, так же на користь кожному з країв і усій Слов'янщині, як і розумна, у формах, одвічаючих потребам кожного, і літературна солідарність. Я знаю, що, зачіпляючи це питання, я становлюсь на дуже слизьку дорогу. Але що ж робити, коли сюжет і логіка обов'язує торкнутись і до цього боку нашого діла!

Попереду усього, однако ж, я одстороняюсь од усяких толків про такі або другі переміни державних границь не задля того, щоб я мав перед ними який-небудь теоретичний страх, щоб вважав, за щось sacrosanctum* границі, поставлені без волі народів, а просто для того, що усякі розмови такі дуже легковажні, коли йдуть од людей з такою узькою сферою діяльності, як ми і наші читачі. Положимо, що й

* Священне, святе (упор.).

навіки Збруч зостанеться границею між Галичиною, Україною і Росією, що при деяких других обставинах може бути зовсім і нешкодливим для обох країв. Але усе-таки культурна солідарність (NB: солідарність, а не одностайність) Галичини з Україною і Росією може мати дуже немалі послідки політичні, особливо для Галичини, которій вона дасть і більшу політичну силу в Австрії, і може вліяти на підняття соціального стану народу галицько-руського. Тепер вп'ять я жду того ж самого недовіру читателя з галицько-автономного табору, який піднімавсь, як я говорив про широту інтересів російської літератури. Цей недовір уп'ять-таки виходить з того, що у Галичині не знають Росії і дивляться на неї крізь німецькі окуляри. А по німецьким голосам, у Росії нема нічого, окрім "брутального абсолютизму", которий виклав яко реакцію таку ж "брутальну негацію!" Так Росія і зостається, і будучність її хитається між двома полюсами: кнут та нігілізм, так як його розуміють німецькі бюргери; і тільки одні німці могли б направити цей колос на добру дорогу. Позаяк німці завсігди кінчать цією послідньою ідеєю, позаяк німецька печать завсігди з'являється солідарною іменно з самими реакційними мірами у Росії (як напр., против печаті, против женського вчення в університетах), позаяк ще недавно у Відні виставили книгу Вюрстембергера ("Rußlands volkswirthschaftliche Zustände"*), котора доказувала, що принцип емансипації крестян у Росії був поясован наділом крестянам землі, т. є. тим, що одступлено од принципу емансипації у балтійських губерніях, де крестяне латиші і ести дістали од німців птичу волю без землі, та ще й з податками і з панською поліцією і т. ін., то вже одно це та ще й близьке знакомство з тим, як трактують німці усякий ступінь слов'янина, щоб вибитись із-під німецької опіки з її усюди одинаким

* "Російський народногосподарчий стан" (упор.).

непотизмом*, мусили б одкрити очі галичанам на те, як багато правди у тому, що німці розказують про Росію і її громаду. Але брак фактів, брак книг, журналів і газет російських у Галичині, органічна привичка вважати німця авторитетом вдержує галичан од критики німецьких поглядів на Росію. А до того ще й видима ріжниця статутів конституційної Австрії і самодержавної Росії. Яку, скажуть мені, можна мати користь з Росії народові, живущому у конституційній Австрії?

Щоб порівняти як слід односну ціну австрійських статутів для Галичини, ми мусили б пуститись у порівняння дійсного стану суда, шкіл, податків, наділу крестян землею, громадського строю, земства і повітових рад, багатства народного і т. ін. Ми б раді узятись за таке порівняння, та, на горе, галицька література не дала навіть і статистики свого краю і народу. Однако, коли порівняємо Галичину і Росію хоть з самого слабого боку послідньої народної освіти, то побачимо, що у Галичині ще менший процент грамотних, ніж у Росії; додамо, що у повітових радах галицьких народ сільський менш представлений, ніж у земстві у Росії, особливо в Малорусі, що у Галичині нема суду присяжних і т. д. Про женську освіту, у которій Росія випереджає навіть і багато земель з старою цивілізацією (дивись, напр., статтю проф. Rambaud у "Révue des deux Mondes", 1873, 15 mars, — "L'education des filles en Russie et les gymnases des femme" — і ш. Dino Padelleti — "Le donne alle universita di Zurigo ed. Edimburgo" у "Nuova antologia", 1873, V), здається, говорити нічого. А женська освіта і женська рівноправність — це одна з найдужчих підстав демократичного строю громади, так що і тут "хлопська" Росія показала вже свою дорогу, куди вона прямує. Не дурно ж і аристократична реакція у Росії так накинулась на студенток,

* Обсаджування посад родичами, кумівство (упор.).

не дурно і у Западній Європі буржуазно-німецька і шляхетсько-польська преса ще лютіше кинулась на них, ніж російські реакціонери. А головна одміна Австрії од Росії — це та, що хоч би Австрія мала й багато більш усякого добра, ніж Росія, та Австрії доля далеко менш зависить од неї самої, ніж Росії, у которої хоч би яка невигодна для неї катастрофа воєнна може одібрати тільки хіба Царство Польське по Віслу, та й то од цього втратять більш поляки, ніж Росія, бо в усіх других краях, не виключаючи і остзейського, $^{9}/_{10}$ народу явно стоїть за Росію проти $^{1}/_{10}$ часті сепаратистичної. Статути австрійські часом добрі, але кожний з них (1860-61, 1867) дававсь після межинародної катастрофи, а у 1870 р. єдино розумна система для Австрії, система гр[афа] Гогенварта, упала не стілько через нутреннюю опозицію, скілько через гніт з-за границі, з Германії, з которою так зблизилась найенергічніша і найосвіченіша часть австро-німецьких країв, що й уперед усякий поступ Австрії у ділі державно-правнім буде зависіти не стілько од Австрії самої, скільки од Германії. Та ще мало: нехай статути австрійські гарні, нехай вони й виходять з власного нутреннього процесу життя австрійського, але вони не видумані слов'янами, до слов'ян не прикладаються, часом видумані прямо проти слов'ян, і слов'яни їми користуються тільки тогді, як де-небудь попадеться у них пролазка, яких, звісно, у XIX в. не може не давати усяка конституція. А найменш зв'язку з австрійськими статутами має галицько-руський народ, найменш користується він готовими статутами, найменш покористується і тими, які можуть змінити їх у близькому будущому. Хай і гарні статути у Австрії, та не од галичан вони вийшли, не для галичан зроблені, не галичанами прикладаються до діла. Од того-то й виходить, що у конституційній Австрії руські газети конфіскуються за саму м'яку критику Школьної ради, що мітинги руські закриваються, що товариства руські забороняються або по меншій мірі мусять леститись перед сильними мира сього, що у кінці кінців для

слов'ян складаються у конституційній Австрії, а особливо у Галичині, такі перепони, которих часом нема і у самих абсолютних державах, та ще у добавок більш деморалізуючі громаду, і що хіба тільки і зостанеться одна міцна зв'язка слов'ян, а особливо галичан, з державою, що вони несуть свої гроші у державну касу. А коли добавити, що у Галичині самий енергічний представитель австрійської ідеї — німці і жиди — щодня усе більш вихвачують землю з-під ніг сільського народу, то й вийде, що галичани у Галичині стаються не тільки не хазяїнами, але трохи не ілотами[139].

Ось де реальна причина, од чого по усіх слов'янських племенах у Австрії, у тому числі і у галичан, є партія, що шукає помочі за границею, і коли вона обертається до Росії, це зовсім натурально. Яка б не була Росія (а я, звісно, не стану малювати її раєм), але вона єсть і буде навірно: це усякий чує. Як не живе вона, а живе вона для себе, по собі. Що не має вона, а має вона це через власну працю, працю власної інтелігенції. Усякий прогрес її вбільшує силу її, організує силу її народу, а не других. Од того можна сердитись на те, що хто-небудь не так проводить ідею зв'язку з Росією (ми самі перві знаходимо, що чехи, галичани так проводять цю ідею, що тільки шкодять собі і Росії), — але не можна не признати натуральності цієї прихильності і надій на Росію у принципі*.

* Що тепер вже в Європі люди безсторонні дивляться на це діло, як і ми, об цьому можна пересвідчитись, прочитавши книгу п. Louis Leger'a "Le monde Slave" (Paris, 1873, Didier), а особливо стор. 49-55. Та тепер вже і у поляків (особливо у Варшаві) переміняються погляди, особливо у молодіжі, на Росію, т. є. освічену громаду і літературу у Росії. Ця переміна йде паралельно тому, як Варшава становиться центром правдиво ліберального напрямку у польській пресі. Інтересно, що "Warszawski rocznik literacki" (1873), один з органів цього напрямку, назива з поводу комедії краков'янина Наржимського "Pozytywni" Галичину гнилою, а Краків запліснівшим містом, до которого ніякі здорові ідеї не прививаються. Ще раз замічу, що галицько-польська громада і преса не може не мати сили і у русинів, між которими вона держить неправі ідеї і о Росії, її громаді і культурі.

А до того навіть політичний інтерес Росії сходиться з інтересами борби слов'янських народів за своє життя, а інтерес державний сходиться з інтересами демосу у великому краю от Дніпра і Пейпуса[140] до Ельби і Адріатика — демосу латиського, естонського, литовського, білоруського, малоруського, навіть польського, а далі й галицького, і других західнослов'янських. Ось де й уся причина тієї "мудрості", тієї "дальновидності російської політики", котору, послухати німецьких професорів і публіцистів, буцімто Росія наслідувала од Візантії. Мудрость ця у тому тільки і є, що навіть і тогді, коли Росія почне працювати і для чужих інтересів, і проти своїх — як це було після того, як Росія пристала до консервативної коаліції у часи французької революції аж до 1854 р., — історія працює за Росію: історія-бо сама розорила Польщу, підточила Турцію, Росії тілько досталось підбирати те, що само падало. А мудрі професори, що плачуться на хитрість Росії, не бачать, що поляки зробили з Москви Росію, притиснувши до неї Україну, що турки, англійські купці, бонапартисти, грецькі попи, а тепер німецькі шовіністи і струсбергісти піддержують симпатію до Росії у балканських слов'ян, що венгерська шляхта і німецька бюрократична і біржева сарана — перші пропагатори панславізму у Австрії, а польська шляхта — панрусизму у Галичині, що гр[аф] Бісмарк з'явивсь ініціатором згоди поляків з Росією і вніс панславізм і симпатії до Росії у Познань і т. д., і т. д.

І це усе робилось і робиться, коли і слов'яни, і Росія водились і водяться більш інстинктом, ніж системою, коли ні ті, ні другі, маючи у голові більш національно-державні ідеї, думаючи про те, як би зновити корону св[ятого] Вацлава або розширити "землю государеву" і т. п., ніж як уладити у ній всенародний добробит, коли ні слов'янські приятелі Росії, ні приятелі слов'ян і державної сили у Росії не знали ясно, у чому найголовніша сила Росії, і своїм шовінізмом,

консерватизмом тільки одпихали од слов'янської ідеї луччі сили у Європі і самій Росії. Але вже після восточної війни 1856 р., коли у часи реформ вийшли наперед демократичні напрямки з російського западництва і з слов'янофільства, коли почала висказуватись ідея, котора стала пануючою ідеєю луччих голов у Росії і стає вже потроху, наперекір домовим, польським і особливо остзейським олігархічним ретроградам і консерваторам, провідною ідеєю нутренної політики у Росії, а іменно — що сила Росії найголовніша у крестянстві, т. є. у народоправстві, — з того часу виявились і принципи нової, більш народної і у той же час і більш свідущої політики і заграничної, положені зерна і новому слов'янофільству у Росії. Ця політика — союза Росії з прогресивними і навіть революційними ідеями, з масами народів однокровних і узагалі сусідніх, з народностями малими, доведеними воєнною і феодальною історією до стану хлопського. Перший ясно виложив теорію цієї політики, зливаючої луччі ідеї т. зв. западників, або космополітів у Росії з луччими ідеями слов'янофільства московського і українського, Герцен, виложивший у цілому ряді статей про Європу, Росію, Польщу, слов'янофільство ті ідеї, которих зерна до того можна було знайти у творах Шевченка про шляхту, поляків та у посланні до Шафарика*. І як, повидимому, мало сходиться з цими ідеями політика російського уряду і ідеї петербурзько-московських централістів після 1863 р., а усе-таки немало герценовського і шевченків-

* Вказуючи на Герценове слов'янофільство, я, звісно, не берусь ділити усіх деталів його ідей "про старий світ і Росію", з которих багато було нанесено злобою для реакції 1849-59 рр. і стверджено гегеліанськими ідеями про ступенну зміну народів в історії (Stufengang). У Герцена важні не ці одміни слов'янофільства і русофільства, а основні ідеї, примиряючі слов'яно-руський демократизм з старослов'янським автономізмом і западноєвропейською свободою розуму, которої знати не хотіли московські слов'янофіли, як і польські, которі удобавок не хотіли знати і демократії.

ського прийшло і в систему так званого "обрусения" і дало скільки-небудь живу силу цій мішанині пруських ідей на московсько-візантійській запарі. Тепер вже видно усякій неотуманеній голові, що дальше йти Росії з такою мішаниною не можна, і ця система хоть проводиться ще, але більш по інерції або через вліяння німецько-остзейське, не без мовчаливої піддержки самого феодального елемента у Польщі, которому лучче, щоб Росія тратила свої сили і популярність, ніж щоб народ і серйозні патріоти помирились з нею. Ті статті против цієї системи поверхностного обрусенія в защиту правих інтересів польської народності, в защиту усіх живих одмін невеликоруських елементів у Росії, які стали появлятись у журналах і газетах у Росії, як космополітично- або чисто російського народного напрямку ("Вестник Европы"), так слов'янофільсько-народного ("Беседа") і которих основні ідеї то тогді, то іногді пробиваються і у органах самої системи "обрусения" ("Моск[овские] ведом[ости]", "Голос"), показують, що не довго вже жити цій неорганічній і мішаній системі. Тепер, коли чого остається бажати од російської інтелігенції, так того, щоб петербурзько-великоруські ліберали, не переставаючи бути по ідеалам космополітами, поменше були "великоруськими сепаратистами" у інтересах, т. є. звертали більшу увагу на питання про "окраины России" і тісно зв'язане з ним питання слов'янське; вони тогді убільшили б свою силу і давали б свій напрямок рішенню національно-державних питань і помогли б швидше тому, щоб Росія ясно поставила собі ціллю у політиці нутренній і заграничній стати "о р г а н і з о в а н и м х л о п с т в о м" з н е з б і ж н о ю а в т о н о м і є ю к р а ї в і н а р о д н о с т е й, бо хлопство не має інтересу ні в централізації, ні в винародовленню і само носить у собі чисті зерна народності. Може стати питання, коли і як завершиться цей процес, — але не може бути спору, що у Росії і серед космополітичного, і серед націо-

нального табору вже дуже вкоренилась, багато людьми зрозумілась ця ідея; а позаяк Росія сама пан своєї долі, то не можна спорити проти того, що з кожним роком вона буде посуватись до цього природного ідеалу. А це дасть їй велику силу у слов'янстві, хоть би воно зосталось надовго розділеним між трьома політичними землями, як тепер.

Як би не далеко було до зреалізування цього ідеалу (ми думаємо, що не дуже-то далеко, але в усякому разі у таких ділах не можна лічити на місяці та й на роки — важніш усього, щоб сознавались і висказувались проводні ідеї), ми мусимо признатись, що боїмось не стільки за те, щоб російська громада не зрозуміла його, не здоліла появити нового народоправного і краєправного патріотизму російського і слов'янофільства, скілько за самих слов'ян западних, особливо австрійських, которі можуть задержати і патріотизм, і слов'янофільство у самій Росії у старій його формі. Судимо так з приміру чехів, которі досі не раз називали ліберальну партію у Росії німецькою, хоть самі виявили не раз самі німецькі погляди на Росію, думаючи про себе, а то й кажучи голосно, що Росія сама не способна до культури, і збираючись у Росії грати роль культуртрегерів німецьких. І вони справді узялись за неї, т. є. вбільшують бюрократично-ташкентський елемент на спосіб остзейських німців. Чехи не хотять зрозуміти ту правдиво патріотичну партію у Росії, котора ставить реальні інтереси нутреннього поступу і добробиту народу вище демонстрацій панславістичних і народного державно-воєнного величчя; чехи водяться без розбору з ретроградними елементами у Росії, которі іногді примішуються до слов'янофільства, але на ділі мало мають спільного з ідеями луччих слов'янофілів, — чеські авторитети не одобряли українського руху, а похваляли святоюрський непросвіщений централізм, так само як у себе чехи ставлять ідеї соціально-культурного народного прогресу нижче ідеї про корону св[ятого] Вацлава, водяться з ультра-

монтанами і феодалами, централістично глядять на словаків і т. д. Про другі, менш розвиті народи серед австрійських слов'ян і їх національні партії і говорити нічого*.

Однако ми маємо усе право надіятись, що такі незгодини, як та, яку терпить тепер чеська опозиція, такі факти як те, що чехи побачили у Галичині на своєму боку тілько охаяну їми українську партію, що п. Палацькому прийшлось полемізувати з публіцистами їм же окриленого централізму російського, що у Росії антипатія до чеської

* Ми вже раз казали, що справдешню російську літературу, справдешню російську просвіщену громаду, джерело усякого поступу, що вбільшує і силу державну Росії, хоть і не кричить про те, робить та література і громада, котора вийшла з так званої колись партії западників. До цієї літератури належить і Пушкін, і Лєрмонтов, критик цієї літератури Бєлінський оцінив первий і вияснив Гоголя, которого згубили псевдопатріоти; з кружка западників вийшов Тургенєв, Герцен і нова післягоголівська література, критик которої, Добролюбов, вияснив і самого народного з писателів великоруських, теж не раз попадавшогося у слов'янофільські доктрини, — Островського. Западники вказували на ахіллесову п'яту Росії, рабство, тогді як, перед восточною війною і у часи її, псевдопатріоти і україножіли кликали російського орла на Драву, Мораву і т. п. або перекладали у стихи (Язиков, кн[язь] Вяземський і т. ін.) і у прозу (Погодін) солдатську поговорку: "шапками закидаєм! — наша матушка Расея всему свету голова" і т. ін. Чия вийшла правда, яка Росія стала дужча: дореформена чи післяреформена, — думаємо, нічого питати. Без спору, і між слов'янофілами були люди, як К. Аксаков, П. Кирєєвський, Хом'яков, котрі часами бачили ту ахіллесову п'яту, і молодші слов'янофіли (Ів. Аксаков, Гільфердінг, Самарін і др.) чесно послужили новій Росії у часи емансипації крестян, але їм ніколи не удалось одірватись конечне од обскурантної, холопсько-шовіністичної партії, котора колись заявляла себе реакціонними мірами Шишкова, Магницького[141] і др., самодовольними речами Погодіна, котора заставила Гоголя одректись од своєї луччої слави і видати "Переписку..." і т. д. Од того і тепер до слов'янсько-благотворительних комітетів примазується багато реакціонерів, обскурантів, бюрократичних ворогів реформ у Росії і самі бюрократичні виродки колишнього западництва, як кружок Каткова, который колись так сміявсь над слов'янофільством і од которого хотів так одрізнитись чесний Ів. Аксаков. Ці усі примазки до слов'янофільства у Росії зовсім закривають ті добрі зерна, тих чесних і освічених людей, тих правдивих слов'янофілів, правдивих любителів народу у Росії і у слов'ян, які є і тепер між членами слов'янських комітетів; ці примазки і безрозборна дружба западнослов'янських патріотів з цими комітетами є

еміграції у педагоги стала майже загальною і росте навіть і серед членів слов'янського благотворительного комітету, который цього року рішив не давати субсидій іміграитам слов'янським, що комічна історія з греко-руською церквою у Празі (у которій один з кандидатів у чеські міністри тішився тим, що переробив св[яту] Вероніку на св[яту] Варвару) і з дзвонами, подарованими Московською городською думою, стала посміхом у Росії ще раніше і більше, ніж у Австрії, — що те усе поведе чеських патріотів до більш логічного народоправного поступования, початок которого ми вже бачимо в більшій енергії, котору заявляє тепер перед

причиною опозиції, яку ведуть правдиві представителі російської літератури і політики проти слов'янофільської пропаганди у Росії і за границею — і не хотять оцінити, яку силу може мати слов'янофільство, як і питання про "окраїни" Росії, для пропаганди народоправних і краєправних ідей у Росії. Вина тут обостороння, але більш на боці западних слов'ян, ніж цих російських западників, которих неправо звуть слов'яни западниками, а то і німцефілами, і которих правдивіше було б назвати справдешніми ультраросійськими або й великорусько-петербурзькими сепаратистами. Правда, щоб це усе зрозуміти, треба добре знати історію літератури і громади у Росії за останній вік, але кому ж би й знати це, як не приятелям Росії у слов'янстві? Багато і тепер без великого труда можна зрозуміти про ці діла з Герценової книги "Du developement des idées revolutionaires en Russie", з статей п. Пипіна "Характеристики..." і пр., з розбору речей п. Погодіна у "Вестнику Европы" за 1872 р. і т. д. Будемо надіятись, що українці заповнять ту порожноту, яка ділить слов'янофільство од западництва, западнослов'янських націоналістів — од великорусько-петербурзьких прогресистів: Київ самою природою поставлений не тілько свого роду вікном з Росії у Європу, як і Петербург, але й свого роду серцем Росії, як і Москва, — і це йому признача особливо важну місію у Росії і Слов'янщині, котору він і одправляв не раз, хоть більш інстинктивно, здається, ніж свідущо. А свідуща місія його стане великою, коли українці почують себе українцями, зорганізують свою силу, але піймуть і те, що Київ не тільки центр України, але один з центрів усієї Русі. Еге, панове, Київ o b l i g e (зобов'язує — упор.) і централістів, але й сепаратистів, і у Росії, і за Росією. Хто раз його признав, той підорвав московський національний партикуляризм, петербурзький державний централізм, той признав українофільство, але у той же час заніс руку і на партикуляризм український, і, наскільки Галичина не хоче відриватись од України, то й на галицький. Ми маємо, одначе, кріпку надію, що "ч е с н и й" Київ перемеле усі непорозуміння у добре європейсько-слов'яноруське борошно!

старими чехами молодочеська партія. Аналогічні прояви ми бачимо і серед других слов'ян: словінців, галичан — треба тільки цим молодим партіям стати поміж собою у солідарність і привести свої погляди у логічний зв'язок з передовими соціально-культурними ідеями нашого віку. Це буде новий правдивоосвітній і народний славізм, на зміну тому романтичному славізму, що вже одслужив свою службу, а часом і шкодив слов'янському ділу, бо він увесь вкладався у слова, котрі ще у минувшому столітті сказав лужицько-сербський філолог Френцель: Si par virtuti Slavis fortuna fuisset, orbis adoraret Slavica scepta tremens*. А такий новий, народний, мирно-освітній славізм не може не здружитись з Росією новою на других, міцніших началах, ніж ті, на которих хотів дружитись з старою Росією старий романтичний панславізм. Цей новий панславізм мусить вбільшити сили кожного слов'янського племені і підняти силу слов'ян перед світом, як перед тим, що не хоче випустити з заліз своєї експлуатації слов'янські племена, так і того, що радий би бачити слов'ян самоправними, та боїться, що слов'янська сила послужить не волі і світлу, а темноті і неволі. Перед цим питанням — про це, як би подавленим тепер на власних землях слов'янам і через те одставшим у культурі од других народів, піднятись як людям освіченим і вольним, при сочутних голосах передових партій у других народів, — перед цим основним ділом те питання, чи буде три, чи два, чи один політичних союзів з слов'ян, є діло меншої ваги, і ми його не доторкуємся. Але що і у новій епосі славізму Росія з її літературою буде мати немалу силу, це можна проекти, поглядаючи на те, що і тепер у кожній землі слов'янській є прихильники Росії, що вона немало

* Якби хоробрість слов'ян дорівнювала їх фортуні, то світ тремтів би перед слов'янським скіпетром (упор.).

зробила для влегшання чужого гніту над слов'янами полуденними, що народ російський найчисленніший, а інтелігенція його вже і тепер замішується в усі великі питання, які займають громади передових європейських народів, що чужинці звертають тепер найбільшу увагу з усіх слов'янських племен й літератур на Росію і її літературу, найбільш вчаться російської мови.

Українцям у Росії, а галичанам у Австрії може предстоять велика будучність, а галичанам особлива користь стати посередниками між Росією і западним, особливо австрійським, слов'янством, не втрачаючи у власній оригінальності того, що є дійсно пригодного у ній для власного народу. Сказати, що українцям і галичанам лучче зайнятись тілько ділом власного краю, розвивати власну оригінальність, буде більш фразою, ніж ділом: українці мають мало шансів виділитись з Росії не тілько політично, але й культурно. Про політичний сепаратизм, як звісно, українофіли говорять тілько рідко у ліричних покликах, а серйозно і у прозі вони завсігди одрікаються од усякої тіні політичного сепаратизму. Отже, літературний сепаратизм, при тому, що усі реальні обставини тягнуть к солідарності з сусіднім, одноіменним, близькомовним народом — це щось таке чудо невидане, которе для своєї зреалізації требує такого язикового дилетантизму, которого ні один народ, ні одна жива громада на світі ніколи не проявляла. Скоріш би була можлива федерація політична при одній мові, як це бачимо у Америці, або й повна самостайность політична при одній мові (як це бачимо у одрубності З'єдин[очених] Амер[иканських] Держав од Англії, що може повторитись і Сибіррю), ніж така унія при двох так близьких мовах, з которих одній ще треба зорганізуватись. Інше діло, ніж сепаратизм національний, політичний й літературний, це рух до самоуправу земель українських (а не усієї централізованої України) у согласії з таким же рухом земель

великоруських, рух до народоправства і до підняття з народу у культуру таких елементів, которі можуть її вбагатити, не псуючи і не розриваючи того багатства і сили, яка вже нажита укупі великорусами і малорусами. Інше діло стати у Росії як автономний і демократичний елемент, як плем'я, географією, історією, соціальними цілями близьке до слов'ян западних, — стати посередником між слов'янами всхідними і западними, між народами меншими, не маючими власної держави, і народом великим, зложившим національну державу. Українці сини тих русів, що жили автономними краями і народоправними городами хоть у наївному, та усе-таки федеральному союзі, — українці, прилучившись вольно до Москви, дали їй перевагу над Польщею і, значить, рішили питання всеєвропейської важності — кому достанеться первенство на сході Європи, — начепили Москві місію боротьби з турками, зв'язали її з западом Слов'янщини і Європи; український народ у останні роки своїм держанням у польськім повстанню вказав урядові російському, що подавити сепаративні тенденції на западних окраїнах можна тільки політикою, помагающою піднятись корінним масам народів. Хай же тепер українці возьмуть на себе місію служити опорою усьому автономному, усьому народному серед різних народів і країв у Росії, їх адвокатом перед центротяжними силами у Росії, як самий більший з автономно-народних елементів і у той же самий час самий рідний центротяжному, великоруському, беручий часть з великорусами у загальній роботі над культурою російською, цією найміцнішою ниткою, зв'язуючою окраїни з центром. Така праця дасть важність українцям серед великих і малих народів у Росії і дасть їм силу ще лучче працювати для власного краю і народу, ставлячи цю працю у широкі рамки не тільки російських, але й світових інтересів.

Не одрікаючись од своєї оригінальності і її виразу — мови, не розриваючи зв'язок, вироблених життям, але як близькі спільники українсько-російського народоправного і краєправного слов'янофільства являться в Австрії галичани. І тогді голос їх буде мати не таку ціну у очах других, як тепер. Самі по собі, при самій щирій праці для крайових інтересів, над крайовою літературою з народних елементів, для народної освіти і добробиту, праці, котора, правда, тілько може бути міцною основою і для більш широкої місії, — самі по собі галичани не можуть увійти далеко: вони для того дуже малочисленні та ще у добавок дуже пригнічені поляками, німцями, жидами. Я не стану, звісно, говорити проти чесної праці, яку веде хоть би товариство "Просвіта", п. Наумович, проти таких чесних замірів, які висказують люди, як п. Качала, у своїй політичній програмі, проти початків, як товариство "Побратим" і т. д. Без праці над народною літературою, організацією народу у товариства галицько-руському народу зовсім прийдеться загинути. Але трудно ж не бачити, що русини, обділені усіми статутами австро-галицькими, вигнані з повітових і городських рад, засуджені на меншість в соймі, загублені серед чужих людей і чужих інтересів у райхсраті, забувані або зневажані і централістами, і федералістами, і німцями, і слов'янами, не пускані (або ледве терпимі) у школи, випихані з посідання землі, самі далеко не підуть. Поки потроху, збираючи мале збіжжя або випрохуючи собі крихти з доходів од податків власного ж народу, будуть працювати патріоти галицькі над літературою, котора одна ще не однята у них, чужі елементи усе будуть розростатись, і народові галицькому прийдеться або уконець стати наймитом на своїй землі, або звернути надію на кроваву революцію. Щоб допомогти собі і скоріш вдержати той процес, который випиха галичан з власного краю, треба галицьким патріотам вбільшати свою силу, взяти такий голос, щоб його не могли не важити тепер маючі власть у Галичині

поляки, німці і жиди. Одні поклики на "правду" не поможуть: експлуататори стида не мають! Поклики на народ не мають теж сили, поки народ не зорганізований і не розвитий, а експлуататори іменно не дають патріотам організувати і розвивати народ: теперішні конституції так же дають багато способів задержувати роботу народолюбців, як і самодержавні монархії, та ще удобавок нейтралізують усі добрі заміри, могущі бути у династії, переносячи усю державну силу у руки парламенту, т. є. більшості сильних елементів, елементів експлуататорських*. Поклик на Україну і поміч України багато не поможе Галичині, поки на Україні вона не буде мати за себе тільки кружки дилетантів, любителів української або й псевдоукраїнської прози і поезії або кілька хоть би і чесних фантастів. Ми бачимо, що тепер поляки раді сказати кілька демонстративних фраз на Україну, але тілько щоб покричати проти "Москви". А на ділі ці фрази не ведуть ні до чого. Правда, що не багато виграє галицький народ і од того, що кілька клерикалів і літераторів то кричать у меморандумах або у "Neue freie Presse" про свою лояльність і вірність чужій конституції у Відні, то напишуть у "Голосі", що Галичина плаче за Росією, як дитина, одірвана од матері.

* Навіть самі поляки іногді признаються, що народ галицький не бачить старання про себе од урядових елементів. Так, недавно "Dziennik Poznański" з поводу неспокоїв коло Тарнова наговорив попереду звичайних фраз про московських агентів, а потім сам мусив признатись, що у Притарновськім краї завівсь дійсний голод, не глядючи на багатий врожай, і що dla ludu, bogiem a prawdą, mówiąc, rzecywiście nic sie nie robi (польськ.: для народу, по-божому і по правді кажучи, дійсно нічого не робиться — упор.). З другого боку, та скорість, з якою галицькі партії звертають надії на ріжні побічні елементи, як Москва, Відень, польські магнати, вказує не тільки на одну малу розвитість чуття самостійності у галицькій громаді, але й на те, що усім у Галичині ясно, що одних власних сил не стане, щоб оборонити руський народ і народність у сім краї. Усі згодяться на те, що треба шукати помічника. Біда тільки у тому, що більша часть спільників, до которих прихиляються галичани, така, що дума тільки покористуватись ними, а їм користі не приносить, бо не має у своїх принципах нічого прихильного до народу галицького.

Тепер у Галичині одні покладають надію на централістів, другі на федералістів.

По всьому видно, що німецькі централісти не дадуть галичанам нічого, а жидівські і польські постараються одібрати і те, що єсть. Уже од цього одного, та ще й од того, що слов'яно-федеральна партія хоть у принципі признає право усім народам жити по-своєму, не можна не признати, що галичанам достойніше йти з федералістами, ніж з централістами. Але трудно надіятись, щоб галичани, як народність, покористувались і од польських федералістів чим-небудь більшим, ніж одна-дві школи, тисячка-друга гульденів на книги: за два-три голоси у соймі, за демонстрацію, якою єсть союз галичан з польськими федералістами, більшої плати, широких прав не дають. Що ж до народу галицького, то йому мало буде користі як з буржуазно-жидівського централізму, так і з магнатського федералізму*. Для помочі народу треба, окрім прямої домової праці для народу (це ceterum censeo**), ще союзу з народними ж напрямками; а таким може бути і є уже

* Ми не сміємо вказувати нікому політики у деталях і, звісно, вважаємо принципи руської федерально-слов'янської політики, як їх виложили п. Качала і Загірний[142], більш достойними слов'янина і чоловіка, ніж ті, которих держаться святоюрські централісти узагалі і у ділі виборної реформи почасти. Але ми боїмось, що п. Качала і йому подібні більш гарячаться для других, ніж для себе, і думаємо, що народній партії у Галичині було б лучче, виявивши свої принципи теоретично, на практиці усунутись поки од усякої агітації політичної, поки ця партія не вкріпить свої сили працею над народом через товариства і поки не зорганізуються коло неї напрямки і партії, которі будуть зовсім рідні по ідеям тому напрямкові, который одверто вискаже галицька народна партія. Інакше вона усе буде більш для других працювати, ніж для свого народу, як і святоюрська партія. Мені здається, що русинам обох партій було б достойніше замість того, щоб тільки працювати для чужих інтересів і споритись між собою з-за чужих форм федералізму і централізму, достойніше б було усунутись од усякої ініціативи по таким загальним питанням, а поєднавшись і виставивши програму своїх потреб, налягти на виборну агітацію, добути собі якнайбільше депутатів, которі б чи у соймі, чи у райхсраті (куди, як видно тепер, прийдуть і федералісти), потребували б своєму народу його природних прав.

** Інший рахунок (упор.).

ночасти російсько-українська демократія. З нею-то у союзі мусить виступити галицьке народовство — і тогді за кілька часу воно буде говорити іменем мільйонів організованого і продовженого європейсько-російською інтелігенцією хлопства. Час цей ще не настав, але наступа — і треба готовитись до нього, треба спізнати, де можуть бути вірні природні союзники галицькому народові.

Ми думаємо, що коли б галицькі народовці і тепер виступили як самостійний, але тісно зв'язаний з другими член російсько-української демократії, то й тепер би тілько вбільшили свою силу. Нічого боятись криків на "нелояльність", тепер вже не ті часи, щоб хто був наївно лояльним. Та усе одно ті, кому це треба, давно вже прокричали про нелояльність русинів. Тому виною не одні тілько святоюрські симпатії до "Москви". Чи давно і україноФільство вважають в Австрії "нелояльною гравітацією до московської, або до революційної України"? Хіба й поляки, й німці, і самі рутенці не закидали цієї вини народовцям? Хіба ще недавно "Neue freie Presse" не писала, що коли "altrutheniche Führer"* розірвали усі зв'язки з московськими панславістами, то народовці взяли у Києві од слов'янського комітету гроші для панславістично-федерального органу, т. є. "Правди"? Таких криків, таких докорів усе одно не втечеш! Пора ж говорити, як слід вольним, поважаючим себе людям, що шукають собі союзу і помочі на працю для свого народу, де хотять, де є природні союзники. Пора сказать голосно перед німецьким світом, що, не думаючи шкодити правдивим інтересам німецького, ніякі слов'яни не можуть же йти проти загальних слов'янських інтересів. Перед поляками ж галичани можуть виступити, як союзники тієї партії у Росії, котора рішила не дати більш у неволю руського народу

* Старорускі проводирі (упор.).

польському клерикалізму і шляхетству, але не тільки не ворогує з природними правами польської народності у краях чисто польських, а готова подавати голос за права ці та ще й готова помагати самому польському народові скинути з себе пута клерикалізму й шляхетщини. Явне виголошення таких ідей буде, повірте, мати більшу силу у очах серйозних патріотів польських коли не на тепер, так на близьке будуще, коли не зараз у Галичині, де староюрська партія дужча, ніж у Познані і у Варшаві, так попереду у цих землях, а потім і у Галичині, ніж та часом з'являющася, двосмислена хвильова приязнь галицьких народовців з польськими патріотами, у которій поляки думають бачити згоду з їх теоріями про Польщу 1772 р., а русини tacitum consensum* на їх зовсім противні теорії, і поляки і русини не вірять одні другим**. Звісно, конечно, також, що у заяві таких чесних поглядів на права народності польської і руської у Росії і у Австрії буде більш моральної сили і користі для народності галицько-руської, ніж тому, як "Слово", після скарг на спольщення Галичини, начне втішати себе і страшити поляків обрусінням Польщі і навіть германізацією Познані, тогді як консеквентним прикладом демократично-національних ідей і до Галичини, і до западного краю Росії, і до Польщі галицький журнал міг би стати і тепер посередником між російськими і польськими націоналами і здержувати ті перескоки за

* *Мовчазно погоджуються (упор.).*

** Галицькому читателеві нічого приводити багато примірів того, що польські газети коли не ворогують проти української і народної партії у Галичині, то говорять про неї як про таку, котора має надію на розвиття своєї народності тільки з помоччю поляків, которі прямо хотять повернути стару Польщу 1772 р. А як дивляться передові україно́філи у Росії на цю Польщу, видно з слів Шевченка: "була колись шляхетчина, вельможная пані... було колись... та що з того", — або з статей "До поляків" у "Основі" п. Куліша і Костомарова, который у монографії "Последние годы Речи Посполитой" прямо признав розділ Польщі з боку Росії самим правим ділом з подібних йому у історії.

границі права, які роблять тепер обидва боки і до чого приходиться більш усього терпіти галицько-руській народності і галицько-руському хлопу.

Свідуща солідарність галичан з українськими і російськими демократичними лібералами мусить не тільки підперти національні жадання русинів у Галичині, але вбільшати і їх сили на борбу проти панської і жидівської експлуатації, проти которої одна малочисленна галицько-руська інтеліґенція і народ галицький не можуть виставити сильної організації, тогді як у Росії вже і тепер наділи крестянські, устави про торг горілкою у селах і більш численна інтеліґенція демократичного напрямку суть підстави дужчої організації соціального демократизму. Звісно, що на цьому діло не стане і конечна організація Росії яко мужицької держави — чи з таким, чи з іншим політичним строєм — не дасть на себе довго ждати. Така-то Росія буде сильною підпорою народного напрямку у Галичині, которий, коли захоче стати практичним, то не може не зробитись соціально-демократичним. Уп'ять скажу, що говорячи так про характер народовства у Галичині і про відносини його до Росії, я не пишу ніякої політичної програми у деталі — такі програми міняються з часами; треба тільки намітити те, що не може не бути постоянним, бо воно є природним. А таке природне — єсть єдність інтересів народу руського у Галичині, Малорусі і Великорусі, єдність цілі передової інтеліґенції галицької, української, великоруської і руcько-європейської. Од того досить їм буде взнати цю єдність — і тогді вони зуміють знайти собі форми для неї, зуміють обернути у користь руському народові усяку форму політичну, вироблену історією.

Коли звести коротко докупи усе, що було сказано нами у характеристиці минувшого і сьогочасного стану літератури російської, великоруської, української і галицької і у тих виводах, що ми хотіли зробити на основі цього стану для

діяльності української і галицької народної партії, то вийде, що ми мало що сказали нового, а хіба систематично зложили те, що вже не раз висказувалось, що ми систематизували status quo. Та інакше й бути не могло, бо цей status quo зложився хоть інстинктивно, але тим не менше органічно. Ми бачили, що у Росії є справді література всеросійська, руська, бо є життя і інтереси, громада, справді всеросійські; окрім неї, є й великоруська народна і малоруська народна, бо, окрім спільного життя і інтересів європейсько-російської громади, є маса народу великоруського і малоруського, для которих та мова, що для змішаної громади всеросійської жива, є мертвою. Ми бачили, що Галичина не може жити виключно російською літературою, бо Галичина не живе життям і у обставинах Росії, і те, що живе для Росії, часом зовсім мертве для Галичини. Значить, не може не бути і літератури галицької. Однако Галичина, не кидаючи своєї літератури і піддержуючи у Росії автономний український елемент, може користуватись літературами, що виробляються у Росії: найбільш усього українською, як самою близькою і мові, і матеріалу, а потім російською, як хоть і одмінною по матеріалу, та цінною по широті ідей, по реальності методу, як найближчою з усіх великих європейських літератур по мові і по духу і як представителем громади соціально-політичних інтересів і ідей, которі найближчі до інтересів галицько-руського народу. Таким образом, виходить, що кожна з чотирьох живих літератур у руському світові має свої природні круги, свої сфери дійства, як нутреннього, так і виходячого, і що їм, замість того, щоб поїдати одна другу, природніше йти у згоді і працювати кожна у сфері свого дійства. Щоб не збитись кождій з її природної дороги і щоб, перепутавши з-за суб'єктивних узьких доктрин і кружкових інтересів кожній своєї сфери з другими, не порвати і не розстроїти згідної праці, треба представителям кожної з цих чотирьох літератур завсігди, при кожному частному непорозумінню, повіряти ідеї

і інтереси суб'єктивні, частні, кружкові, *которі* можуть здаватись національними, повіряти ширшими і всесвітніми інтересами — освіти і народу, його волі і добробиту. Отже, при усякій праці, особливо серед менших літератур, української і галицької, треба себе частіше *питати*: чи те або друге викликується інтересами освіти і народу, чи стане на пряму користь освіті і народові? Задавши тепер таке питання, ми, конечно, прийдемо до такого програму праці для української і галицької народної партії: праця над народною літературою, освітою і добробитом з н и з у у г о р у. Правда, через це надовго, коли не віки, виділяється горішня сфера дійства — для російської літератури. Але це й без того так, а окрім того, ідеї цієї літератури не тільки не стоять проти принципу нашої праці для народу, але ще й можуть дати матеріал для неї, а політично-соціальні інтереси громади, которої ця література є голосом, не тільки не против інтересів народу нашого, а ще можуть піддержати його своєю міцною і широкою організацією. Ці ідеї і ця організація у додаток є тільки варіаціями тих ідей, тільки одною з кадр тієї організації, що обніма увесь цивілізований світ, що зветься наукою і народоправством. Це та конечна зв'язка, що зв'язує усі чотири літератури і громади руські і що в'яже їх з всесвітніми через саму широку. Так і будемо ж працювати над своїм народом найпрактичнішим методом знизу угору, з узького до широкого, дивлячись більш уперед, ніж назад. Sieh vorwärts, Werner, und nicht hinter dich!*

Поки будемо держатись цього принципу, не буде незгоди між галичанами, українцями, москвофілами, українофілами, русофілами, полякофілами, слов'янофілами, а буде спільна праця і боротьба тільки проти обскурантів і експлуататорів, як би вони не звались, хоть би вони брали якунебудь із перечислених патріотичних фірм.

1873, 4-го (16) липця.

---

* Дивись вперед, Вернере, а не назад! (Упор.)

УКРАЇНСЬКЕ ПИСЬМЕНСТВО 1866-1873 РОКІВ

Русалка (щотижнева газета), Львів, 1866.
Правда. Письмо наукове і літературне, Львів, 1867-1870, 1872, 1873.
Руська читанка для нижчих кляс середніх шкіл. Ч. I, Львів, 1871.
Те ж. — Ч. II, уложив Ом. Партицький, там же, 1871.
Руська читанка для вищої гімназії, уложив Ал. Барвінський., Ч. I-III, там же, 1870-71.
Починок Івана Подушки[1], С.-Петербург, 1871.
Дещо про світ божий, Киев, 1872, вид. 2-е.
Святе Письмо. Переклад український:
П'ятикнижжя Мойсеєво, Львів, 1869.
Євангеліє, Відень, 1871.
Книга Иова. Український переспів Павла Ратая[2], Липськ, 1869.
Псалми Давидові. Укр[аїнський] пересп[ів] П. Ратая, там же, 1871.
Сопілка Павлуся, Киев, 1872.
Байки Леоніда Глібова, Черниров, 2-е вид., 1872.
Повісті І. Нечуя, Львів, 1872.
Приказки Носенка[3], Киев, 1872.

Останніми роками в ріжних місцях Росії й Австрії вийшло декілька книг і книжок українською народною мовою, що наголовки важнійших між ними ми виписали вгорі, а також появилось декілька періодичних видань, хрестоматій та перекладів ріжних частин святого письма тою самою мовою. Кільканадцять літ тому, в 1860-63 роках немало появилось було таких проб літератури на якій історія не витворила офіціального становища, — і тоді в нашій періодичній пресі часто обмірковувано питання про потрібність та хосенність подібної літератури.

Справа, як і завсігди, не обійшлась без алярмістів*. Потім затихли навіть і алярмісти, і ціле питання зачислено до ряду тих "мрій", що піднімались у "пору забавну на Русі", розумні та

* Панікери (упор.).

далекозорі люди почали називати пору початку реформ, що перемінили обличчя кріпацької Росії. Та невважаючи на те, що питання про комплекс певних побутових і історичних рисів, які виріжняють український народ і викликають змагання до виявлення їх у літературі, перестало бути темою теоретичних міркувань, на се питання наскакувала наша преса і критика багато разів, порушуючи такі важні справи, як народна просвіта, народний театр і загалом штука, освічування вищих верстов в дусі народності, вирівняння тої прірви, що відділює культурну верству від мас народу, розбудження в суспільності національних традицій, шанування пам'яті народних героїв, людей свобідної народної ініціативи, нарешті, політика на західних окраїнах, наші відносини до західнослов'янських народів, особливо до поляків і т. ін., і т. ін. При цілому ряді таких справ, зв'язаних із найглубшими нашими культурними, а почасти навіть і політичними інтересами, практика наводить нас на конечність розібрати критично питання про степень однородності та ріжнородності руської народності, а консеквентно й руської літератури. Додаймо до того, що життєві відносини останнього часу чимраз більше втягають нас у зв'язки з країною, яка, хоч руська щодо складу мас народу, належних до українсько-руської породи, проте не брала участі в виробленню й користуванню російською літературою й культурою; а тим часом у тій країні пробудилося змагання надати живий народний характер культурі та суспільній діяльності і породило рух, що має на меті присвоїти собі літературні досвіди та принципи російських українських письменників і вести далі їх роботу в тім напрямі. Ми говоримо про австро-руські країни, де начислюється звиш трьох мільйонів руської людності, мало чим відмінної від наших українців, які, одначе, не чують, так як сі, мови Пушкіна й Тургенєва ні в офіціальнім життю, ані в школі, ані в літературі, не познайомлені з типами й ідеями нашої російської літератури, а все-таки злучені з нашою

південною Руссю трьома залізницями. Всі ті обставини, в зв'язку з чимраз більшою скількістю книг на українсько-руській мові, змушують нас обернути увагу на ті книги і, роздивившись, що міститься під тою формою, де в чому відмінною від тої, в якій ми привикли стрічати витвори руського розуму й чуття, який матеріал, які ідеї й тенденції, — визначити потім тим літературним творам місце в сучасному життю, як загальноєвропейському й слов'янському, так і почастно руському, щоб зрозуміти, яку стичність зв'язок мають ті українсько-руські твори й їх тенденції з життєвими питаннями сучасної суспільності, особливо, розуміється, нашої, — бо ж і плодяться вони головно на ґрунті наших, російських відносин.

I

Проби писати мовою, не подібною до пануючого в данім часі в певнім краю літературного наріччя, мовою народу певної околиці, що не зробилася самостійним політичним тілом, у теперішні часи зовсім не рідкі в Європі. А що в останніх роках скількість подібних проб значно побільшується навіть у таких краях, де загальнообов'язкова освіта розносить знайомість літературного наріччя в найдальші закутини, то такі проби мусимо признати впливом природних, непоборних причин. Особливо останнє десятиліття характеризується зростом проб писати і мовами народів застарілих (індійці, вірмени й інші), мовами маленьких народностей, але різко відмінних від народностей, що панують у відповідних державах (прим., баски, бретонці, фламандці, грузини і ін.), але задля своєї слабосильності засуджених, як думали досі, на цілковите вимирання, — так і наріччями, посвяченими з тими, яким історія

дала панування в певнім етнографічнім окрузі, але відсуненими в задній ряд і захованими майже виключно в устах сільських мас (прим., язики провансальський, каталонський, сіцілійський і т. ін.). Найважнійша причина такого оживлення переважно селянських говорів — се чимраз більший зріст значення сільських верстов людності, а вкупі з сим і зріст уваги до них у літературі. Із сільських верстов починають виходити таланти, що почувають інстинктовий наклін писати мовою свого окруження; патріоти доходять до зрозуміння конечності для швидшої передачі знання і для скріплення морального впливу просвіти покористуватися мовою сільської маси як провідницею цивілізації, яка рівночасно дозволяє зберегти із старого народного життя й ті елементи, яких затрата при переході народу з патріархального ступня розвою до вищого була б не пожадана для моральної повноти народного життя. Рівночасно й письменники, що виходять із міських верстов, які більше засвоїли собі центральні літературні наріччя, беручись малювати побут і типи сільських верстов, почувають потребу для повної живості артистичного малюнка представляти життя народу тою мовою, якою воно послугується в дійсності. Таким способом чимраз більша увага до провінціальних говорів — се одна з прояв загальноєвропейського демократичного напряму, з яким у парі йде також чимраз сильнійше в Європі змагання до децентралізації, змагання, зовсім не суперечне з так виразним тепер змаганням до широких національних і навіть расових союзів, поки вони не переходять розумних меж, визначених природними потребами одиниць і провінцій. Треба, зрештою, сказати, що значіння того відродження язиків і народів малочисельних і особливо говорів, остатніми часами майже виключно селянських, не прояснено ще досі критикою, а через те й сей рух проявляється іноді повипадково і по-дилетантськи або навіть служить підкладом для фантастичних, а то й реакційних цілей. Та в усякім разі, як

результат свідомої чи несвідомої діяльності, літературні твори на язиках і говорах, більш або менше відмінних від центральних язиків у певних краях і більш або менше близьких до простонародних, ростуть протягом останнього століття дуже виразно.

Так, у Англії, якій і тут, так як майже у всьому, належиться одно з перших місць або навіть ініціатива, розвилась література кімрського язика в князівстві уельським (Wales), що в р. 1843 мала одну часопись, а тепер має їх 25 на 800 000 душ людності. Навіть менші відділи кельтської народності (прим., мешканці острова Мена) мають бодай переклади святого письма та елементарні книги. У Франції розвилась у остатніх десятках літ література бретонська (поети Брізе[4], що одержав премію французької Академії за 1847 р., і Люзель[5]), провансальська (починаючи від поета-цирулика Янсеміна, що вмер у пізній старості, в р. 1864, поети Руманіль, Обанель, Містраль, живі й досі, — всі премійовані Академією, як "поети моральні й народні"). В Італії, невважаючи на те, що гегемонія центрального літературного наріччя втвердилася тут вчаснійше, ніж у інших краях, літературна творчість на провінціальних говорах не переривалася ніколи, але навіть "італійський Мольєр" Гольдоні (1707-1793), якого особи так часто говорять чистісіньким венеціанським говором, і поет сіцілійського говору Мелі (професор хімії в Палермо, 1740-1815) зачислюються до ряду головних ініціаторів другого відродження італійської літератури. Народні говори дуже часто вживаються в проповіді, ліриці і особливо в театрі, а деякі, прим., п'ємонтське, ломбардське, а особливо сіцілійське, мають тепер досить багату літературу. Ще недавно Італія, хоч швидше від інших європейських країв, витворила спільний усім провінціям літературний язик, показала інтересний приклад уваги до народних говорів. Маємо на думці

засноване в отсьому (1873) році у Флоренції Товариство для плекання італійських діалектів (Società dialettologica Italiana) про яке дає звістку місячник "Rivista Europea" (май, 1874 р.). Се товариство заснували найвидатніші італійські вчені (Амарі, Канту, Компаретті, де Губернатіс, Дальмедіко, Д'Анкона, Фабретті, Фанфані, Коррезіо, Імбріані, Мілянезі, Пітре, Тецца, Томасео, Вануччі, Віллярі й ін.), до нього приступили також члени аристократії (гр[аф] Альберті, кн[язь] Корсіні й ін.), посли до парламенту, інспектори шкіл, генеральний секретар міністерства нар[одної] просвіти й ін. Стоячи на тому, що конче потрібно вистудіювати "ріжнородні особливості італійського народу по провінціях і зібрати дані, потрібні часто вчителеві, а іноді й мужеві державному", товариство поклало: а) видати бібліографію всіх книг на діалектах і праць, що трактують про діалекти; б) зложити словники імен, місцевостей, урочищ, потоків і т. ін., в яких містяться дорогоцінні філологічні дані; в) зложити літературну історію діалектів, загальну й почастну; г) словники віддільних діалектів, а також спільний і порівняльний; д) уложити почасну і порівняльну граматику діалектів; є) скласти бібліотеку книг, писаних діалектами і про них; ж) видавати часопись для народного читання і для документів народної літератури на діалектах. Коли програма того товариства почне виповнятися, а про се ніщо й сумніватися, бачучи реєстр його членів, — то Італія стане на чолі інших країв щодо своїх праць над студіюванням та визисканням діалектів. У Франції й Бельгії живо розвивається фламандська література, в якій обік значного числа діячів визначається тепер новеліст Консіанс. У Німеччині ми бачимо письменників на говорах: алеманським, баварським, долішньонімецькім і ін., а на їх перші проби мав великий вплив приклад Бернса. Наводимо дальше характерний уривок із рецензії "Авґсбурзької

газети"* на видану в 1871 р. другу часть поезій на гольштинському говорі Клауса Ґрота під назвою "Quickborn", тобто " Криниця Освіження"**).

Новий том пісень поета країни дітмаршів (тих запорожців північної Німеччини) привітали прихильними рецензіями часописі "Im neuen Reich", "Preussische Jahrbucher", "Neue freie Presse", а жінка наслідника пруського престола почтила поета власноручним листом. Автор, звісний уже англійській публіці з рецензії першого тому його віршів, написаної Максом Міллером, який звернув увагу на близькість язика гольштинських саксів до англійського, одержав запросини прочитати декілька лекцій про німецьку літературу в Оксфорді. А з приводу нового тому тих віршів ось що говорить "Авґсбурзька газета" (1872 р., ч. 21) про значіння літератури на народних наріччях:

"Всі признають, що наріччя — джерела та потоки, якими годується велика течія язика. Отим-то кожда провінція повинна плекати та управляти б'юче в ній джерело, щоб воно плило багато й чисто й могло й тепер достачати потрібної притоки до спільної скарбниці язика. Та ми йдемо крок далі й думаємо, що тепер уже ми не можемо задовольнятися тим лише, що кожде німецьке плем'я буде плекати свій рідний язик; ми жадаємо більше, щоб воно дбало також про інші. В новім німецькім царстві повинна — коли вільно так висловитися — і в тім згляді бути свобода руху і загальне право горожанства. До певної міри подібні відносини існують уже в дійсності й тепер, та поки що ще в досить одностороннім напрямі. Нема ще повної взаїмності між

* Мова тут про загальнозвісну "Augsburger (тепер Münchener) Allgemeine Zeitung" (прим. І. Франка).

** "Quickborn". II Theil. Volksleben in plattdeutschen Dichtungen ditmarscher Mundart, von Klaus Groth, Leipzig, 1871. До п'ятого видання першої часті додано також горішньонімецький переклад.

північчю й полуднем. В північній Німеччині освічені люди читають Устері, Гріббеля, Гольтая, Кобелля, австрійських та ельзаських поетів у оригіналі, а Гебель з його алеманськими піснями дійшов навіть до народної школи. Навпаки, в південній Німеччині лиш дуже мало хто читає по-долішньонімецьки. Навіть найпопулярнійший і найбільше загальнозрозумілий письменник долішньонімецького наріччя Фріц Райтер у південній Німеччині читається здебільшого в горішньонімецькім перекладі". "Зрештою, — говорить далі автор статті, — в південній Німеччині зроблено декілька проб перекладу з долішньонімецького наріччя на тамошні народні. Так, деякі вірші з першої часті "Quickborn"-а перекладено на старобаварське наріччя в Фроммановій газеті "Die Mundarten Deutschlands", присвяченій спеціально-науковому та літературному оброблюванню німецьких говорів. Особливу популярність здобули собі вірші Клауса Ґрота у народів, сумежних з північними німцями та посвоячених з ними, що між іншим стоїть у зв'язку і з практичним значінням долішньонімецького наріччя в зносинах німців з іншими народами півночі. "Quickborn" перекладено на фламандську, голландську та датську мови, не числячи фрісляндського наріччя. В Англії Макс Міллер переклав деякі Ґротові вірші і рядом з англійським перекладом помістив також оригінал, щоб показати, як легко англічанам розуміти долішньонімецький язик. Найкращий доказ близького свояцтва названих язиків та говорів долішньогерманського племені, говорить рецензент "Авґсбурзької газети", виявляє та обставина, що голландські, датські, англійські, північнонімецькі та фрісляндські моряки, як можна переконатися у всіх пристанях, дуже легко порозуміваються одні з одними, а через те, власне, німецькі матроси без ніяких переписів наймаються на службу на ріжні заграничні кораблі. Се для того, що морський язик при торговій флоті на цілій німецькій півночі з давен-давна був

виключно долішньонімецький і лишився ним і досі. Північнонімецькі моряцькі вислови прийнялися навіть у романських язиках. Лише наша флота поставила себе в сій справі в виключне положення, витворивши штучно горішньонімецький комендний язик. Певне, той переклад технічних долішньонімецьких висловів на горішньонімецьке не все був щасливий і для того морякові іноді чудно чути деякі нововковані слова. Ся обставина — одна з прикмет, що надають нашій флоті в очах многих характер "прісноводної флоти" (Süsswasser-Marine).

Рецензент "Авґсбурзької газети" вертається до думки, що діалекти живлять літературний язик; він пригадує, що Лессінґ, проживши деякий час серед дітмаршів, перейняв від них немало висловів, і справедливо говорить, що тим не вичерпується весь вклад, який долішньонімецьке наріччя в його розгалуженнях може дати німецькому літературному язикові, язикові Шіллера, Ґете й ін., що, як каже Макс Міллер (Essays, III, 132), імовірно, на все лишиться пануючим органом німецької цівілізації*.

* При тій нагоді наведемо тут слова М. Міллера про відносини літературних язиків до народних: "Літературні діалекти, або, як їх звичайно називають, класичні язики, за свою часову перевагу караються неминучим упадком, коли не приймають у себе оживних потоків — народних діалектів" ("Lectures on language", I, 44-46, рос[ійський] перекл[ад]). "Значіння літературних язиків явне для кождого, а значіння діалектів для піддержання росту язика ще мало розсліджене. Тим-то треба звернути пильну увагу на користі, які мають літературні язики від діалектів. Що тикається росту язика, то ніколи не можна занадто прибільшити значіння ненастанного підросту діалектів. Відірвіть язик від його натурального ґрунту, відокремте його від діалектів, що його годують, і ви зараз зупините його природний ріст". Хоча щодо авторитетності годі поставити чиє-небудь ім'я рядом з іменем М. Міллера, та що у нас дуже мало розширені здорові погляди про народні наріччя, то ми наведемо слова ще одного російського письменника, якого ім'я декому може явитися більш авторитетним, ніж ім'я самого М. Міллера. В "Чтениях о воспитании" московський професор Юркевич пише: "Там, де розвита мова пожирає місцеві говори, або там, де говори вимирають і загальний освічений язик тратить здібність життєвого, органічного розвою, неначе кристалізується, робиться

"Нема ніякого сумніву, що визначний у остатніх роках щодо якості й скількості зріст літератури німецьких провінціальних говорів, у тім числі й долішньонімецького, на якім проповідується в церквах, пишуться вірші й повісті з народного життя, поведе за собою збагачення загальнонімецького літературного язика та зміцнить і його літературне значіння серед народів європейського північного заходу, а рівночасно і внутрі Німеччини доведе до зближення міських верстов, більше навиклих до спільнонімецької мови, з селянськими, і до яркійшого артистичного змалювання життя тих верстов, до живійшого засвоєння серед них результатів цивілізації в релігії, політиці й науці".

Те, що сказав рецензент "Авґсбурзької газети" про значіння німецьких людових говорів для внутрішнього й

стереотипом, там можуть побільшуватися прикраси, але не саморідна краса. Значить, не слід бажати, щоб боротьба освіченого язика з місцевими говорами вела до затрати говорів; навпаки, треба бажати, щоб між ними була обопільність услуг або жива обміна сил і здобутків. Місцевий говір і усний освітній язик повинні в свідомості й переконанню ученика виступати як два ріжні ступні; витворювати між ними ворожу супротилежність шкідливо з духового й морального погляду; з духового — бо ученик стратив би здібність і привичку засвоювати собі дійсні красоти місцевого говору і переносити їх у свою освічену мову; з морального — бо хоч і похвально, що язик вітчини зробився йому рідним язиком, але не похвально, коли рівночасно язик рідного місця зробився для нього чужим язиком. Треба пильнувати, щоб в ученика не родилося презирство до довколишньої суспільності або навіть до його рідні. Скоро ученик дійшов до того дурного переконання, що його рідня не вміє говорити по-людськи, вже один із найчистіших моральних зв'язків розірваний і в молодім серці покладено підвалини глибокої неморальності". В Німеччині, і особливо в Швейцарії, де наукові лінгвістичні ідеї та здорові педагогічні погляди розширені серед суспільності більше, ніж деінде, недогода, зазначена цитованим філологом і педагогом, рівноважиться розвоєм проповіді та письменства на місцевих говорах, читанням і співанням у школах місцевих поетів та народних пісень, а в Швейцарії надто й системою ступневого навчання з книжок, що ступнево йдуть від місцевого наріччя до спільного літературного язика, як се можна бачити, прим[іром], із опису шкіл голосного Фреліха, зробленого звісним російським педагогом К. Ушинським, що кладе такі школи взірцем і для наших ("Педагогическая поездка по Швейцарии" в "Журн[але] мин[истерства] нар[одного] просв[ещения]", 1863).

зверхнього розвою німецького літературного язика, можна, трохи чи ще не в більшій мірі, прикласти й до Росії, хоч у нас зовсім не так розповсюджені відомості і, значить також, здорові поняття про значіння людових говорів, як між прихильниками єдності літературної мови, так і між любителями людових говорів. А тим часом наша літературна мова щодо свойого вироблення геть-геть молодша від німецької, бо ж її теперішня форма не може лічити більше як 100 літ своєї історії. Крім того, Росія — країна широчезна і переважно селянська, сільська, тим-то й язик сіл, література для сіл і про села повинні б мати в ній особливе значіння й багатство. Належить додати, що й у зверхніх відносинах Росії до племен, які прилягають до неї з полудневого заходу, є подоба до відносин Німеччини з племенами, що межують із нею на північнім заході, а то, що з кождим роком торгові зносини, колонізація, ба навіть політика, приводять Росію у щораз тіснійші відносини до полуднево-західних слов'ян. І як паростi нижньонімецького діалекту становлять зв'язь літературної німецької мови з голландською, скандінавською і навіть із англійською, так західнуруські діалекти, білоруський і український[6], зближають російську мову із польською, чеською та сербською. Західні русини здавна ходили в Чехію, серби з'являлися на Запорожжю — і не натрафляли на трудності при взаїмнім порозумінню з туземцями. І тепер українець може легко розмовляти майже зі всіми слов'янами, переміняючи лишень фонетику і форми своєї народної мови. Для доповнення аналогії з практичним значінням нижньонімецької мови належить додати, що коли ми маємо початки національного російського матроського населення, то з виїмкою населення північного Помор'я, яке не може, задля свойого положення, грати дуже важної ролі, те матроське населення становлять головно українці Дніпрового низу і побережжя Чорного моря, коли інші слов'яни мають таке населення лише в

далматських сербах, що грають таку важну ролю в австрійській купецькій і воєнній флоті. Всі ті обставинини придають західноруським діалектам, а особливо українському, велику вагу і то не тільки літературну, але фактичну. Зрештою, ми радо згоджуємося, що зверхнє значіння західноруських діалектів ще дуже загадочне і покрите туманом та що велику вагу можуть мати ті діалекти при вдоволенню потреби руської публіки мати ярко нарисовані малюнки народного життя у західній Росії і потреби самого того народу мати літературу, що ширила б у найдоступнійшій формі на рідній мові знання і цивілізацію, не викликаючи в народній масі погубного розділу на дві верстви, з яких одна, вважаючи себе цивілізованою, буде глядіти з погордою на людей, що лишилися при рідній мові і формі побуту, мовби на яку нижчу расу.

З західноруських* діалектів білоруський не показав протягом сього століття майже ніяких стремлінь до літературної діяльності. Навпаки ж, по-українськи надруковано від часів Котляревського немало, так що в одній порі підношено в нашій пресі питання, чи розвиток української словесності не загрожує роздвоєнням російській літературі. Саме поставлення такого питання вважаємо дивним, а жалоби, які появилися в нашій пресі від 1859 р., на тенденції любителів української літератури та оправдання і мрії останніх — навіть у значнім степені наївними, бо такі питання можуть рішатися тільки вимогами життя і фактами, а не філософуванням і фантазіями, з одного, та пострахами, з другого боку. Тому-то й ми при видаванню оцінки нових творів української літератури обернемося до фактів і на тій твердій основі визначимо їм те місце, яке

* В друк[ованому] тексті — "Из наших з[ападно]р[усских]", — та те "наших" рукою Драгоманова перечеркнене (прим. І. Франка).

вони повинні займити у ряді інших продуктів інтелектуальної роботи нашої суспільності.

De facto бачимо ми в Росії три підділи літератури, що всі підчинені однаковому ходові ідей, але ріжняться характером публіки, для якої вони призначені, матеріалом, описуваним ними, і, вкінці, мовою. Се в першій мірі література руська, російська, або, як хочете, всеруська, тобто більшість нашої літератури, наукова література, публіцистика, що висловлює ідеї й інтереси освіченої суспільності всіх частин Росії, белетристика, що малює типи тої суспільності. Нема що казати, що та більша частина нашої літератури пишеться мовою, хоча й основаною на широкім великоруськім підкладі, то все-таки спільною щодо уживання всій освіченій верстві в Росії і не чужою примішці полудневоруських елементів, занесених головно в періоді панування церковнослов'янської літератури в XVII-XVIII ст. Замітний в останніх 30-40 літах відплив українців від столиць і разом із тим, наслідком централізації нашого літературного й суспільного життя, від літератури, в якій, особливо в белетристиці (а вона головно й впливає на вибір літературної мови), ряд визначних діячів, початий Каппістом, Богдановичем, Гнєдичем, закінчується Гоголем, і навпаки, головна участь у російській літературі й белетристиці великоросів, вплив нової великоруської народної белетристики і театру, наука по школах великоруської народної словесності, билин, пісень, пословиць, при цілковитім ігноруванні української, викликає се, що російська літературна мова приймає щораз більше місцеву великоруську закраску. Та вона ще не дуже сильна, а головно — щодо уживання і значіння література наша не може бути спільною і, мабуть, такою й лишиться. Розвиток знов провінціальних центрів освіти й літератури, рівномірнійші розсліди пам'яток народної словесності і мови по школах можуть усталити рівновагу участі всіх народних руських елементів у

мові освіченої суспільності, а тоді в полудневій Росії буде ще менше реальних підстав до праці над виробленням цілковито відрубного органу наукової і суспільної думки. Не скажемо, щоби й тепер не було певних відтінків у ставленні й закрасці спільних питань російського життя, а навіть європейських ідей, між уродженцями півночі і полудня Росії: уважне око добачило б значні відтінки відносин не лише, приміром, до минувшини Росії (деякі тих відтінків показані в статтях Пипіна "Характеристики" і ін.), до слов'янства (про яке, приміром, Бодянський, Григорович, Костомаров говорять трохи інакше, як Аксаков, Хом'яков і т. д.), до візантинізму, до польського питання, але й у самім характері розуміння біжучих життєвих питань, які в дійсності мусять бути спільні півночі й полудню Росії. Так, приміром, пориви великоруської молоді носили більше політичний, економічно-організаційний характер, її стремління виріжнювалися утилітаризмом, коли полудневоруська молодіж 1859-63 років була зайнята переважно педагогічними питаннями, більше дорожила індивідуалізмом; сей спір про конечність у наших часах ч и с т о ї штуки і науки, який ведено свого часу в столичних журналах і кружках, ледве був би можливий на полудні Росії. Взагалі дуже жаль, що слабий розвиток літературного життя по провінціях, спричинений усіми умовами нашого суспільного життя, включно до законів про пресу, доводить до того, що різні відтінки типів освіченої суспільності на півночі і полудні Росії не схоплені і не представлені в наглядних образах. Належить, зрештою, сказати, що в усякім випадку ті відтінки не сильні ще настільки, щоби потребували для себе окремої мови; се й одна з причин, чому не з'явились свойого роду "Отцы и дети" або "Что делать?" по-українськи.

Та крім такої дійсно всеросійської, або просто російської (російсько-європейської) літератури, у нас фактично є окремий відділ літератури, література місцева, велико-

руська, яка тільки наслідком непорозуміння вважається загальною. Се все те в нашій літературі, що стосується не стільки до того фактично спільного верхнього слою населення, що витворювався з усіх сторін Росії на дріжджах європеїзму нової російської держави від XVIII в., скільки до корінного великоруського народу, який без сумніву представляє такий самий відрубний, локальний тип, як і український. Через те л о к а л ь н о ю, не всеросійською, але с п е ц і а л ь н о в е л и к о р у с ь к о ю щодо змісту, духу і мови являється белетристика й поезія, яка хоче живо змалювати побут і склад думок та почувань великоруського народу, як приміром, байки Крилова і пісні Кольцова, оповідання Писемського, н[а]пр., "Плотничья артель", комедії Островського, поеми Некрасова, н[а]пр., "Мороз — красный нос", "Коробейники" і ін., більша частина творів молодих белетристів: Успенського, Слєпцова, Решетникова, Максимова та ін. Так само місцеві, великоруські, будуть і ті літературно-педагогічні твори, що або хотять передавати великоруському народові відомості в можливо найприступнішій для нього мові й формі, як приміром, праці Максимова, Петрушевського, Іванова і ін., або, бажаючи виховати вищі класи в можливо близькій зв'язі з народом, вводять із конечності в свої книги лише живу великоруську мову і поезію, як приміром, переважна частина наших книжок для читання по "Родному слову" К. Ушинського. Те, що сказано про літературу, має застосування і при інших формах культури, що впливає в відомій мірі на виховання суспільності, — при музиці, архітектурі, малярстві; і тут у нас не все загальноросійське, руське, що таким називається в звичайній розмові, але багато в ньому місцевого, тільки великоруського.

Сьому місцевому народно-великоруському відділові літератури і культури поки що відповідає фактично і українська література і то як її белетристика та поезія, так і

нечисленні проби утилітарно-педагогічних книжок для українського народу. І нема більшого підпорника спеціальних українських стремлінь у літературі й культурі, як подібні великоруські речі, приміром, комедії Островського, "Жизнь за царя" і "Камаринская" Глинки, "Родное слово" Ушинського і ін. Нема, проте, іншого способу покінчити з українським індивідуалізмом у російській культурі, як засудити всю російську культуру на абстрактний, клерикально-бюрократичний, безнародний напрям — річ, очевидно небажана і неможлива.

Те, що друкувалося досі по-українськи, можна поділити на три часті: а) народно-педагогічні книжки, б) повісті і поеми, що малюють народне життя в минувшині й теперішності, в) гадки і мрії письменників про різні речі, головно, у стихотворній формі. На жаль, на перший відділ обертали письменники, що пробували своїх сил в українській літературі, відповідно мало уваги, а до 50-х років і зовсім ні. В 50-х роках появилися проповіді о. Гречулевича, опісля коротенька енциклопедія в формі "Граматки" Кулішевої; аж у 1860-63 р. видавання книжок для елементарної народної освіти увійшло в систем українських літературних діячів і було протиставлюване Костомаровим, як річ дійсно важна, — дилетантській забаві у стихотворстві. Та в короткім періоді між повстанням тієї ідеї і нагінками на український "сепаратизм", видуманий представителями реакції між іншими подібними страховищами, вспіло появитися лише невелике число педагогічних книжок на українській мові, між якими визначалися оповідання зі святої історії о. Опатовича, арифметика Рубісова і Мороза і нарис фізичної географії під назвою "Дещо про світ божий"[7]. Сі книжечки належать і тепер до ліпших елементарних книжок у Росії (а тим більше були вони такими до 1863 р.), що потверджується й тим, що арифметика Рубісова — одне з перших пристосувань наглядного методу при викладі сеї

науки, — появившись на російській мові, витримала кілька видань, а книжка про "Світ божий", видана в російському перекладі, появилася в короткім часі у другім виданні, була одобрена ученим комітетом народної освіти і доручена такими педагогами, як барон Корф, хоч і рівночасно викликувала здивування своїм заголовком "переклад із українського", а українського оригіналу не було в продажі. Минулого року (1872) з'явилося в кінці друге видання оригіналу, за яким належить бажати появи дальших випусків географії, як і книжок із царини інших наук (бажало б ся, головно, зі стислих наук). Бажаним було б також, аби такі книжки відзначувалися подібними прикметами в наших часах, як тамті визначувалися в часі своєї появи, коли російська популярна література ледве зачиналася. Заходить тільки питання: хто і що виграв наслідком того, що книжки, узнані за гарні щодо змісту і які не мали нічого протицензурного, не показувалися дев'ять літ друком і стільки ж літ оставали без продовження? На який Матузаїлів вік[8] мають числити діячі освіти в Росії супроти таких переривів, і чи дійсно стоїмо ми в такім світлім положенню щодо багатства нашої популярно-наукової літератури й освіти, щоби для нас нічого не значили десятилітні перерви? Між іншими книгами, призначеними для видання в 1863 р., був і переклад євангелія на українську мову, одобрений Академією. Та видання не дійшло до кінця наслідком перепон із боку духовної цензури, що постановила не допускати до профанації святого слова мужицькими діалектами, хоч його писали первісно "рибаки", які власне простотою свойого слова, що так різко відбивалася від "розглагольствований" книжників і фарисеїв, "ловили людей". Те саме скоїлося з перекладами псалмів, довершеними Шевченком і Максимовичем. Переклади першого, що появлялися окремо і в попередніх цензурних виданнях його творів, не могли друкуватися в новім безцензурнім виданню 1867 р., а пере-

клади другого були надруковані лише в Галичині 1867 р.* В 1869-1871 р. в Австрії надруковано український прозовий переклад П'ятикнижжя Мойсейового і стихотворний переклад книги Йова та цілого Псалтиря; переклад сей лучив у собі прикмети простоти з поетичністю віддачі тих замітних пам'яток релігійної поезії. Того самого року появився у Відні український переклад чотирьох Євангелій, і хоча він не зривав зі старослов'янщиною та високим стилем ("Йоан рече" та ін.), то все-таки про нього можна сказати, що то одинокий переклад євангелія на живу мову цілого руського народу тому, що мова того перекладу, який продається в нас під назвою Євангелія "на русском наречии", не може називатися живою мовою ні великоруського народу, ні російської літературно-освіченої суспільності; се мова нашої духовної літератури десятих років сього століття, себто більше застаріла і мертва, як карамзінська. В багатьох випадках переклад сей навіть відповідніший для України, як для Великоросії, бо українська мова все-таки ближча до церковнослов'янської, як мова народу в Великоросії. Сей переклад може очевидно розходитися по Росії лише доти, доки існує монополь на його користь, піддержуваний правилами про духовну цензуру**.

* П'ять псалмів Максимовича надруковано в журналі "Галичанин" 1867 р. Ще три псалми з рукописів Максимовича надруковано 1886 р. в "Додатку до "Батьківщини"" (прим. І. Франка).

** Цікаво переглянути каталог важнійших перекладів Святого письма, розширюваних знаменитим британським біблійним товариством, переконатися, до якого степеня стараються в Західній Європі приближувати "слово боже" до душі народів, звертаючи увагу на найменші відміни народної мови. Ми бачимо, що існують переклади Святого письма для португальців і в колоніях, в Індії, і в метрополії, переклади: іспанський і каталонський, італійський і романський, п'ємонтський і ін. І для народів Росії має лондонське товариство переклади і литовський, і самоєдський, дорпатсько-естонський і ревельсько-естонський. Лише для племен руського народу існує одинокий лад, із якого фраза з "Апостольських діянів", приведена в каталозі як взірець різних мов, надрукована так: "Как же мы слышим их говорящих собственным, каждому из

II

Коли українська література аж отсе недавно почала набирати утилітарного характеру, то на скусне зображення народного життя вона звернула увагу від першісінької своєї появи і мала вплив навіть на суспільність усієї Росії. Хоч як припізнені, в порівнянні з теперішніми скусними вимогами, повісті і театральні п'єси Гоголя-батька, Котляревського та Квітки, а проте, як порівняти їх із пробами зображення народного життя у сучасних їм письменників великорусів ("Бедная Лиза", "Марьина роща"[9] й т. п.), то перевага живості й правди зображення буде на боці українців, і в російській літературі треба йти до творів 40-х років, до Тургенєва та Григоровича, щоб знайти лішшу новелу з народного життя. Старі українські письменники, без сумніву, мали вплив на пробудження реального напрямку у літературі і поза межами України. Так, Котляревський Енеєм, що викликав і великоруське наслідування*, без сумніву, поміг реакції против псевдокласицизму; Котляревський же, Гоголь-батько, Гулак-Артемовський мали сильний вплив на Гоголя-сина, в чому можна досить переконатися, переглянувши "Вечорниці на хуторі...". Український письменник 40-их років, Шевченко, хоч уступає в реальності зображення народного життя викликаним Гоголем натуралістам російської літератури 50-их і 60-их років, бо носив у собі ще багато відгуків романтичної епохи, та зображав не

нас природным наречием". Най читач згадає, чи здибав він де подібну мову, крім перекладів із латини в гімназіальних зошитах? А така мова називається в згаданім каталозі russ. modern, і Святим письмом на такій мові вдовольняються всі племена і відноги руського народу!

* Тепер доказано, що річ малася навпаки, що Котляревський користувався великоруським взірцем (прим. І. Франка).

так типи, як ідеали українського життя; але зате ясністю свого протесту проти неправд і нагніту над народом, проти тої мертвоти життя, на яку присуджена була маса народу і суспільності в закріпощеній Росії, — Шевченко перевищує всіх російських письменників сорокових років і не уступає нікому з ліпших діячів руського слова щасливійшої епохи. Аби знайти тут йому рівного, ми мусимо спуститися до 60-их років, напр., до ліпших п'єс Некрасова. Сього року (1874) російська суспільність з подякою згадувала про те, що Тургенев своїми "Записками охотника" зачепив кріпосне право і через те може бути зачислений до починачів реформи 1861 р. Не гадаючи вменшати заслуги Тургенєва, ми не можемо не нагадати, що протест "Записок охотника" проти кріпосного права — се тихий шепіт у порівнянні з голосними прокляттями, якими нап'ятнував його Шевченко, і що через те одно Шевченко повинен бути згадуваний як один із небагатьох людей, котрі, бодай на Україні, будили людські почуття та гидоту до насильств чоловіка над чоловіком в одну з найтяжчих епох нашої історії. Коли, нарешті, Росія почала наближатися до ясного сформулювання питання про визволення селян і російська література мусила шукати за границею, в романі Бічер-Стоу, образів, які представляли би в скусній формі протест проти рабства, — вона знайшла в надрукованих в 1858 р., значить, написаних перед славними рескриптами 20-ого листопаду 1857 р.[10] (після яких у перших випусках журналів за 1858 р. появився й переклад "Хатини дядька Томи") оповіданнях Марка Вовчка і здемаскування кріпосного права, і симпатичне зображення народного життя. Звідси й те гаряче прийняття української письменниці російською критикою, зараз доконаний переклад її оповідань у ліпшім тодішнім журналі ("Русский вестник", видаваний М. Катковим) і другий переклад, зроблений автором "Накануне".

Гадаємо, що сказаного досить, аби доказати, наскільки безпосереднім і посереднім впливом українська література, іноді навіть випереджаючи російську та великоруську і все розвиваючися відповідно ходові російського суспільного руху, помагала літературно-суспільному розвоєві не лиш України і наскільки, значить, російська суспільність повинна бути заінтересована в її здоровім розвою. На жаль, твори української словесності ніколи не були у нас предметом безперестанної аналітичної критики по такому методу, якого взірці ми бачимо у Бєлінського та Добролюбова, і се може одна з причин, чому іноді у самих українських письменників недосить ясні ідеї про значіння тої словесності та ще через те протягом часу сеся словесність значно лишилася позаду загальноруської та великоруської, тим-то й слабі боки її, замітні й у ліпших її представителів (сентиментальність, дуренькуватість, певна діточість або грубість юмору), протягом часу майже зовсім заїли сильні. Коли російська література в творах Тургенєва, Гончарова, Достоєвського, Щедріна зображає живими красками типи суспільності руської, спільні півночі й полудню Росії, коли Некрасов, Островський, Гл. Успенський, Решетников, не згадуючи про інших, вивели стільки живих типів великоруського народу, — то українські письменники, особливо молоді, дуже часто граються оперетками а la Котляревський та повістями, де виводять або ідилічних цейзанів, або сміхотворців, або показують ляльки, що мають представляти ніколи не бувалих у дійсності "девиз народа", які чудним способом, під впливом народолюбців із студентів або сільських учителів, за кілька день піднялися на висоту цивілізованого розуміння та радикального розв'язання всіх "питань життя", або ж без усякого життя і подробиць намазані лиця народолюбців. Початок останнього роду літератури зробила повість "Майор" д. Куліша, надрукована 1859 р. в "Русском вестнике", повість, де між іншим виступає якийсь Сагайдачний, молодий

демократ, що пройнятий найрадикальнішими європейськими ідеями і рівночасно дивує повітових урядників адресами своєї переписки все з превосходительствами та сіятельствами і нарешті жениться з "донькою народу", піддаючися всім обтяжним і тепер освіченому чоловікові цікавим лише з етнографічного боку обрядам козацько-селянського побуту. Подібна література аналогічна деяким нашим романам радикального напряму, де виступають найдобромиснійші, але наймлявійші молодиці й дівчата, що говорять високим стилем про народну справу, про життя в народі, про внесення в нього правди і т. д.; і характерно, що й тут ініціатива пішла від українського письменника[11], котрий, зрештою, написав і живійші твори і котрого белетристика не чинить ані головної, ані тим менше сильнійшої сторони діяльності. А втім, по справедливості треба сказати, що тимчасом, як про справу в радикальних російських романах хоч і говориться не дуже ясно, але сама та справа, очевидно, належить до категорії більше практичних, суспільних задач, які можна навіть і ясно виразити словами: праця коло поліпшення зверхнього побуту та побільшення просвіти в народі — мрії й ідеї українофільських романів сильно схиляються до слов'янофільської містики. Хоч, зрозуміло, й українофіли не можуть забути суспільних завдач, не можуть не чути свого обов'язку працювати задля матеріального добробуту та просвіти народу; але в своїх романах вони показують нам як сю працю, так працю коло засвоєння самими діячами побутової народної обстави не як працю коло народу, серед нього і задля нього, — як працю себе самих, аби перейнятися народністю, зіллятися з народом до втрати свого лиця, до засвоєння народних епічних форм побуту і мало не всіх подробиць народного світогляду, невважаючи на їх середньовічне припізнення. Треба признатися й до того, що романісти добромисного радикалізму — Гоголі в порівнянні з новими українськими

авторами драматичних і епічних зображень, бесід і подвигів доньок народу та народолюбців.

Зо скількох писань того роду* ми спинимося на однім (а власне на оповіданню "До світа"). Поперед усього в сім оповіданню характерний самий заголовок, що нагадує й медові роки всеросійського лібералізму, коли після "Накануне" всі ми ждали появи нових людей з дійсним "ділом" і, переживши "трудное время" д. Слепцова, діждалися, нарешті, романів, де представлялися "нові люди", то вихвалювані, то побивані авторами, відповідно до краски сих останніх, але в обох разах із забуттям основних способів віддати дійсність, вироблених лішшими нашими белетристами та критиками. Залив літератури подібними писаннями грозила завернути нас до способів творива часів Правдолюбових, Негодяєвих і т. ін. і навіть суздальських образів "Страшного суду" або "Миші кота хоронять"[14]; але, на щастя, показалося, що російська публіка основно попсована Гоголем і через те, не подаючися ані червоній, ані білій красці авторської добромисності, домоглася від белетристики зображення живих людей, а не ляльок із написами та виливів авторів "від себе". По чудній іграшці природи показалося, що найменше попсовані Гоголем власне його найближчі земляки, які в неймовірно великому числі віршів оповідали про "світання", "досвітки", "ниву", на якій сіється добро і "слово" — десять авторів одними й тими самими словами, і все те з алегоричністю, що переходить своєю неясністю безконечно разів розмови про "діло" в петербурзьких романах добромисного радикалізму та про "здоровий розум" у московських новелах, про "марева" та "панургові

* Напр., писана подільським наріччям комедія "Ганнуся"[12], комедія д. Константиновича[13] "Був кінь, та з'їздився", оповідання, поміщені в галицьких часописях, як напр., особливо, оповідання "До світа, оповідання про людей нового часу"[15], в часописі "Русалка", 1866, чч. 6-11.

стада"[16]. Що ж до белетристики, то треба признати українським белетристам і драматургам, що декотрі з них силою свого скусного зображення дуже близько підійшли до ідеалу, представлюваного "похоронами кота". Ось, напр., короткий зміст оповідання "До світа". В Любогірському повіті стоїть хутір Рожевий цвіт, що належить до дідича Климковського; в хуторі 200 душ селян і 3000 десятин землі. Але що Климковський — внук запорожця, що після Січі втік навіть у Туреччину (як дістався син утікача на правий берег Дніпра, де, як видно з усього, відбуваються оповідання, і як міг стати в тій країні більшим польських і російських магнатів дідичем, автор не каже), то не лише не має дідицьких ідей, а навіть навмисно старається по-народному. Говорить він у себе дома не інакше, як по-руськи, себто по-українськи, попрікаючи сусідів і сусідок за їх польські та французькі розмови; доньку не хоче давати ні в яку школу, ані в пансіон, аби не стала "панночкою". Правдоподібність існування такої особи серед дідичів Київської губернії ще більше вменшається тим, що автор кладе події своєї повісті в п'ятдесяті роки. Але Климковський не хоче, аби його донька була невчена, і через те перетягся у Київ, де й вибирає їй учителів і сам багато читає і багато думає, а коли донька підросла, зважується спробувати здійснити свої замисли з її підмогою. Батько з донькою розмовляють про те, що є чутка, немовбито "цар дати народові волю"; донька пропонує батькові самому визволити своїх селян, але батько відповідає, що його "заїдять сусіди" і що треба ждати, поки "всі на се не згодяться", а на наївну увагу доньки, що коли він "зробить почин, усі за ним", відповідає: "подумаю". Вернувшися домів, батько й донька заводять школу і шпиталь, до котрого покликали молодого лікаря Світайла з Києва. Світайло був син чумака з Полтавської губернії — річ так само незвичайна, бо, як звісно, до теперішнього царювання дітей тих станів, що платили податки, не приймали до

гімназій та університетів. Молодий медик мав мало матеріалу до медицинської практики і через те помагав Марусі Климковській учити в школі та проводив вечори з нею в читанню й суперечках. Одного вечора товариство Климковських говорило про те, що було би, якби Січ стояла й досі, причому старий висловив гадку, що "по сім боці Дніпра (?) не було би панщини". Завважаємо, що роздавання земель старшині козацькій з обов'язками посполитих "послухати" почалося ще з часу Хмельницького, а в XVIII столітту вже майже завелася панщина на Україні, так що ся розмова могла бути наведена хіба задля того, аби показати, які наївні бувають іноді на Русі народолюбці та як мало вони знають історію свого народу. Появляється нова особа — польський граф Чапський. Граф теж колись учився в Київськім університеті, але, діставши спадщину, покинув науку, поїхав за границю, де, як належиться, пустив майно. З Климковським пізнався тому, що зичив у нього гроші. До того Маруся йому подобалася і він загадав оженитися з нею, аби, до речі, захопити й нову спадщину, так що граф часто їздить до Климковських, хоч їх "хлопська" генеалогія та ідеї й не подобалися йому. Розуміється, що граф і медик Світайло обмінюються не дуже симпатичними фразами, а проте граф, що навіть сердиться, коли Маруся зве його графом, береться й собі занятися заснованою Климковськими школою, та Світайло не зовсім чемно відпихає його пропозиції. На питання Марусі, після відходу графа, чому Світайло не приймив пропозиції, молодий медик відповідає так: "Тому, що він поляк, а де поляки, там і польські тенденції, котрі не потрібні ні нам, ні (мало)руському народові. Нашому народові треба просвіти й науки, а він почне говорити про політику... заведе байки про "ojczyznu", скаже, що й тут була Польща. Бог з ним". "Значить, ніякого поляка не треба допускати до нашої справи?" — питається Маруся. — "Ні, тих поляків, що думають по-нашому, а не так, як думала

Річ Посполита, тих поляків треба приймати до нас... Але таких один, два, три та й годі. А чому їх мало? Тому, що вони й досі не хочуть порозуміти, що Русь і Польща, хоч і споконвіку рідні сестри, та нема між ними старшої: обі рівні. Поляки хочуть, аби Польща була старшою сестрою та роздавала свої ласки молодшій сестрі, Русі. Русь сього повіки не прийме. А поки поляки не порозуміють сього і не докажуть ділом, що ми й вони рівні, доти не буде добра й миру між нами. Поляки — люди революції; їм давай різню, кров... а ми не хочемо війни, нам треба миру й науки. Ми віримо, що поле, засіяне словом правди, дає кращі плоди, ніж нива, напоєна людською кров'ю та нагодована людськими трупами". На різдво старий Климковський поклав зазначити се свято, що було й святом іменин його доньки, даруванням вільної своїм селянам, але вони її не приймили, відповівши: "не треба нам сеї бумаги, ми й без неї жили гарно... ми ваші, а ви наші, всі рівні (?), всі крепаки (?) — всі й вільні (?)". Коли розходилися селяни, над'їхав граф Чапський, що, лишившися швидко на самоті з Марусею, признається їй, що її любить, і освідчується їй, але вона відмовляє. Тут уже автор не міг витерпіти, аби не піти за звичаєм українських белетристів — казати своїм особам говорити піснями — і посадив Марусю за фортеп'яно, за котрим вона починає співати пісню, якою Наталка Полтавка відкидає пропозицію возного; а потім на увагу Чапського, що ся пісня не відповідна пригоді, змушує Марусю після уваги, що вона "так собі співала", заспівати й другу пісню:

На городі бузина перерубленая,
Одв'яжися ти од мене, я полюбленая!

Розлючений граф біжить просто в офіцину до Світайла, вгадуючи в ньому противника, і, звісно, кличе його на поєдинок, від якого молодий медик відрікається, видержу-

ючи логічніше від Базарова гадку про дурницю поєдинків і пояснивши Чапському, що він ніколи з Марусею про любов не говорив. Граф успокоюється і від'їжджає, не покинувши надії на сповнення своїх замислів... 9 січня приїхав у хутір ісправник і становий пристав з наказом обшукати Світайла і, якби знайшов що-небудь протизаконне, то запечаїтати і разом зо Світайлом привезти до Києва. Протизаконного нічого в паперах Світайла не знайшли, а підозреного знайшли лише латинську ботаніку та німецьку фізіологію, котрі справник разом з господарем їх повіз у Київ. За два тижні появився в хуторі Чапський і оповів, що бачив Світайла, як його везли на висилку в Мутну Воду (десь коло Уралу, в Персії, як пояснює граф!!) за те, що той, буцімто, "бунтує селян", пускає "фальшиві чутки", ширить "революційні ідеї", "українську пропаганду". Граф видався дуже чесним чоловіком і взявся уладити листові зносини Климковських із Світайлом. Але ті зносини були якось-то так організовані, що навіть і поштою Климковські перестали діставати листи від висланого приятеля. Так минуло два роки. Стан духу у Марусі та її заходів легко вгадати. Нарешті, приїхав з Одеси купець і розказав Климковським, що бачив Світайла, коли їздив у торгових справах, і додав, що Світайло дивується, чому на його шість листів нема відповіді.

Появляється підозріння, що либонь чи не Чапський перехоплює переписку, і через те рішають писати далі через Одесу й згаданого купця; Маруся сідає і пише до пізньої ночі, а на другий день їде в повітове місто. Переписка Світайла і Климковських дійсно влагоджується, і Маруся навіть подумує про те, щоб самій їхати в Мутну Воду; але одного гарного ранку появляється Світайло своєю персоною. Показується, що Маруся написала просьбу цариці і просила, аби Світайла або увільнили, або судили. Просьба Марусі мала той наслідок, що Світайла увільнили і завели слідство, хто перехоплював переписку нашої пари (?). Слідство

відкрило такі речі, що Чапський мусив утекти з Росії (!). Маруся і Світайло повінчалися, узялися за свою роботу в користь народу, котру й сповняли в щасті й веселості (!?), а Чапського покарали на смерть під час повстання поляків. "Він чесно спокутував свій гріх", — завважує Світайло, а автор кінчить своє оповідання: "Він був недобрий чоловік, але добрий поляк... Якби він не аристократична дитина, то був би ще кращий... А проте із сього (?) видно, що швидко вже буде день... Тепер світає... світає, народиться хлопська Польща і по-братньому зажиє з хліборобською Руссю!"

Треба признати, що в оповіданні, якого фабулу ми подали, зачеплено становища, які справді були в житті України, зазначено деякі риси й ідеї змагань молоді української 60-их років, загальноруського тодішнього базаровсько-рахметовського типу, але з своєрідними відтінками, що, може, появилися навіть ранійше в порівнянні з іншими країнами. Сюжет і становища, в які автор ставить свої особи, виявляють досить рідку у нас пробу суспільного, а не лише психологічного роману й повісті; і дійсно, коли в якій стороні у нас і можна би було знайти сюжети до такого роману, то власне на Україні, в епоху 1856-1863 рр., коли народ, пани, урядники, молодіж руська й польська були в особливому сильному русі.

Але, по-перше, фабула оповідання й нариси характерів майже не розвиті, голі й сухі, не обросли живими подробицями; а по-друге, автор забув перше правило живої белетристики — виводити на сцену існуючі, а не видумані особи й становища, — забуття, за яким пішла і невмілість звести кінці з кінцями; а окрім того, автор показав порядну неясність ідей, коли казав Світайлу висловити супротивні думки про тенденції Чапського. Всі отсі уваги зводяться до того, що головна недостача повісті нашого автора — то "властиво не присутність повісті, а присутність лише самих добрих намірів... в тім числі намірів написати й повість. Ми

готові згодитися, що рисування "нових людей" взагалі далеко трудніше, ніж "старих", і що іронія майже завсігди плідніше джерело літературної праці, ніж похвала. Але неясне розуміння завдач новійшої белетристики та її скусних способів, окрім слабості таланів, — ось причина, чому й сатиричні проби українських белетристів новійшого часу мало чим утекли від "Похоронів кота". Найудатнійша в такому роді — оповідання "Пан Комарчук" Данила Медовника[17] (з наївною дописко́ю: "що прозивають Погонцем"), написане в 1863 р., але надруковане у "Правді" за 1870 р. (ч. 31, з великими похвалами редакції, що називає д. Медовника найліпшим пером на Україні). Оповідання починається в Петербурзі, де пан Комарчук, властитель 1000 душ у Харківській губернії, завзятий українофіл і народолюбець, одягнений у шовкові шаровари "завширшки як Чорне море", вишиту по-українськи тонесеньку сорочку і т. ін., збирається їхати в батьківщину, аби завести уставну грамоту і балакає на теми Шевченка про доконечність задобрити несправедливості перед народом, зіллятися з ним і т. ін. Автор уже наперед оповідає, чим скінчилися подібні балаканки пана Комарчука, коли збиралася підписка на голодних на Україні, причому пан Комарчук поступив з особами, що збирали гроші так, як Іван Іванович у Гоголя з тою бідачкою, котрої питається: "Може ти, бабусю, їсти хочеш?", а потому каже: "Ну, йди, адже ж я тебе не б'ю!" — і далі рисує ряд невдач і розчарувань, себто, краще сказавши, ряд замасковань пана Комарчука при зустрічі з селянами, коли прийшлося показати народолюбство справді. Ся тема дуже вдячна і майже зовсім не зачеплена в російській літературі, де можна знайти хіба скілька рядків (у Тургенєва) про пана з московських слов'янофілів. Подекуди й до остатнього часу і серед українських панів тягнеться традиція ідей їх предків із козацької старшини XVII і особливо XVIII ст., коли ті предки не від того були, аби не пошуміти, коли не можна

збунтуватися, про права України, про "козацьку волю" і т. ін., налаяти "москалів", а при тому самохвальстві кривдити селян і дрібних козаків, підлизуватися вищим персонам із тих же москалів і подавати супліки про зрівняння прав їх із правами великоруських панів, що зробила ще в 1767 р. українська козацька старшина, поруч супліки про обновлення гетьманства та самоуправи України. Подібний характер ліберальзму української козацької аристократії й був головною причиною, чому український суспільний лад XVII ст. так швидко зробив місце ладові Московської Русі, чому нарід український так мало дорожив тим ладом; хоч коли той лад упав, то нарід нічогісінько не виграв, бо суть змагань української старшини сповнило правительство Катерини II, а то після зрівняння старшини в правах з великоруськими панами вона змогла, кажучи словами Пушкіна, "скакати в князі з хохлів", і почате нею закріпощення селян було довершене силою державного права. Потомкам помічників Хмельницького, Мазепи і т. ін. властиво нічого більше бажати. Але така вже прикмета всякої "старшини", що вона чує доконечність інколи дутися, не заводячи, зрештою, "новини", як і московські достойники Фамусова. А тут відповідно то ліберальному рухові олександрівських часів, то слов'янофільському дальших повстало українофільство (харківський "Украинский вестник"[18], "Наливайко" і "Войнаровский" Рилєєва, потому Шевченко і рух 1856-63 рр.). Потомки помічників Мазепи не могли не обізватися на сей новий рух, тим більше, що тут, як і в кождім національнім русі, є гарний гачок аристократизмові, бо кождий національний рух одним своїм боком звертає до минулого, що скрізь в Європі мало більше або менше феодальний характер; в тих же нагодах, коли через минулу історію якась народність була найменше порушена лише в нижчих верствах народу, національні партії й кружки в епоху відродин усе були раді наверненню до тої народності,

що стала "мужицькою", кождого потомка старої аристократії і навіть кладуть іноді, як се бачимо в Чехії, за одну зі своїх цілей працю коло навернення аристократії до "історичних традицій", як се кажеться. Національні партії й кружки часто таким чином суперечать самі собі, бо забувають, що народність, яку вони хочуть відродити, власне тому й опинилася на ступні "мужицької", що вищі класи задля станових користей покинули її, — забувають і те, що самі ж вони не раз хвалилися своїм переважно демократичним напрямом і підчеркували, що буцімто сим напрямом визначається переважно історія їх народу. Скоки народолюбних аристократів від корисного їм status quo до дилетантського народолюбства та хлопоманії, поцри скоки самих народолюбців від "історичної шляхти" до народу, — безперечно, найчистійшого зберігача й народності, — се багатий матеріал задля сатирика; додамо — і задля публіциста, і задля соціолога, бо вони можуть тут вияснити собі питання, чого варті задля поступу суспільного виключні національні ідеї. Чехія, Польща, Угорщина, Галичина і навіть почасти сама Німеччина від 1815 р. — ось поле для обсервацій подібних поява, а у нас, в Росії, їх можна бачити на появі в життю ідей слов'янофільства та українофільства. Але, на жаль, наша література не лише не обробила з талантом отсі появи, але й не доторкнулася до них. А тим часом слов'янофільство і українофільство 30-40-х років, з його більше аристократичним і дилетантським характером, і від часу визволення селян, коли масковий бал народності прийшлося заводити в серйозну справу, дали би чимало літературного матеріалу задля дійсного таланту.

Читаючи оповідання "Пан Комарчук", чуєш досаду, бачачи, яка прегарна нагода була для автора показати рельєфно купу рисів народного й панського життя, відносин недавнього часу, — тим більшу досаду, що автор майже крізь вибрав навіть і становища дуже характерні, та лише не зміг

усе-таки зробити повісті, що відповідала би сучасним літературним домаганням. Так, не кажучи вже про ненатуральний іронічно-хвалебний тон, яким написано оповідання і який, нарешті, надоїдає болюче, — по-перше, властиво кажучи, в оповіданні нема оповідання, а лише короткий конспект його, перериваний відносно довгими розмовами та вигукуваннями автора. Далі в тім конспекті декотрі становища дібрані дуже ненатурально, аби робити враження, яке повинно робити типічне змалювання життя, хоч би й з обличительною тенденцією.

Після розмов про доконечність зближення з народом і декламацій виривків із "Послання до земляків" Шевченка пан Комарчук виїжджає шестірнею в кареті на Україну, де один із перших наслідків його їзди був той, що перевернув віз із горшками, який вів "хохол", що незручно звернув перед швидкою каретою. На приїзд пана нарід не зібрався зустрічати його врочисто в більшій скількості, і се дуже розсердило пана; він, нарешті, казав зібрати громаду в садку перед ґанком. День на збори призначено робучий, селянський, а не панський. Довго вистояла громада, печучися на сонці, поки нарешті вийшов пан у тій розкішній українсько-козацькій, або, краще сказавши, українофільській одежі, в якій він виблискував і в Петербурзі і яка ще більше відбивала від бідності одеж дійсних українців, що зібралися коло ґанку. Льокай, отворяючи двері панові, хихикнув у рукав. Автор, хоч зі своїм звичайним кривлянням, але подає характерну прикмету відносин простого народу до панських переодягань: "І я, — каже автор, — вишив було собі народну одежу, звісно, не таку багату, як у пана Комарчука, і раз, коли льокай мій засміявся, дивлючись на неї, я запитавсь, чого він сміється над чесним убранням? Так він мені й відповів: "Бог знає, чого не видумують пани, — каже, — для своєї потіхи; немов діти, — тому й смішно. Ось тепер граються в мужицьку одіж!"

Пан Комарчук, поздоровившися з громадою, почав говорити про те, що бажає добра селянам, радий їх волі, надіється, що вони лишаться добрими сусідами, а він буде боронити їх від усякої напасті. "Будьте добрими людьми, — казав пан, — не робіть мені ніякої шкоди, бережіть моє добро, мій ліс, то й я вам пригожуся коли-небудь". Все йшло гарно, але один селянин промовив до пана по-великоруськи... Пан почервонів і закрутив вус. "Я, — каже, — приїхав на Україну, хотілося рідну мову почути, а ти до мене з Московщиною лізеш. Московське нехай в Московщині й зостанеться, а у нас нехай своє буде. Що се ти, хлопче, гордуєш рідною мовою? Погано! Я не тобі пара, — каже він, випростувавшися, — та й то говорю по-нашому, а ти, каже, що за цяця така? звідки взявся? Се, каже, сором і стид, панове-громада, що не вчитеся шанувати своє рідне. Коли у самих нема десятої клепки, так хоч на мене подивіться. Я пан, у мене 1000 душ, мене скрізь шанують, моє ім'я йде межи людьми, а я хіба балакаю по-московськи з вами, хіба стидаюся свойого?" — "Та се, пане, москаль і єсть. Се, вибачайте, той самий, що як були останній раз тут, то виміняли у справника за цапа з вашого стада, та ще й дзвінок дали. Сміялися тоді, що виміняли кацапа за цапа, а дзвінок дурно пішов." — "А-а-а! — протяг вельможа. — То чому ж ви не навчите його по-нашому? Адже ж тому, що він тепер ваш, то й вам сором, що й досі не вивчиться". Вельможний Комарчук сердито подивився на обідрану громаду. "Та ще скажіть мені, панове-громада, що се у вас за одежа? Хіба кращої нема? Се вже не знати що, й москалі краще ходять. Та я й не розберу, яка вона, — тільки бачу, що не наша. Що се у тебе, хлопче?" — "Що? штани!" — "Хіба ж такі носять?" — "А носять!" — "Ну, уперше бачу. Я думав, що наші рідні штани широкі, як Чорне море, а се у тебе німецькі "галанці", пане-брате. В німці, певно, постригся, а?" — "Ат!" — "Я тебе питаюся, голубчику, чого се ти в галанцях ходиш, та

ще й штанами їх величаєш? Ось у мене штани, так штани (вельможний розправив свої), а у тебе галанці, та ще й вузенькі, немов у тих, що в городах труби чистять. Скажи ж мені, чого се ти так одягся? Може, твоїй любці вони подобаються? (Пан розвеселився трошечки, уже почав і жартувати. Що се за добра душа!) А тут хтось іззаду як бухне:

— Се тому, пане, у нас штани вузенькі, що убожество наше, ні пошити таких, як треба. Ось як ваші, пане, стануть вужчі, так наші певно стануть ширші. Покинемо тоді ходити у галанцях.

— А я, — відповів пан, — покину з тобою, дурнем, балакати. Не лізь же тепер ніколи мені в вічі, чуєш!"

Довго пан сердився на невдачу першої зустрічі з народом, але нарешті перестав і пішов по селу з візитами до селян. У кожну хату заходив він і полишав білет зі своєю фотографією й написом: "Був у гостях у любого сусіда тоді й тоді". Біда лише, що собаки не хотіли признати в ньому селянина і ледва-ледве їх удержувано від того, аби не розірвали народну одежу пана. В одній хаті пан Комарчук наскочив на вмираючого селянина, при котрім не було нікого, окрім доньки, що видалася панові красунею. Селянин умер, а про доньку пан потім оповідав, що він хотів зробити з неї сільську учительку, та вона сама схотіла вийти замуж за кухаря. Достовірно тільки, що вже з Петербурга пан посилав 50 р. зарядцеві, аби видати на зубок новонародженому тої Галі.

В Петербург поїхав пан Комарчук, розчарувавшись до решти щодо народу із-за заведення уставної грамоти. Взагалі сцена читання паном Комарчуком уставної грамоти після молебна — одинока живо написана сцена в оповіданні д. Медовника, хоч і в ній видно деяку темноту в уяві автора про точки "Положення о крестьянах". Пан Комарчук, не зустрівши дяки в селянах супроти того, що він називав великою зі свого боку уступкою, до решти розсердився, коли

один селянин забалакав: "Та не турбуйтеся, пане, ми будемо робити, як робили, а "оставної" не підпишемо! Скаже начальство йти на оброк — підемо на оброк, на викуп — то й на викуп, а тепер до "слушного часу" будемо ходити на панщину. Звиніть, пане, а грамоти не підпишемо!" Пан Комарчук, що казав було вже подати горілки, аби запити могорич, що стояв було перед громадою, наслідуючи гетьманів, без шапки, але потім натяг її, завважавши уперте недовірство громади, тепер рішуче розсердився і забалакав уже й не по-українськи: "Что-о? ах, ты, мерзавец! Слыхали, батюшка? Свидетелем будьте А, каков? Я тебе дам слушной час! Я тебе покажу, как бунтовать... к черту; (на льокаїв, що принесли горілку) свиньям вилить!.. Я тебе дам "слушной час!" Связать его! Карп Иванович, что стоите? Ах вы гайдамаки! разбойники проклятые! Я вас уж проучу, какие ви у черта украинцы!.. "

Невважаючи на скусну мізерність оповідань "Перед світом" і "Пан Комарчук", ми все-таки навели зміст їх, аби показати читачеві, що при всіх неприхильних обставинах, невважаючи на недостачу органу й критики, все ж таки хоч у декотрих українських белетристів останнього часу бачимо рух думки наперед від часів дилетантського писання сільської ідилії й бажання схопити в белетристичній формі більші риси сучасного життя України. Лише чи через слабість природних таланів, чи через недостачу порядно зорганізованої суспільної опінії, котра може появитися лише при існуванні сталої критики, чи через слабість у авторів власної серйозності відносин до своїх починків, — оті проби молодої української белетристики визначаються великою мізерністю щодо скусності.

З усіх українських белетристів, що дебютували в галицьких виданнях, із серйозними скусними домаганнями можна приступити лише до одного, до д. Нечуя, що надрукував у часописі "Правда" три оповідання та одну дуже

цікаву статтю "Світогляд українського народу відносно до сучасності"[19], що показує в авторові велике знання пам'яток народної словесності і заодно просвічено-гуманний погляд на справи. Щодо талану, то Нечуй не нижче першого-ліпшого з молодих російських белетристів, що пішли в сліди Тургенєва, з "Записками охотника" котрого одно оповідання д. Нечуя "Гориславська ніч" незвичайно схоже манерою й тоном.

До оповідань д. Нечуя, по-перше, можна зовсім прикласти те домагання, що стало аксіомою в російській белетристиці, а то, аби образи скусних творів були взяті з дійсності, а не з вільної фантазії автора, так що коли іноді критик-читач завважає у д. Нечуя відхили від сеї аксіоми, то може, звертаючися з докором до автора, покликатися й на його власний примір. Окрім того, у д. Нечуя ви зустрінете справді особи й образи, а не лише наміри та конспекти. Нарешті, в трьох оповіданнях д. Нечуя, надрукованих ним одно за одним, видно виразний поступ як в обробленні подробиць, так і в самій їх скількості, себто, іншими словами, в живості та повноті малювання життя. Додамо ще, що повісті д. Нечуя, особливо остатня, зовсім виправдують причину свого буття, бо се не лише живі образи дійсності, але й образи, що появляються уперше; се особи й образи, взяті з такого життя, до якого ще не доторкали й інші руські белетристи, і до якого дуже часто трудно й доторкнутися неукраїнцям із роду й симпатій.

Перше надруковане оповідання д. Нечуя і, судячи по манері, мабуть, швидше, ніж остатні два, написане, се "Дві московки" ("Правда", 1868, чч. 8-13). Се повість про долю женщин, різних характером і здатних до життєвої боротьби, але котрих життя однаково було розбите як тими умовами нашого недавноминулого суспільного ладу, так і — в одної з них — фатальними наслідками невного темпераменту, часто подибуваного в українськім народі, розбиті в

боротьбі з поняттями й відносинами, также приналежними українському народному життю. Доля одної з товаришок — героїні повісті Ганни — дуже проста: донька вдовиці, вона вийшла з любові замуж за сина вдовиці, жовняра Василя, що прийшов відвідати матір, жила з ним у мирному, робучому щасті якийсь час, аж поки потім не покликали чоловіка в Київ, відки пігнали кудись далі, де він і пропав задля жінки безвісти. Сина взяли в кантоністи, себто відібрали його від матері не лише фізично, але й морально, із нього вийшов писар, що, прийшовши на відпуск до матері "посмотреть на наследство", висловляв надії "пойти вверх по проложенным путям"; але скінчив тим, що написав лист із Тули з просьбою продати "хату и другое имение" й післати йому гроші, потрібні йому на убрання й подарки "прекрасной барышне мещанского роду", з котрою писар, "знающий все ахвицерские артикулы и понимающий благородное обращение", збирається женитися. Ганна, за порадою попа й подруги, своєї хати не продає, та все ж таки помирає в ній у бідності й голоді, прикрита подертою свиткою та прощана лиш одною своєю подругою Мариною. Треба, зрештою, сказати, що ані особа Ганни, ані її становище в оповіданні д. Нечуя не нарисовані ані з великою докладністю, ані особливо оригінально, хоч відносини писаря до матері могли бути нарисовані живійше і повнійше; і взагалі д. Нечуй сказав із-за сього менше, ніж д. Куліш у нарисі "Зовсім інший чоловік", поміщенім у петербурзькій "Основі" (нарис, який не визначається скусною живописсю, але найкращим досі способом резюмує всі риси навичок і понять, що відділяють жовняра від селянина). Але зате особа другої жовнярки, Марини, і нарисована дуже живо, і вибрана автором зовсім оригінально. Се тип жінки з гарячою, страсною натурою, з поривами до самостійного життя, до красоти життя, до розкошів. В українській пісні часто мелькають образи

такого роду женщин, так що його можна вважати побутовим в українському житті. Але пісня народна взагалі може лише кинути нарис характеру, а не обробити його; а сим разом пісні не стільки говорять про такий тип, скільки дають чути, що авторами декотрих пісень були женщини такого роду. Із пісень же видно, що ті женщини рідко кінчають щасливо. Взагалі один із характеристичних рисів побуту України, як він відбивається в піснях, се — велика роля сусідських пересудів і "ворогів" у долі дівчини. Дуже часто видно, що "ворогам" удається попсувати добру славу і дальшу долю дівчини. Треба признатися, що сі характеристичні ознаки "вороженьків" не були досліджувані докладно ні українськими етнографами, ні белетристами, і через те про причини такої появи не можна ще говорити рішуче. Ми думаємо, що одна з її причин ось у чім: і народний характер, і відносний поступ українського народного життя виробили в натурі української женщини пориви до самостійності, які створили навіть декотрі форми побуту, напр., вільні відносини між людьми різних полів, вільний вибір чоловіка і т. ін. Але взагалі лад життя і навіть ідеали його лишилися все ж таки патріархальними, значить, некорисними задля молодих поривів до волі й самостійності, — ось чому старовіцька мораль домостроївського типу все ж таки воркотить на появи особистої ініціативи і, зустрітивши натуру, найменше здатну піддатися її оковам, кидається на неї з особливою злобою, котра своєю дорогою, роздразнюючи молоду, енергічну натуру, доводить остатню часто дійсно до капризно-ексцентричних виходок, до псування власного життя, аби лише досолити "ворогам". Часто пориви до волі появляються в українських дівчатах лише власне як пориви та як щось часове в натурі смирній і — особливо коли вона натрапить на відповідного милого, освітивши на час життя щастям любові, — втихомиряються. Іноді й більше енергічна, більше жадна волі дівчина,

зустрівши повне вдоволення своїх поривів до волі й раювання в своїм виборі та в житті з любим чоловіком также входить у, так кажучи, законні береги, переносячи силу страсті на любов до дітей, вдовольняючи жадобу діяльності доматорством*. Але не все родинне життя складається щасливо; а народне життя не дає, окрім родини, іншого виходу задля енергії та пориву до вільної діяльності не лише женщині, але й мужчині. Отже, долю такої нещасливої, але типічної, дівчини Марини і взявся показати д. Нечуй. Подібний тип, але при щасливійших обставинах, уже був нарисований злегка Шевченком у півдраматичній поемі "Сотник"; де-не-де ми бачимо його в оповіданнях М. Вовчка і навіть у Гоголевій Оксані ("Вечір перед різдвом[20]") мелькають риси дівчини того ж типу, який можна вважати одним із корінних типів української раси, бо з ним ми зустрічаємося і в досить живім начерку галицького белетриста Федора Заревича "Вітрениця" ("Правда", 1868, ч. 14). Але ніхто досі не показав з такою повнотою, хоч усе ще далеко невдоволяюче, трагізму життя дівчини сього типу, як д. Нечуй в особі Марини в "Двох московках".

Товаришка Ганни, Марина, давно вже будила неприхильність і сплетні сторожів сільської моралі своєю рухливістю, вільністю зносин із парубками, страстю до танців і пісень — і, здається, остротою язика (ми кажемо "здається", бо автор зовсім не доторкається до цього боку). Матері не позволяли своїм синам посилати сватів до Марини, та й вона не дуже-то квапилася виходити замуж. Укупі з своєю товаришкою вона полюбила жовняра Василя, але лише помагала зближенню його з її товаришкою, у котрої з болем у серці була дружкою на весіллі, співала, веселилася, танцювала, коли серце тріскалося з горя та заздрості. Відтоді Марина стала ще ріжча в

* Домашнім господарюванням (упор.).

зносинах із сусідками, ще сміливійша з хлопцями. На злість сусідам і одному парубкові, що не від того був, щоб женихатися з гарною й веселою дівчиною, та боявся брати за жінку дуже вже "жартовливу" Марину, Марина зважується вийти за першого-ліпшого і виходить за жовняра, що був собі ні поганий, ні гарний, а так собі, як усі жовняри. Але, вийшовши замуж, Марина побачила, що життя з чоловіком немилим — не жарт, а проба тим гіркійша, що Марина сама чула, що муж її чоловік зовсім не поганий, і навіть жалувала його. Нарешті жовняра покликали до служби, на яку швидко, дивлячися здалеку і плачучи, Марина відвела й любленого нею Василя, чоловіка Ганни. Марина пробувала забутися, скликуючи до себе молодіж на вечірниці, веселилася як дівчина, кокетувала з молодими парубками, але ніщо не помагало. Покинула вона веселість, прив'язалася з новою силою до товаришки, горе й бідність якої старалася полегшити, але померла й товаришка. Марині лишилося ходити до церкви, але прийшла одна жовнярка з Києва і збудила жадобу життя в старіючійся Марині оповіданнями про вільне й веселе життя в Києві. Марина пішла з нею й скінчила своє многотерпеливе життя в жовнярській корчмі, з якої її витягли рано на вулицю.

В оповіданні "Гориславська ніч, або Рибалка Панас Круть" ("Правда", 1868, чч. 23-26) д. Нечуй рисує другу типічну фігуру українського побуту, зрештою, вже зачеплену й іншими авторами, лише в нових становищах. У гарному місточку на річці Росі в Київській губернії, в одній із кращих краєвидами місцевості на Україні, рибалка Панас Круть оповідає свою долю вночі молодому товаришеві. В сім оповіданні ми бачимо ту саму фігуру українського ідеаліста, яку нарисував Шевченко в "Перебенді", в родині та в боротьбі з практичним життям. Родинне щастя його з жінкою тривало не довго, а погоня за багатством не була

вдатна через власний ідеалізм і конкуренцію жидів (спомини про життя з жінкою, про те, як Панас возив на ярмарок шапку та про торговлю жидівську — ліпші місця в повісті). Ітак, йому лишилося тільки, за порадою приятеля, такого самого ідеаліста, як сам, зайнятися риболовством, у якому він знайшов і невеличкий заробок, і волю, і вдоволення своїм естетичним і обсерваційним інстинктам. Та й тут бистра камениста Рось таки перевернула його човен. На Україні можна подибати чимало таких старих людей, зайнятих різними, так сказавши, проміжними працями (свого роду зайвих людей): рибалок, пасічників, сторожів садів, бондарів і т. ін. ; у багатьох із сих тихих і мовчазних людей є на душі одіссея про те, як він рвався, як-то, кажуть, "за людьми", аби стати "чоловіком", та не став ним, власне, тому, що натура сотворила його чоловіком в іншому, вищому розумінні. Дуже часто такі свого роду "зайві люди" самі себе називають дурнями, невмілими, бо загальний лад життя навколо них піддав їм гадку, що лише той розумний, хто придбав "худобу", "добро". Але дайте народові просвіту — лише дійсну просвіту і в близькій народному серцю формі, а не оту цивілізацію, що появляється у "Двох московках" в особі писаря, а в "Гориславській ночі" як жиди-лихварі, — і ті "зайві люди" розів'ють у собі ту "іскру божу", що не дала їм стати такими, "як люди", і стануть кращими провідниками в народі кращих ідей цивілізації.

Яка ж була досі стичка між народним життям і так званою цивілізацією, д. Нечуй показав докладно в найдовшій і найкращій своїй повісті "Причепа, картини з життя Волинської України" ("Правда", 1869, чч. 12-46). Ся повість занадто довга і занадто повна живих подробиць і сцен, аби ми взялися в рецензії подати увесь реальний бік її змісту тим із читачів, що її не читали. Ми гадаємо, що швидше чи пізнійше автор видасть повну збірку своїх

творів у Росії* і хто-небудь перекладе кращу його повість на російську мову, тоді наша публіка матиме можливість оцінити новий талант у нашій літературі, який не уступає ні в чому кращим із молодих наших белетристів і при тому рисує той побут, у який, окрім нього, ніхто не заходив. Ми передамо лише коротко фабулу повісті, аби читач сам міг судити, який ріжнородний і малодосліджений матеріал зачерпнув новий український белетрист, і спинимося на тенденції тої повісті задля ваги питання, зачепленого нею. "Причепа" — се історія двох родин, із яких у кожну ввійшло по особі польського і руського елемента на Волині, причому польський, звісно, шляхетський, бо народу польського там нема, а руський — народний, властиво міщанський і духовний, бо одруження особи польської з чисто народною особою селянського роду там зовсім неможливе, та й міщани живуть властиво однаковим життям із селянами, а духовенство, хоч і сильно подалося до шляхотства, та все ж таки не розірвало своїх зв'язків із народом.

І в обох родинах шляхотський, лінивий, розпусний, брехливий елемент, який причепився до народного життя, заїдає український, правдивий і робучий. Перша родина складається з потомка козака Середи, якогось Серединського, і жінки його, попівни Ганни. Батько її, отець Теодор, взагалі одна з ліпше нарисованих автором осіб, лише через те й віддав свою доньку за поляка-шляхтича, що мав багато доньок. Але зразу молоді жили щасливо; Серединський працював яко економ у маленьких маєтностях і добився посади управителя в розкішній маєтності одного князя. Тут, у великому домі, в прегарній місцевості, у Серединського

* В Галичині вийшли в 1872 р. три розбирані нами повісті окремою книжкою, та при недостачі регулярних книгарських зв'язків між нашими центрами і Львовом се видання можна вважати задля Росії неіснуючим.

пробудилися шляхотські інстинкти; він уже ображається панібратством між слугами й жінкою, йому прикра "простота" останньої і, нарешті, він зустрічається з дійсною шляхтянкою, жінкою сусіда, управителя Лемішковського, Зосею. Звісно, красуня й кокетка Зося завертає голову Серединському, що задля неї забуває жінку, починає носити їй свої покладні гроші, тратить час на розривки із Зосею та з її сестрами, доводить жінку до сухот і доживає до того, що князь виганяє його з посади, а тесть його, отець Теодор, б'є його саме тоді, як він пропонує Зосі, яку перед тим чоловік вигнав із дому, втекти з ним або втопитися разом у Чорному морі (сцена одна з більше невдатних, хоч автор, очевидячки, рахує на комізм її, але пересолив). Друга родина, Лемішковських, нарисована автором іще з більшими подробицями, ніж родина попівська отця Теодора та його доньки. Батьки Лемішковського були старосвітські люди, міщани Лемішки, що забагатіли з праці й торговлі. Се люди, що здійснюють простонародний український ідеал і, бачиться, ідеал самого автора: чесні, набожні, роботящі загрібайли, що дбають про побільшення "добра й батьківщини", але не кривдять наймитів і взагалі дрібних людей, що досита годують духовенство і бідних у свята задля спасіння власної душі. Нічого й казати, що всі обряди українського народу берегли старі Лемішки з релігійною докладністю. Автор, не обмежуючися тим, надає своїм героям якусь теоретичну свідомість святості не лиш обрядів, але й усіх форм народного побуту, мови, манер, їди й т. ін., так немовбито герої не попросту люди з народу, а народолюбці, теоретики й дилетанти, що стараються жити по-народному, заглядаючи до етнографії. Автор, таким чином, забуває, що питання про збереження народності в життю власне тим і комплікується, що не лише "причепа", але й дійсні люди з народу держаться народності в побуті зовсім не з переконання, а з навички, а через те з ходом життя раз у раз покидають деякі форми побуту та й

саму мову, часто самі того не завважуючи, і забуває, що у людей із народу зовсім нема теоретичного переконання в поганстві панських форм життя і святості своїх, а швидше заздра погоня за панством і така сама заздра смирність при неможливості дігнати панів. Звісно, часто можна чути в народі насмівання з того, що видно в панському житті, одежі, норовах дійсного комічного або пустого та неморального; хоч іноді такі насмівання йдуть і дуже невдатно, а проте часто можна бачити, що народ подається і при нагоді й можливості засвоює чимало з того життя, і часто засвоює й пусте, а іноді і резонне і наручне, бо годі ж не тямити, що при всіх своїх нісенітницях навіть життя шляхти на Україні має в собі дещо з виробленого поступом освічених народів.

У таких-то правовірних Лемішок, із яких чоловік навіть гидиться самою гадкою про можливість, аби він або його син стали панами, єсть одинокий син, котрого батько бажав навчити письма й науки, але не задля того, аби він став паном, а задля того, аби він ліпше повів його господарство. Жінка, зрештою, бажала, аби син став паном, не знаючи собі більшого щастя, як чути, як син її править службу божу. Хлопця дійсно віддають у духовну школу, але тому, що ще недавно дітей оподаткованих станів у гімназії не пускали, а повітових шкіл у західній країні не було. А там, коли й податникам дозволено ходити в гімназії, то й молодий Лемішка перейшов туди, де його й зроблено задля шляхетності Лемішковським, і, скінчивши школи, появився дома дійсним паничем. На пропозицію батька погнати худобу напоїти або поїхати на ярмарок продати муку молодий Лемішковський відповів, що йому в його одежі та з його просвітою займатися таким не ялося. Замість помогти батькові в господарстві, він ходить на прохід і мріє на берегах ріки, де й бачить "діву на скалі", яка видається йому ангелом, що молиться богу, а справді то була молодша донька

станового пристава Пшепшинського, Зося, що ставала в ексцентричні пози не без наміру захопити багатство Лемішок. Стара Леміщиха готова була поділити надії сина про те, як він може вийти в пани, і підбиває його мрії про ангелів, але старий Лемішка швидко порозумів, що він утратив сина, думаючи через знання зробити з нього ліпшого собі помічника-наступника і намножника придбаного ним добра й батьківщини. Але робити вже було нічого, і Лемішка, порадившися з попом, зважився тягти далі науку сина в університеті. Тут Лемішковський узявся щиро за науку, але взагалі він усе робив поривами і тепер, опинившися раз на бенкеті студентів, залежався на другий день дома, не пішов на виклади, а потому почав залежуватися частійше; після одного гидкого бенкету теж бився з офіцерами та поліцією та й був вигнаний із університету. Замість надій на велику кар'єру лишалося тільки вступити до місцевого суду, де й узявся Лемішковський за невдячну та все ж таки панську канцелярійну роботу. Незгода з батьком ставала чимраз більша, хоч старий і здержував себе. Та ось Лемішковський зустрічає на балу у начальника суду одну з трьох доньок станового пристава Пшепшинського, типічних репрезентанток польської шляхти, котра думає, що поляк і пан — одно й те саме, що пан сотворений на розкіш і пестощі. До тих пестощів і розкоші рвуться й гарні доньки станового пристава, думаючи про те, що би то вони робили, як би жили, коли б родилися в родині якого Замойського або Чарторийського[21]; але, на лихо, доля не післала їм не лише спадщини, але навіть сяких-таких женихів. Щодо маєтку, то показується, що найвідповіднійший жених — молодий Лемішка, і ось запанувати над ним загадала Зося, хоч до сеї здобичі змагають і старші сестри. Розуміється, що запанувати над серцем Лемішковського було зовсім не важко. Мати його теж очарувалася красотою нареченої сина. Один старий Лемішка довго держався, не подаючися просьбам

сина, ані заходам самого станового пристава. Але, нарешті, уступив і старий. Сама вирахована, Зося налякалася свого подвигу — пережити весілля, на яке треба було запросити й сусідів панів-поляків, але на якім будуть і мужики, родичі молодого, і потому жити з мужиками, поки вони не помруть і поки назбирані ними гроші не стануть їх майном. Молоді осілися в добудованій старим хаті, а коли у них народився син, то старий Лемішка відступив навіть власну "кімнату", і ось почалася в тім домі боротьба двох ладів побуту, двох складів понять, яка скінчилася тим, що із-за коня, взятого Зосею, аби їхати на прохід, коли його треба було в господарстві, Зося випроваджується з дому тестя на жидівську квартиру, де їх життя могло бути сяке-таке лише завдяки тайній і явній помочі від старої Леміщихи. З жалю за сином і внуком Лемішка швидко слабне, каже вилляти за свою душу дзвін на 1500 рублів, маслосвячується та й умирає. Пишно, з захованням старосвітських звичаїв, ховає Лемішку його жінка, і аж Зося спроваджується до її дому. Тут, зрештою, Зося починає орудувати так, що стара сама каже, що не пізнала би свого двора, якби не бачила ходу перемін. Уже давно й сам Лемішковський почав говорити по-польськи, відколи жінка переконала його, що такі красюки*, як він, москалями бути не можуть, а українцями можуть бути лише мужики. Діти і навіть наймичка теж не інакше говорили в домі, як по-польськи. Зося заборонила тещі співати дітям пісні, аби вони не набиралися мужицької мови. Коли стара побачила у сні чоловіка бідним і рішила, що душа його просить поминків, їй не позволили ані відправити пишного парастаса, ані зробити обіду задля духовних і бідних. Скромний парастас відправили в домі, але невістка навіть не вийшла на нього, а духовні пішли не лише

* Красені (упор.).

що не п'яні, а навіть напівголодні, ошукані в надіях на великий обід, які бували за життя Лемішки. Перед різдвом старій не позволили покласти кутю й узвар на сіні, що робиться по старосвітському завіту, аби "худобі було гарно". Загнівані попи минули на водохрещі дім Лемішок, що, таким чином, лишився без "Йордані". Лютуючи і нарікаючи, стара прожила ще небагато і коли померла, то духовні згодилися прийти на похорон, лише діставши наперед гроші. Зрештою, Зося плакала гірко, зробила великий обід і вдовольнила дяка за давнійший піст особливою пляшкою горілки. Після смерті тещі Зося намовила чоловіка, що ставав чимраз пасивнішим, продати двір і переселитися до Києва, аби дістати ліпшу посаду. Посаду знайшли мало що ліпшу, а гроші пропустили швидко. Прийшлося йти на управителя, і ось, тиняючися з маєтності в маєтність, Лемішковські зустрічаються з Серединськими. Дальше ми оповіли вище, лише додати, що Лемішковський упав до крайнього краю, втратив пошану до жінки ще перед описаною катастрафою, та, не маючи сили розійтися з нею, ані взяти її в руки, став за свої різкі виступи сміховищем задля неї та й її сестер, що спровадилися до неї жити, і задля кавалерів, що лазили до них щодня. Лише п'ючи в товаристві отця Микити та баби Марини, за намовою першої він зважився викинути за двері речі двох сестер своєї жінки та гувернантки з Варшави й заявити, що коли вона не рада тому, то може й сама йти за сестрами, куди хоче. Сцену Зосі з Серединськими знаємо. Вона мусила вернутися до чоловіка, що тиняючися із двора до двора економував далі, а Зося інтригувала й далі, лише нишком.

От така канва повісті, в котру входять образки побуту попів, шляхти, міщанства, селян, урядників і панства на Україні, нарисовані по більшій частині докладно, хоч іноді й карикатурно; іноді ж автор каже своїм особам розмовляти, так сказавши, навмисно, аби лише схарактеризувати

осередок, до якого вони належать (такі, напр., мрії трьох доньок Пшепшинського), або навіть задля того, аби виразити тенденцію самого автора (напр., розмова станового пристава про те, як легко зробити українця поляком). Основну ідею автора видно ясно як із заголовка повісті, так і з її епіграфа. Він бажав показати ту паразитну причепу, що причепилася до українського народного життя на лихо остатнього, причепу, що, кажучи словами псалма (119), взятими д. Нечуєм за епіграф, — "за добро, за щиру правду, за молитву тиху в злім серці замишляє лихо". Взята в широкім розумінні ідея д. Нечуя зовсім вірна, але сього не можна сказати про всі подробиці розвою її в повісті, а особливо про ті пояснення, які наводить автор про уступчивість перед "причепою" елементів, що вирвалися із народу, як молодий Лемішковський, а особливо не можна признати вірною ту мораль народолюбцям, яку, очевидячки, бажав висловити д. Нечуй. Що з'їжа результатів чужої праці і платня за те ще й погордою до особи робітника — річ гидка, поява, яку треба усунути, — проти сього, звісно, ні один чесний і розумний чоловік не буде змагатися. Що в загальних рисах на Україні, особливо на правому березі Дніпра, відносини між тими верствами, які стоять над народом, і самим народом такі, якими вони змальовані в повісті д. Нечуя, — се щира правда. Окрім звісного соціального ладу та правних відносин, на усталення погляду на масу українського народу, як на щось нижче, мають вплив і релігійні та племінні відносини не лише на правім, але й на лівім боці Дніпра. Ходом історії політичної та культурної ті живі прикмети та мова, що чинить ознаку українця, стали прикметами нижчого елемента на ступнях соціальних і правних, стали мужицькими. Українця як українця давить не лише більше або менше спільний соціальний лад, але й ідеї народності, ті самі, що в інших місцевостях помагають пробудженню в упривілейованих верствах уваги до мужиць-

кого елемента, яко зберігача ознак народності, і через те помагають моральному піддвигненню маси. Коли, напр. поляк у західній країні, себто шляхтич, переймається ідеєю народності, він змагається накинути свою народність українцеві, давши йому почути, що української народності нема, а є лише українське х л о п с т в о. Та сама поява, хоч і в меншій мірі і з іншими відмінами, повторяється й на лівім боці Дніпра в відносинах до українського народу російської культури — державного осередка: сей осередок, звісно, не переслідує віру й расу українця, як переслідувала їх іще недавно польська шляхта, але він так обминає все рідне українському селянинові, що кінець кінців остатній мусить переконатися, що він належить до нижчої раси, н и ж ч о ї не лише в порівнянню зі своїм або великоруським паном або урядником, але й в порівнянню з в е л и к о р у с ь к и м с е л я н и н о м, який один, по пануючим у нас поняттям, є репрезентантом руської народності. Коли українця-простолюдина навіть не хочуть держати в темноті та визискувати як простолюдина взагалі, а навпаки, навіть захочуть цивілізувати в дусі народності, то перед усього він мусить піддатися процесові, результатом якого мусять вийти дуже чудні відносини між ним і рідним осередком довкола нього. Наука "о т е ч е с т в е н н о ї" мови задля українця починається відучуванням від рідної; коли схочуть розвити в українця свідому пошану до батьківських історичних переказів, то розкажуть йому про Димитрія Донського, Івана Грозного, Сусаніна, а нехай би й про Петра Великого та Катерину II, але кінець "кінців він мусить переконатися, що його власні предки не зробили нічогісінько вартого стати підставою патріотичного почуття. Схочуть освіжити задля народу абстрактну державну цивілізацію поезією та штукою народною, схочуть, напр., завести орнамент у школі, віньєтку в книжці, заведуть у викладі історії народні пісні, хор співацький, — то беруться за великоруську орнаментику,

нарисують мужика великоруського, хату великоруську, — навіть на книжці, написаній в Єкатеринославській губернії ("Наш друг" бар[она] Корфа); прикрасять руську історію лише великоруськими билинами ("Рассказы" д. Петрушевського), не українськими думами; навчать співати: "Уж как пал туман на сине море" і т. ін. Знов український селянин мусить переконатися, що лише великоруський простолюдин вартий уваги просвічених людей. Наслідком довгого впливу подібних, зовсім партикуляристичних, хоч, може, й не навмисних відносин нашого державно-культурного осередка до всіх появ української народності, мусило бути те, що той розрив вищих клас із народом, на який плачуть слов'янофіли в Великоросії, на Україні мусив бути сильнійший, ніж де-небудь; що люди, які виходять із простонародного осередка через освіту, а особливо через півосвіту, ставляться в натягнені і часто дуже не гуманні відносини до рідного осередка і не лише не побільшують собою моральної сили сього остатнього народу, але навпаки, побільшують число елементів, що стидаються зв'язку з народом і визискують його; що самопошана в народі упадає, а заразом упадає й його енергія, а се дає простір усяким "причепам" — до "кулаків" і жидів включно — визискувати нарід. Сі появи, особливо, розуміється, сильні в віці кріпосного права й панування системи "офіціальної народності", далеко не щезли з новими реформами, перейнятими духом гуманності і дійсного народолюбства, бо усування рисів української народності з усіх появ публічного життя, хоч і вповні суперечить основним принципам нової Росії, а проте зовсім не спинилося. Сі появи не можуть не смутити кожного, хто бажає матеріального і морального добра двадцятимільйоновій частині руського племені, і неминуче будять у душі мислячих людей важне не задля самих лиш українців питання про значення й українських прикмет, переказів, побуту, мови в

моральному житті, вихованні й виробленні культури руської суспільності й народу. Хоч як мало досі оброблено се питання, а проте в суспільності й пресі можна було зустрічати за остатні десять-п'ятнадцять років скілька формул рішення його.

III

Ми спинимося тепер на сформулюванню сього питання й рішенню д. Нечуєм, що дійсно рельєфно показав факти безпомічного стану репрезентантів українського народу перед ненаситною "причепою". На думку д. Нечуя, джерело всіх бід українського народу в тому, що життям його країни не орудує ідея української народності. Через се буцімто народ обдирали та давили пани й урядники, яких автор називає "поляками і москалями"; через се просвіта, навіть університетська, плодила лише дерунів та людей без енергії, що гордували народною працею, рвалися до лежаного хліба, людей, як молодий Лемішковський. Описавши остатнього, яким ми його бачили, автор каже: "Ось яким його зробила наука без народності!". Натурально, що після сього автор дійшов до такого виходу, як поворот освіченої людини до форм народного побуту в усіх його подробицях. Задля більшої в сій справі зв'язі духовенства з народом, автор щадить у своїх сатиричних образках своїх героїв з духовної класи, і бачиться, зовсім не зачисляє їх до "причеп", описуючи з любов'ю і навіть подекуди з пафосом так радісне задля старого Лемішки виливання дзвона, поминки і т. ін. Але як не можна признати зовсім вірним пояснення д. Нечуєм усіх темних боків становища українського народу, так не можна згодитися і з його чорним поглядом на "науку без народності", навіть і в описуваний ним період до Кримської

війни, і ще менше можна признати вірною проповану ним панацею*.

Інститутською наївністю визначається тота філософія історії України, що пояснює долю української народності виключно хитрощами сусідів. Українське плем'я не раз бувало паном своєї долі, і коли маса його опинялася в неволі, то завдяки аристократії, яка вийшла з неї ж. Коли сій масі робить честь, що вона ніколи не могла признати праведною свою неволю і не раз пробувала скинути її, — то не можна ж не признати, що у тої маси не ставало моральної сили (до котрої не доходиться іншим способом, як освітою) ані задля того, аби скинути сю неволю до кінця і зробити неможливими її відродини, ані навіть задля того, аби здержати пануючі класи від етнографічного розриву з собою, себто від перекинення в поляків на правому березі Дніпра і в піввеликорусів — на лівому. За се остатнє, зрештою, нема чого обвинувачувати ані українську масу, ані відділену від неї аристократію. Тоді, коли історія рішала питання про українську народність, навіть і розвитійші суспільності не кермувалися ідеями народу (демократизму) і народності, що існували ледве-ледве в почині. Патріотизм не існував тоді яко народна ідея, але як народний інстинкт, що був швидше джерелом китайського

* Зрештою, хронологія д. Нечуя плутається, дія повісті його відбувається до Кримської війни, а тим часом у ній міщанин іде в університет і трохи пізнійше пани вже читають "Вѣсть". Коли ж молодий Лемішковський учився в університеті після Кримської війни, тоді мусив би дістатися в течію україно фільських ідей, і тоді повість мусила би змінитися, цікаво було би бачити зображення інших стичок у родині Лемішок — стичок, яких взірці представляло життя південно-західної країни останніми роками, а власне, цікаво було би бачити в повісті життя молодого чоловіка, перейнятого повним бажанням зіллятися з народом, але все ж таки зачепленого університетською просвітою, одруження його з дівчиною з народу, або ж роман іншого роду — одруження зі шляхтянкою, що принадила героя, між іншим, фразами про українізм, демократію й т. ін.

самовдоволення та турецького насильства над іншими, аніж як ідея про службу на добро всій масі народу. Тоді над інстинктом особистої користі коли й піднімалось щонебудь, то хіба ідеї релігії і держави, переважно династичної. Індивідуальні користі і династична належність тягли стару українську аристократію до польської держави, віри й народності; ідея релігії перетягла масу українського народу до московської, великоруської держави, до народності котрої почала тягнутися й аристократія українська новійшої просвіти. Навіть представителі культури на Україні не думали про всенародну культуру і через те вдоволялися церковнослов'янською та латинською, а після того радо і легко перенесли свою працю в центри московської держави, бо й там вони застали в культурних верствах таку ж півруську, не народну мову. Дальша доля питання про мову культури, що виробилася в центрах російської імперії, яка повстала з розросту великоруського московського царства, залежала від місця тих центрів і від скількості тих, що взяли участь у літературній праці представителів різних руських племін. І коли ідея про можливо тісне зближення літературної мови з народною, а значить, і з українською, не появлялася в Росії до найновійших часів і навіть досі здається чудною ледве чи не більшості просвіченої суспільності навіть на самій Україні, то се походить не так відти, що вона мало перейнялася ідеєю народності, як відти, що про народ і його просвіту у нас досі серйозно думає дуже небагато людей, та недавно ще й думати було би дуже чудно (при існуванню кріпосного права). Коли ж маса українського народу дісталася під нагніт кріпосного права, то се сталося через те, що нова українська аристократія і далі розвивалася по тим же історичним законам, що й стара, що й московська, і що сей процес освячено правними нормами московської держави XVII ст., що лише набрали іншої форми у XVIII ст., які, між

іншим, забезпечили надовго і власть польської аристократії над українським народом на правім боці Дніпра. Ідеї народності і тут ні при чому, бо в московській державі, через релігійну цілість людності та неперервність династично-державної історії, етнографічна різниця межи панами й селянами не виробилася, а проте нагніт перших над остатніми не був через те слабший ані тоді, коли московський або владимирський боярин говорив одним діалектом із своїми селянами, ані тоді, коли пани почали говорити мовою Пушкіна і навіть балакати про православіє й народність і бачити на сцені "Русский человек добро помнит" і "Жизнь за царя"[22].

Ітак, не відкидаючи зовсім значіння етнографічних різниць межи класами людності в країні українського племені, ми все ж таки думаємо, що головні причини всякого нагніту "причеп" над українським народом були та й є далеко більше соціально-культурні, ніж сяке чи таке становище там ідей про народність, що самі ті різниці, саме ототожнення поняття про українця з поняттям про селянина — результат причин соціально-культурних. Значить, тут, на соціально-культурному полі, ми мусимо шукати попереду усього й лікарств задля вилічення вказаної д. Нечуем слабості. Запалившися головно до етнографічних ідей про народність, д. Нечуй не доглянув парослі тих лікарств і в описуваному ним часі, в тій самій "науці без народності", котру він так чорно нарисував. Д[обродій] Нечуй представляє становище України перед Кримською війною яко гірше, ніж у часи перед Хмельницьким. Навіть в університетах він бачить лише німецьких і московських професорів, що міряли науки урядовим аршином і калічили історію по урядовій мірці, або гелертерів без життя. В самій молодіжі українських університетів він бачить лише запорозьке бурлацтво та гульню, але без запорозької любові до волі й народу. Виїмки чинять лише нечисленні двигачі

української ідеї, загнані долею в далекі країни. Ми, розуміється, не будемо рисувати рожевими красками занадто звісний нам час перед Кримською війною, та все ж і таки не можемо не бачити апріорної несправедливості д. Нечуя до нових порядків на Україні. Пічнемо з того, що він сильно запалюється до старої козацької України. Заслуги козацтва немалі, але пощо прибільшувати їх? Адже ж досить прочитати твори таких українських істориків, як напр., Костомарова, або заснований на серйозному досліді джерел роман д. Куліша "Чорна рада", аби дійти до висновку, не кажучи вже про київських академіків XVII ст., але й у запорожців ми даремно почали би шукати свідомої й повної прихильності до ідеї народу й народності; досить того, що підбивана духовенством боротьба за віру і повстання козаків, аби добути собі шляхотські права, дотулювалися і до поривів поспольства, себто маси народу, скинути власть панів, але не можна ж не бачити, що змагання духовенства й козаків власне лише дотулювалися і до поривів народу, а не сходилися з ними зовсім. Дивлячися безсторонньо на історію України, треба признати, що пориви українського народу до волі найшли собі ясні формули аж у вищих школах на європейський лад, заведених тут аж у найновіший "московський період" її історії, та що тут, у сих школах, почалося і вірне оброблення та пояснення значення історії України, а значить, повстала й ідея української народності. Безсумнівно й те, що як у виробленні серед української суспільності ідей про доконечність рівності й волі народної, так і в виробленню тих філологічних, етнографічних і історичних відомостей, що служать звичайною підставою для націоналізму, брали участь і великоруси, як через вплив загальних ідей нової, російсько-європейської культури, що скупилася головно в столицях, так і через роботу в центрах України. Аби зм'якшити свій присуд про українські університети, досить було д. Нечую згадати імена Луніна, Павлова,

Каченовського й інших людей, котрі в Харкові та Києві викладами загальної та російської історії, політичної економії й т. ін. внесли в українську просвічену суспільність європейські ідеї, корисні задля розвою народолюбства. Не можна забути, що й перші видання пам'яток народної української мови, перші проби означити її місце в ряді інших слов'янських були зроблені вихованцями Харківського та Московського університетів: Цертелєвим, Максимовичем, Срезневським, Метлинським, Лавровським і ін., між якими д. Срезневський та д. Лавровський зовсім, бачиться, й не родилися на Україні*. Коли молодий герой повісті д. Нечуя не виніс ніяких серйозних соціальних і національних ідей із університету, то не так через те, що йому не читали викладів по-українськи, як через те, що він, очевидячки, ніяких викладів не слухав і книжок не читав. Ми не хочемо сказати, що таких людей, як Лемішковський, не продукували наші школи, хоч і думаємо, що д. Нечуй дарма поклав свого героя навіть на перший курс університету: він зовсім не має й запаху університетського, та ми думаємо, що вважати таких людей за типових представителів осіб, що видають наші університети, буде несправедливо.

Окрім того, д. Нечуй у своїм запалі до ідеї народності, бачиться, забуває, що ся ідея далеко не є ані виключним, ані навіть головним діячем в житті збору людей, називаного народом, ані тим менше виключним діячем людського поступу, а лиш одним із багатьох інших. Так, напр., навіть держава, при всіх її теперішніх хибах і при всіх помилках людей, що запалюються до ідей про державу задля держави,

* Див. д. Срезневського: "Запорожская старина", Харків, 1833-1839, та д. Лавровського: "Обзор замечательных особенностей наречия малорусского" в "Журн[але] мин[истерства] нар[одного] просв[ещения]", 1859, ч. 6, що разом із висловом Міклошича[2] служить звичайно за авторитет оборонцям теорії про самостійність української мови в ряді інших слов'янських.

як інші запалюються до ідеї народності задля народності, послужила і навіть тепер служить поступові, поліпшенню побуту людей, що належать до різних національностей. При всій своїй запофаності* російська держава від XVII ст. представляє суспільний організм, який мало-помалу, але стало йде наперед і розширює права осіб, відкриває дороги до їх освіти. І в Росії, як і в кожній державі, було та й є чимало діячів на різних полях, які приносили користь народові, навіть не думаючи ніколи про народність. Скажемо навіть більше, що навіть тепер, коли ідею держави багато людей відкидає, все ж таки в європейських державах ідея горожансько-державна далеко тіснійше зв'язана з поступом осіб, аніж ідея про народність, навіть і тоді, коли державна власть, змішуючи поняття про народність і державу, змагає накинути силоміць людності окраїн народність центрів. Одиноко вірна оцінка всяких політичних заходів — то добро осіб, себто просвіта їх, багатство і ширина прав; а тепер навіть централістичні держави, що ломлять права осіб наскоками на їх народні почуття, все ж таки мусять, аби їх централістичні системи держалися хоч сяк-так міцно, робити задля осіб даної народності що-небудь корисне в інших відносинах, економічних, культурних і т. ін., іноді навіть у великих дозах. Своєю дорогою користь і ідею народності в кожній країні й стороні можна докладно зміряти лише степенем дібр моральних і економічних, які вона бажає або здатна дати особам, на котрі вона змагає розпросторити свою діяльність. Із національних рухів, що захоплюють держави й провінції Європи протягом теперішнього століття, лише ті мають у собі поступові ідеї, які ведуть до автономії та самоозначення сторін, із розбиттям виключно феодальних і поліційних зв'язків між ними, до демократизму та набли-

* Відсталості (упор.).

женння знання до розумів і почуття мас. Але дивлячися з такого погляду на національні рухи, ми бачимо в них багато й протипоступового, протигуманного, напр., добру дозу шовінізму в латинізмі, вояцьке насилування в германізмі та московському слов'янофільстві, клерикалізм у провансалів, фламандців, поляків, аристократизм у мадяр і т. ін. По більшій частині національні партії начинають свою пропаганду безрозбірним вихвалюванням своєї народності в теперішньому й минулому, підлизуванням і приподобою усяким елементам, хоч би й ретроградним, аби лише притягти їх до своїх ідей, проповіддю ненависті до сусід і т. ін. Коли після сього всього якийсь національний рух усе ж таки доведе до встанови краєвої та народної самоуправи, до підняття добробуту та просвіти мас, сих дійсних двигачів народності, то історик мусить признати сей рух поступовим, невважаючи на ретроградні та негуманні зигзаги його ходу. Але сучасному обсерваторові рухів в ім'я народності, що не може бути байдужий до кращих змагань століття — ідеї волі, рівності, розуму, — натуральне бажання, аби національні рухи й починали попросту пропагандою сих змагань і дорогами, що просто ведуть до тріумфу їх, і через те він далеко не завсігди може бути прихильний до всіх теперішніх національних і провінціально-національних рухів серед європейських суспільностей, починаючи від об'єдинительних змагань італьянців і німців аж до автономних змагань провансалів, фламандців і т. д.

Щодо українського руху, то він, подібно всім рухам у слов'янстві, більше винуватий в археологічнім і етнографічнім дилетантстві, ніж у безпосередніх ретроградних змаганнях, які різко видно лише в українських партіях у Галичині, а його не зовсім ясна проповідь на тему зілляння з народом, подібно такій же проповіді у слов'янофілів, відкриває дорогу перенесенню в просвічену суспільність або

скріпленню в ній останків середньовічного двовірства, — як його, теж не все зрозумілі вихвалювання козацької старини зачіпають іноді досить нечисті, нетолерантні понуки. Змагання д. Нечуя найбільше грішать власне етнографічним дилетантством. Він любується народним побутом з усіма його обрядами. В описі поминок, куті, виливання дзвона і т. ін. ви бачите у д. Нечуя далеко не об'єктивно-скусний спосіб. Він говорить про такі речі серйозно не лише через те, що описувані ним особи все те виробляють, але й попрікає молодого Лемішковського за брак пошани до тих обрядів. Порівнюючи шляхту, описувану д. Нечуєм, з його народними особами, звісно, не можеш не воліти остатніх: по-перше, в них бачиш елемент визискуваний, кривджений; по-друге, все ж таки простий, по-своєму чесний і небрехливий, трудящий. А проте тут нема ще підстав підносити до ідеалу побут Лемішок. Почати з того, що ми не розуміємо, чому д. Нечуй узявся розжалоблювати нас і ідеалізувати власне побут заможного міщанства на Україні, котрого ідеали все ж таки в тім полягають, аби якнайбільше надбати "добра" п е р е к у п с т в о м, основи якого далекі від ідеальності. Властиво, побут і ідеали сеї перекупської верстви людей — сумішка домостроя з простонародною чичиковщиною при добрій дозі самоволі, яку видно і в сценах, зображуваних д. Нечуєм, напр., у сварках старого Лемішки з невісткою за те, що вона взяла коня на прохід, що гості засиділися у неї дуже допізна, — сценах, які наш автор рисує далеко не об'єктивно, або і сцена, як о[тець] Теодор б'є зятя, а Лемішковський викидає скрині сестер своєї жінки. Ще менше зрозуміла ідеалізація побуту духовенства, яку теж завважуємо у д. Нечуя. Коли його притягає те, що духовенство держиться головно з тих обрядів, яких держиться нарід, — то, взагалі кажучи, він значно помиляється в поміщенню своїх симпатій, бо духовенство в західній країні тенденціями далеко ближче до шляхти, ніж до народу. Щодо

опоетизованого д. Нечуєм побуту старих Лемішок, що дійсно чинить ідеал задля нашого народу, то чоловікові, не захопленому національно-етнографічним дилетантством, сей побут видасться не дуже-то далеким щодо якості своїх ідеалів від шляхетського побуту, серед якого не всі ж лінюхи, а є й на свій лад здобувачі й господарі консументи* зібраного добра. Властиво, оба побути однаково невитерпні свіжому й мислячому чоловікові своєю безідейністю та безцільністю, своєю обрядовщиною, і щодо остатньої, то ми не знали би, який побут вибрати, якби нам доконче треба було вибирати, бо коли одні вважають за сором появитися в певнім разі в одежі невстановленого крою, то другі вважають гріхом не покласти певним способом куті на стіл і майже на кожний день року мають такі обов'язкові обряди двовірного походження, аж до обов'язку напоїти на поминках дяка до положення риз. Ми думаємо, що навіть найпалкіший дилетант-етнограф за кілька місяців дійде до переситу, коли його замкнути в сю обрядову службу, котру й сам народ починає потроху покидати, бо народ жиє задля себе, змінюючи своє життя відповідно своїм обставинам і потребам, а не робить етнографічної паради життя.

Отже, особливо супроти останнього, ми й гадаємо, що проповідь етнографічного правовірства, яку ми бачимо в повісті д. Нечуя, до якої наш автор дійшов, виходячи з найліпших демократичних понук, але в якій він зійшовся з письменниками, що мають дуже мало спільного з дійсним народолюбством, як, напр., д[обродій]ка Кохановська, гр[аф] Л. Толстой в його остатній фазі і т. ін. — се один із найневдатнійших засобів відродин народності. Вже далеко практичнійший інший спосіб народолюбців: заскакування коло "причеп", аби принадити їх можливістю змістити всі

* Споживачі (упор.).

любі сим остатнім ідеї та тенденції разом із традиційною археологічною та етнографічною формою, як се робиться в патріотичних рухах: чеським, польським, і як се роблять декотрі з наших демократів-слов'янофілів. Є, гадаємо ми, третій спосіб, що повинен змістити ідею народності з любов'ю до мас народу і просвіти: сей спосіб у тім, аби на першому плані покласти інтереси "чоловіка" та шукати їх і в народності і в народі, полишивши прикмети археологічної та етнографічної народності в усьому їх безрозбірному об'ємі чистим ученим, а задля практичних цілей шукати в етнографії та історії лише прикмет от того чоловіка, вживаючи їх яко ключки або форми при подаванні суспільності й масам народу знання й ідей, що повинні розвити в них поняття про людську гідність і подати їм способи задля боротьби за нього з природою та з останками понять, які нагнітають чоловіка. Рухові, заснованому на таких ідеях, можна пророчити повільний, але певний, нарешті, успіх. Вихований в таких ідеях народолюбець, особливо зв'язаний з народом походженням, не буде, звісно, поступати так без такту, як поступає молодий Лемішка зі свояками-селянами, ані торочити таких нісенітниць, як той про електричність, але не буде він уважати задля себе обов'язковим і поділяти космогонічні поняття своїх родичів, ані їх забобонні обряди лише через те, що їх поділяють люди, гідні симпатії, або навіть зневажувані різними причепами. Він, звісно, стане на бік зневажуваного в його боротьбі з причепами, але постарається вияснити йому, що можна бути чесним і трудящим чоловіком, не напоюючи дяка до положення риз, що кориснійше завести школу, ніж виливати дзвони, і може, замість того, аби класти кутю на сіно задля того, аби худобі було гарно, напише задля народу курс зоології та ветеринарії.

Зважуємося гадати, що етнографічний дилетантизм і занал виключно до ідеї народності у д. Нечуя — річ часова, викликана, між іншим, і реакцією тим негуманним

відносинам до української народності з боку польської аристократії та російських доктринерів, і що визвіл його від вузької тенденційності поможе розвитися його талановi і зробить із нього одного з великих "малярів рідного побуту". Ми зважуємося вказати д. Нечуєві примір великого талану в російській літературі, котру д. Нечуй знає, очевидячки, більше, ніж його товариші, а то д. Островського. Тенденції "Причепи" дуже похожі на ті, які висловив д. Островський в "Не в свои сани не садись", де він показав освічену суспільність Вихореві, тітці і т. ін., і де він зідеалізував великоруське купецтво в особі старого Русакова й т. ін. ; але не можна сказати, аби намір автора мав успіх, себто, аби йому вдалося переконати мислячих людей, що так назване западництво лежить у вихоревщині, і принадити їх до ідеалу Русакова. В дальших творах д. Островський покинув вузькі слов'янофільські тенденції, звернувшися до скусного малювання звісного йому закутку рідного побуту; і йому вдалося показати чимало чорних боків життя як суспільності, помазаної європеїзмом, так і півнародного і народного, і рівночасно виставити чимало осіб із народу, що будять симпатію, але не виводячи їх при тому на п'єдестал. А річ народності виходила у д. Островського сама собою*. Розібраними

* Після того, як ми написали сі рядки про д. Нечуя, нам удалося пізнати два нові його нариси, надруковані у "Правді" за 1873 р., і ті нариси кажуть нам дуже боятися за літературну будушину автора. Перший, під заголовком "Новий чоловік", — се відривок із, як говориться в примітці редакції, скінченого вже роману "Чорні хмари", а другий — то "Казка"™. Новий чоловік д. Нечуя, на лихо — зовсім старий, бо говорить, правда, народолюбні фрази, а робить лише те, що одягається в досить дорогу одежу в народному стилю та їсть вишні і залицяється до дівчат. У "Казці" ж д. Нечуй хапається за дуже балетний спосіб, кажучи своєму героєві, лоцманові на Дніпрових порогах, утонути й бачити під водою зачаровану Січ, — опісля появитися знов на світ у товаристві підводної дівчини і т. ін. Щодо тенденції, то ся казка — найсамовільнійша ідеалізація старої України, і взагалі найкращі місця тої казки не виявляють нічого нового після Шевченка — ані щодо ідей, ані щодо образів.

повістями та конспектами повістей обмежується все, що появилося в українській белетристиці останнього десятиліття такого, в чім вона відгукнулася на живі питання своєї країни. Коли й не можна сказати, аби белетристика обходила ті питання, то не можна сказати й того, аби вона зробила багато задля їх вияснення, і, таким чином, на некористь як української, так і решти російської суспільності, ми не знаємо тих ріжнородних типів і типічних рисів, яких повне життя як народу на Україні, так і інших елементів, зв'язаних із ним, як напр., переважно дрібного панства та духовенства на Україні лівобережній, народного купецтва по містах і місточках Харківщини та Новоросії, шляхти й жидів у південно-західній країні й т. ін. І се в такий живий час, коли селянська реформа, земство, новий суд, польське повстання з "обрусенієм" так заворушили життя суспільності й народу, викликали таку ріжнородність трагічних і комічних становищ, особливо в країні з такою ріжнородністю людності й інтересів, як південно-західна країна, тимчасом як життя верстов, що чинять натуральне поле української белетристики, у Великій Росії все ж таки аналізується відносно непогано нашими белетристами кінця 40-х років, хоч, зрештою, зовсім сильний талан, що малює життя великоруського народу, ми маємо лиш один — в Островському.

Сказане про мізерію більшої частини новійшої української белетристики ще більше можна прикласти до українського віршоробства, що навіть остатніми роками чимало вродило брошурок і віршів, надрукованих і у нас, і в галицьких часописях. Не можна сказати, аби в сім матеріалі, відносно немалім щодо скількості написаних рядків, не знайшлося з десять-двадцять непоганих віршів, де вдатно передано який-небудь народний переказ або оповідання про факт із старої української історії удільного та козацького побуту, з приличним іноді коментарієм або видно

тепленьке почуття, добрий намір і думку. Такі, напр., переспіви народних переказів і фактів із народної історії дд. Костомарова та Куліша, особливо першого. Такі переспіви майже завсігди появляються тоді, коли поворот до народу й минулого має ще характер романтичний; старинні тепер переспіви д. Костомарова аналогічні, коли хочете, баладам на руські сюжети Жуковського і Пушкіна та польським — Міцкевича, з тою ріжницею, що д. Костомаров не вигадував сюжетів, а брав попросту народні; тепер, зрештою, коли народні перекази та історії стали предметом наукового оброблення, подібні поетичні вправи стали майже непотрібні, як вигадувані в наш час декотрими поетами великорусами билини й балади á la russe, і можуть бути вживані з деякою користю хіба в педагогічних хрестоматіях, нарівні з декотрими віршами дд. Майкова[25], гр. Ол. Толстого і т. ін. Добрі почуття висловлені в декотрих віршах д. Конисського, з яких теж деякі могли би бути не без користі читані дітьми, як читаються ними різні описові вірші російських поетів (ранок, вечір, ніч, зима і т. ін.). Вдатні вірші подибуємо з менше друкованих у д. Руданського й ін. Та все те разом таке мірне, таке нечисленне, таке розтягнене, мало оригінальне, що навіть, не прикладаючи в усій остроті Горацієві правила задля поетичних творів: si paulum a summo decedit, vergit ad imum*, не можна, властиво кажучи, зачислити сі віршові вправи українських поетів, після Шевченка, й до поезії; кажучи коротко, бачиться, що майже всі українські віршування добрих двох дванадцяток авторів, за остатніх 30 років, то погані вірші Шевченка. Беручися за такі віршування, наперед знаєш, що здибаєшся тут — окрім н и в и, про яку див. вище, з ч у ж и н о ю, д о л е ю, с и р о т о ю, в о л е ю, і слава богу ще, коли з ч о р н о б р и в о ю д і в ч и н о ю,

* Якщо мале вподібнюється до цілості, набуває глибини (упор.).

бо коли лише не наскочиш і тут на "долю" та "сироту", що дуже імовірно ("нива", повторяємо, неминуча, бо на сій ниві буде поет "сіяти" із дівчиною, перше поплакавши, чому "бог їм долі не дав"), то матимеш діло з чимось середнім між народною любовною піснею та віршем Фета, себто з сюжетом, хоч і не богзна-якої ціни, а все ж таки не без приємності, особливо задля молодого читача. Вже про "сироту" доконче співають усі українські письменники, на що можна сказати, що сирітство, звісно, річ сумна; але, по-перше, неминуча, а по-друге, коли двадцять і п'ять поетів у сотні віршувань не скажуть нічого про сирітство, окрім: "я сирота", або "він сирота", майже без усяких подробиць становища і почуття, котрі єдино й надають вірші характер поетичного твору, а не лише конспекту, то мимохіть згадаєш за того старого козака з "Вія", який, упившися, плакав, що він сирота, і замість спочуття нещасливому становищу ближнього, котре поет, може, й бачив або в котрому, може, й був, — коли не зівнеш, то засмієшся. З другого боку, ми зовсім розуміємо, що українцеві жити в якімось С.-Петербурзі місяця листопада й не мати вареників, наливки й т. ін. українських ласощів дуже сумно, а коли він опиниться на дальшій півночі, з причин, незалежних від нього, то ми всею душею готові спочувати авторові віршувань про сум розлуки з батьківщиною, та все-таки не назвемо поетичним твором розведення водою на скілька строф фрази: "я на чужині, а моє серце на Україні". Щодо "долі", то, надіємося, читач порозуміє наш рішучий відхил від критики сього сюжету віршових вправ: чи такі тепер часи, аби про "долю" говорити інакше, ніж у розвідках про міфологію? Ще менше ялося в наші часи займати публіку в віршах з міфологічною символікою, як, напр., садженням "барвінку", шуканням рути, сіянням піску на камені і ін., називанням сучасників "характерниками" й т. ін., як се роблять дд. Коніський, Глібов, Куліш і ін. Сюжет "волі", яким займаються уже

сміливійші українські віршороби, очевидячки, обіцяє більше і через те видається принаднійшим. Але задля того, аби сей сюжет став справді інтересним у наші тяжкі часи, треба, аби було вияснено, про яку волю говорить автор, бо тепер дуже вже різні люди про волю балакають. Але як почати розвивати подрібно, що треба розуміти під іменем "воля", то, бачу, треба буде чогось мовби трактат Мілля, а не віршів. Українські поети, зрештою, майже завсігди, коли згадують про волю, догадуються додати "предківська" воля або "козацька", причому зараз же згадують і "предківську славу". Не вадить завважити, що Шевченко, як чоловік із дійсно геніальним почуттям, справді часто звертався до зображень красоти й величності картин старого козацького життя, але, по-перше, Шевченко рисував у своїх віршах дійсно картини, на яких бачиш рух: тут дійсно чуєш і раду з бунчуками та булавами, і море з летючими по ньому байдаками, словом — старе життя, тимчасом як у його наслідувачів бачиш саму номенклатуру; а головно — Шевченко проникав і в суть старого життя і майже завсігди вірно оцінював його значення задля теперішнього. Шевченко увесь переносився духом у старокозацькі походи на турків, повстання проти поляків, бо тоді то було діло народне, потрібне; коли порив до волі та діяльності виразився в формі нападу на Синоп або Стамбул, у формі Тарасової ночі або уманської різні, то через те, що в тім Синопі сиділи в казематах українські бранці, через те, що тоді інакше не міг виразитися порив до діяльності та волі. Коли Шевченкові гидкий був вид сучасної України, персоніфікований сплячим і "повитим жидами" Чигирином або обкиданим гноєм "переяславським замчищем", коли він, відвертаючися від сеї гидоти сну, рабства, пустки, відзивається: "Було колись в Україні ревіли гармати" і "танцювало й лихо!" — то не через те, аби йому так миле було ревіння гармат само про себе, а лише через те, що то все ж таки було

життя. А верни Шевченкові "предківське життя" та "козацьку волю" всю в наш час, він би сам від неї відвернувся. Бодай він у своїх гамлетівських думах, вставлених поміж криваві картини в "Гайдамаках", не бачить правди й ідеалу в самій розправі предків своїх із ворогами, як і в ділах ворогів, а в своїм замітнім "Посланію до земляків" називає гетьманів "варшавським сміттям"*.

На жаль, погані наслідувачі Шевченка зовсім не так ясно висловлюють, що треба розуміти під зітханням за "предківською славою" та за "козацькою волею", так що при всьому лібералізмі декого з них вони цілять дуже недалеко Загоскіна з його Киршею та паном Копичинським, а дехто, надійся, може скінчити поетичну кар'єру такими віршами, які писали в часи східної війни Гулак-Артемовський та Аскоченський[26], що також згадували й Синоп і предків із-за Абдул-Меджіда та фельдмаршала Паскевича. Виспівування про чорноморських атаманів, апофеоза, слідом за Шевченковим описом убиття синів Гонтою, подвигів такого канібальського патріотизму, як жертвування доньки Єфаєм[27], се

* Признаємося, зрештою, що таке резюме "вільних" відносин Шевченка до української старини ми робимо лише на підставі кращих п'єс і найенергічнійших тирад, але що у Шевченка є риси й менше вільних відносин до своєї країни та її минулого. Талан і пам'ять про власне рабство давали Шевченкові широку мірку задля оцінки ріжних, очевидячки, симпатичних і ліберальних появ і напрямів у минулому й теперішньому, та неповнота скусного виховання і взагалі просвіти, та й "впливи часу", збивали й його; ось чому у Шевченка видно часом відносини до життя й способи рисования та й оцінки теперішнього й минулого, нагадуючі й російських і польських романтиків, і навіть у найенергічнійшому протесті проти неправд сучасності в його "Посланію до земляків", видно вплив ідей московських віленсько-варшавських стародумів, ворогів "мудрих німців" і невірного "Заходу", які проповідували, що правду можна пізнати лише любов'ю до своєї землі та її старини; і коли вінком подібної філософії появився у Шевченка той квієтистичний або заскорузлий світогляд, який заїв Гоголя і загвоздив розуми багатьох польських письменників, то се вийшло лише власне завдяки тому черв'якові, що нагадував Шевченкові про неволю його молодості та його близьких, і казав йому ідеалізувати й свою стару Україну головно за її пориви до загальної волі.

вихід на дуже небезпечну похилену площину, що відводить далеко набік від гуманних ідей, котрі одні й можуть бути прогресивною опорою патріотизмові.

Велика спокуса української лірики на названі теми — певність у тому, що поети вплітають на народні мотиви, себто на мотиви народної поезії. На се треба завважити, що коли поезія скусна буде лише передавати мотиви народної та особливо ще не буде відходити від народного світогляду, як се буває, напр., із темою про "долю", то тоді повстає питання, до чого ж і сама скусна поезія, котру в такім разі дуже наручно заступити хрестоматією з народної поезії. Та річ у тім, що українська народна поезія — взагалі одна з найвиднійших словесностей такого роду своєю поетичною силою, себто силою психологічної аналізи, безконечно вища від писань українських поетів (крім Шевченка) власне тим, що вона не вдоволяється самим голим повторюванням теми, а розвиває її зі значними для народної поезії подробицями та, окрім того, зображує сі чи інші теми тому, що вони ставляться життям, а іноді рішає піднімані народним життям питання зовсім вірно; коли ж ні, то бодай ставить їх зовсім ясно. Причина сьому та, що незвісні складачі народних українських пісень були люди дуже талановиті, а головно, що складали їх і зміняли протягом довгого часу люди, котрі самі переживали становища, що чинять теми пісень.

Так, коли навіть полишити на боці багату любовну лірику, напр., пісні про сирітство, зложені, очевидячки, такими сиротами, котрим прийшлося терпіти із-за сирітства, бурлаками, наймитами, і через те такі пісні не вдовольняються заявою, що "ось, мовляв, я сирота", але представляють і короткі нариси обставин життя того сирітства, егоїзму господарів і т. ін. (напр. у звісній пісні: "Та нема в світі так нікому, як бурлаці молодому"). Коли народна пісня питається, де моя доля, то вона зразу передає

або натякає на реальні причини, чому співак уважає свою долю нещасною: се — або бідність, або батьки, що розладили задумане молодою парою подружжя, або раптова смерть милого, або невільна служба, що заманила чоловіка на чужину, і коли народні співаки не все змогали дібратися до корінної причини їх горя і закінчували словами: "така моя доля!", то вони бодай розуміли ясно найближчу причину свого горя, через що пісня їх і не має розлізлого характеру. Коли, напр., у пісні "Про правду й неправду" народні співаки не рішили питання: через що тріумфує неправда? — то зате бодай досить рельєфно виставили форми тріумфу неправди та кривди, які терпить правда. Коли українська народна пісня висловлює невдоволення теперішнім і згадує з жалем минуле, то вона просто й показує довідну причину такого невдоволення. "Батькам добре було жити, — каже одна пісня, — а синам досталось панщину робити", — і після сих слів зовсім ясний запит до вірла: "чи не бачив він, де сховалася батьківська доля?" Або коли сокіл плаче в пісні "на свою бідну голову", що "де були ліси — то тепер панські, де очерета — государські" і т. ін., то тут, очевидячки, нема й тіні лише пташиного "кигикання", яке бачимо у тих поетів, що взяли з народної поезії лиш епічні способи без змісту. Задля того, аби зложити вірші, подібні українським народним пісням, очевидячки, мало, маючи сяку-таку здатність до версифікації, бути або в маніловськім, або в сердитім настрою духа і сісти та й заспівати про дівчину та розлуку, або іноді, маючи панщинного льокая, питатися якогось козака: "Що робити з серцем, як воно заплаче?", та згадувати про козацьку волю, або, нічогісінько не роблячи задля діла й народу, кликати земляків "сіяти правду на ниві" та втішати їх, що сім'я правди не всхне, але зійде і т. ін. Задля того треба, маючи рівний з народними співаками талант, пережити всі теми народної поезії, що неможливо і що кінець кінців дасть лише дублікати народної поезії, себто непотрібні

повторення. Значить, очевидячки, що задля того, аби бути дійсно вартим читання поетом на Україні, треба бути, по-перше, сильним родимим талантом і, окрім того, мати ширший світогляд, аніж нарід, мати острійшу, психологічну аналізу та вміти досконало володіти мовою й віршовою формою, бо ся остатня доведена в багатьох народних піснях до чудової досконалості. Ми навіть думаємо, що, напр., любовна лірика української народної поезії майже вичерпує свій сюжет. Що ж до передавання інших життєвих становищ, зачеплюваних народною українською поезією, то як вона визначається своїм аналітичним соціальним характером, то задля того, аби сказати більше від народної пісні про життя родинне, про суспільні неправди й т. ін., ледве чи не треба буде полишити форму віршову й особливо ліричну, бо в ній більше сказати, в порівнянні з тим, що вже є в народній пісні, можна лише суб'єктивно, по-ораторськи, а не об'єктивно-поетично. До того ж суб'єктивно-ораторське розроблення тем української поезії та історії либонь чи не вичерпане Шевченком.

Після всього сказаного нами ми, звісно, увільнимо читача від спеціального розбору нових появ української музи дд. Подушки та Павлуся, Носенка й т. ін., хоч той розбір дав би нам нагоду зачепити одно загальне питання: а то питання про лірику в народному смаку, інтересне не лиш українцям, але й великорусам. Властиво кажучи, ті недостачі, на підставі яких ми позволили собі так різко поставитися до українських віршоробів, можна вказати й у великорусів і взагалі у російських поетів, коли вони хочуть іти під лад народності. Лише, звичайно, у тих поетів побіч інших віршів, ліпше видержаних, як тих, у яких автори не хотіли ні підо що підмощуватися, оті роблено народні вірші губляться, і критики основують свої присуди про тих письменників, полишаючи на боці подібні речі. *Але не треба думати, що* тота псевдонародна та народницька лірика великоруських

поетів не робить зовсім вражіння на суспільність: є сфери життя, де вона дуже ширяться, і є такі, де вона майже переважує. Ми говоримо про школу, книжки задля котрої напихають сею народничаючою літературою, особливо про школу народну. А той матеріал, яким хочуть виховати нарід і молодіж усіх частин Росії так само мало цінний щодо скусності, як і українська лірика, а своїми ідеями, напр., шовінізмом, далеко нижчий від найвідсталійших творів вихвалювачів української старини та не має й тіні тих усе ж таки людських ідей, які із-за безперечно людських боків української старини й життя висловлюються, хоч і в невмілій формі, українськими ліриками.

А втім ми можемо назвати одну роботу новійшого українського віршороба, про яку треба сказати більше позитивного, ніж негативного. Се — байки д. Глібова. Байки належать до роду літератури, що вже віджив свій вік. Тепер байки пишуть хіба лише в літературах, що пробивають собі дорогу, на яких можна бачити незвичайно цікавий закон, як нові літератури повторюють форми й способи, вже покинені літературами скріпленими; так, напр., 1871 р. вийшла провансальська перерібка Лафонтена[23]. Тепер у великих європейських літературах переважна артистична форма — повість і роман, яко найнаручнійші задля всестороннього мальовання побуту і за одним заходом задля заведення й викладу тенденцій автора, якби вони у нього були, — ось чому байки — рамка занадто вузька задля представлення і занадто наївно-алегорична задля виведення тенденції. Остатня проба пристособити байку до пропаганди сучасних ідей, зроблена Лашамболі, не мала великого успіху через занадто вже велику мертвоту і натягненість алегорій. У нас на ілюстрації, зроблені до Крилова д. Трутовським[29], дивляться з великою цікавістю, бо вони кладуть попросту людей, і притому в сучасних становищах, на місце крилов-

ських звірів і натяків на людей; але якби хто схотів підновити в такому роді байки Крилова, тому можна би сказати, що ліпше би він попросту написав нариси сучасного побуту в формі повісті, а не в формі алегоричної байки. Таку пораду хочеться дати іноді й д. Глібову, в кінці байки йому особливо вдається паралеля з сучасним людським життям, як, напр., у байці "Мірошник", часто певні байкові способи, як, напр., утоплення щуки у воді, збір звірів ріжних пород, надання звірям поступків і намірів, як напр., замисл підпалити море, чомусь-то надаваний власне синиці й т. ін., видаються тепер уже дуже наївними: тепер навіть із дітьми і в школі райкові способи треба вживати дуже обережно, бо свого роду раціоналізм і доглядність природознавства появляється тепер і межи дітьми і сильно підкошує хід старій байці. Ось чому треба сказати, що д. Глібов трохи припізнився зі своїми байками, поява яких тепер пояснюється тим, що українська та особливо галицька словесність часто подобає на способи російської словесності 20-30-х років. Але раз признавши байки взагалі літературною формою, байки д. Глібова можна читати не без уподоби. Більша частина їх написана живою мовою й легким віршем, а значить, властиво оповідання в них віддано гарно. Лише в декотрих байках мораль не відповідає оповіданню (напр., "Цікавий", 7, виходить брехачем; "Свиня на панському дворі", 10, — навмисно язикатою; з байки про "Бурю", ч. 43, не виходить мораль: любіть правду). Народності української в байках д. Глібова менше, між у Крилова великоруської, та зате у нього майже нема й тої відсталої моралі, того воркітливого консерватизму та квієтизму, який часто бачимо у Крилова. Такий характер має у д. Глібова хіба байка про "Дерево" та окремі вирази, вибрики про "теперішнього світу" (ч. 28), де д. Глібов хотів, бачиться, заговорити по-народному, або безцільне жартування, здається, задля того самого, —

жартування, що ось тепер без коней їздять, то чого доброго і на місяці земство заведуть (ч. 42). Бажання народничати каже д. Глібову вживати такі терміни, котрі були колись народними, а тепер уже забуті, — напр., "комісар". Іноді, напр. у байці "Охрімова свита" ("Тришкин кафтан"), з усіх заходів д. Глібова понародовити, поукраїнити сюжет не виходить нічогісінько: лише байка вийшла довша та туманнійша від криловської; властиво, й мудрувати було нічого, бо криловський "Тришка" зовсім не в українському характері. Не більше вдатними можна вважати й заходи д. Глібова надати український характер і взагалі мало симпатичній через свою консервативну ворожню до подорожей та еміграції байці "Бджола та Муха". Та й взагалі рідко де в байках д. Глібова бачиш українців і український побут і розум, показаних так живо, як показані великоруси у Крилова, так що яко картинки народного побуту байки д. Глібова не мають більшого значіння. Але в своєму роді, яко байки, себто яко певного роду алегоричні оповідання, байки д. Глібова дуже непогані й можуть бути дуже корисні там, де тепер байки мають іще своє значіння, себто в народному та діточому читанні. Без усякого сумніву, в народних школах України байки д. Глібова могли би з повним успіхом стати на місце байок Крилова, котрі власне тим і геніальні, що народні, а власне через те й не загальноруські, але великоруські, і чим ліпші задля шкіл у Великій Русі, тим менше придатні на Україні.

Читач бачить, надіємося, з нашого критичного нарису, що хоч українські белетристи та віршарі пишуть свої твори й мовою, вживаною в одній провінції Росії, що хоч нові люди у тих белетристів та поетів з малою виїмкою показують слабий природний талан або мало розвитий, а способами творива і часто формами ідей показують добру відсталість від сучасних домагань від літератури, але, проте,

українська белетристика й поезія варта уваги нашої суспільності, бо вона зачіпає ті самі важні питання нашого життя, що й столична література, і навіть при всіх своїх хибах у декотрих із тих питань висловляється досить оригінально. Окрім того, навіть і в найслабших своїх боках українська белетристика та поезія майже завсігди має собі аналогію і в літературних творах та школах північноруських, які в усякім разі мають подекуди практичну силу, як, напр., так називане слов'янофільство, русофільство та великорусофільство. Щодо слабих боків української поезії та белетристики ми мусимо сказати ще одно. Ми так остро осудили сю белетристику та поезію лише через те, що прикладали до них домагання критики європейсько-руської, а якби ми приклали до неї домагання критики слов'янської, то наш присуд мусив би бути значно змінений. Хоч як гидкі нам панславістичні тенденції того сорту, які висловлюються у нас звичайно, та мрії про гегемонію Росії в слов'янстві, що розвиваються на підставі шовінізму, але не можна не признати, що остру скусну критику, ту, якої основи можна вивести з творів найліпших белетристів остатніх десятиліть, як Діккенс, Теккерей, Ж. Санд, Шпільгаген, тепер із усіх слов'янських може видержати лише література російська та великоруська (в тім значінню, яке ми дали вище сим термінам), і виключно в творах того роду, в котрих якнайменше всяких панславістичних, шовіністичних і т. ін. тенденцій і котрі найменше й звісні у русофілів усіх країв, хоч вони й російські переважно. Се — твори, в яких автори, не йдучи ні за якими спеціальними російськими або слов'янськими ідеями, мали на оці зобразити певне психологічне становище або показати психологічне або соціальне питання, як воно виразилося в російській дійсності. А російськими вони вийшли неминуче через те, що автори були росіяни та зображали російську дійсність.

Називати подібні твори нам нема чого, бо прийшло би ся назвати все ліпше в російській поезії та белетристиці від Пушкіна до Островського. І коли нам чим-небудь треба гордитися яко продуктом національної духовної праці й талану, коли що-небудь можна у нас показати й нашим "слов'янським братам", то, власне, такі твори. Але доктринери нашого націоналізму та слов'янізму висувають на перший план власне тенденційну мертвеччину і досягають того, що й у "слов'янських братів" із Пушкіна знають яку-небудь "Бородинскую годовщину", але майже не знають "Евгения Онегина", майже зовсім не мають поняття про Гоголя. Навпаки, кождого разу, коли наші автори йшли за навмисними національними цілями, з-під пера їх виходила або мертвеччина, починаючи одами Державіна та Жуковського, казками та піснями á la russe у 20-30 роках, аж до віршів і драм Хом'якова, Полевого й ін., аж до банальних театральних штук на тему, як "русский человек добро помнит" і т. ін. Або ж коли за такими тенденціями подавався на час навіть талан, то сі тенденції стояли, як із боку пригарок, як напр., "боротьба з Заходом" у декотрих п'єсах Островського або вибрики проти космополітизму в "Рудіні", "Дворянському гнізді" й т. ін. Нам бачиться навіть, що подібно тому, як здоровому чоловікові не прийде в голову бажання доконче бути самим собою або влазити в свою власну шкуру, яко чоловікові дійсного діла, думки й науки не прийде в голову робити не діло взагалі, думку й науку, але доконче діло в своєму дусі, думку й науку свою, приватну, — так і правдивий талан ніколи надовго не запалиться до вузьких цілей та ідей, але доконче йде за широкою, загальною, психологічною, соціальною, скусною або науковою завдачею або й ідеєю, а оригінальність особиста та національна сама собою відіб'ється в матеріалі його праці і в характері її виконання. Але не може бути сумніву, що

таке стеження широких загальнолюдських задач у науці, скуствi та суспільній діяльності можливе з повним успіхом лише там, де національність спокійна за своє існування, як у нас, особливо в Великоросії, і де через те і всякі турботи про те, аби бути доконче національним, являються наслідком або маніловського ідеалізування, або реакції та шовінізму, який ніколи не може заволодіти найдіяльнійшими силами й талантами в літературі. У наших же слабих чисельно західних суплемінників боротьба за національність у її зв'язі з політичними хитаннями та крутійствами, з доконечністю доказувати право на національне існування, обороняти свою народність від обмов і понижень доводить до такої тенденційності, до такої дрібноти ідей і змагань, яка не сприяє виборові широких доріг духовної праці і, думаємо, навіть помагає здрібненню таланів. Вічний острах за свою національність убиває духа критики, розвиває неприхильність до загальнолюдських змагань, які здаються не одному немовби зрадницькими і в ім'я яких дійсно партії, що належать до національностей сильнійших, позволяють собі виправдувати свій нагніт над слабшими та більше відсталими. А тим часом, здавало би ся власне, що патріотична справа оборони народності лише тоді й може бути міцна, коли вона сходиться зі справою загальнолюдського поступу культурного та соціального, і що її розробленню й заведенню її ідей у маси свойого народу та зображенню життя тих мас із погляду, що виходить із тих ідей, і повинні би посвятити свої сили патріотичні партії слабших народностей. Але, на жаль, така робота без порівняння труднійша, коли говорити лише про трудність, аніж ідеалізація та самохвальство, або наївне повторювання наївних тем середньовічної та народної поезії. Ось чому у наших західних братів досі не здаються чудними драми, вірші та повісті з сюжетами з часів

Кракуса[30], Любуші[31], Ярослава Осмомисла, новели, в яких доконче проста чеська діва засоромлює німецьких культуртрегерів, сербин уквітчаний доконче всякими можливими чеснотами (звісно, воєнними), а турчин доконче — недолюдок і т. ін., новели та драми, де багато-багато коли є етнографічна вірність в описах і передана фабула якоїнебудь історичної події або легенди або висловлено більше або менше гаряче патріотичне почуття. Такі твори щодо своєї скусної вартості можна покласти побіч наших небіжчиків Синав і Вадимів, Параш-сибірячок, ямщиків і т. ін., котрих воскресити стараються тепер романісти вроді Кельсієва[32], драматурги вроді дд. Аверкієва та Чаєва; такі твори, правда, висуваються із Лети кождого разу, коли ми бажаємо злабудати "народні спектаклі", але серйозно ніхто не вважає у нас сі речі за дійсну російську літературу.

Подібна тенденційність у русько-українських письменників остатнього часу виходить, між іншим, через не досить вияснені в Росії поняття про значіння української народності в ході російської культури в минулому й теперішньому. Чи не вона причина, чому новійші твори українських письменників і найменше відбили на собі вплив скусного перевороту, зробленого українцем же Гоголем, який, очевидячки, виплеканий українською народною поезією і на кождім кроці навіть у зображенні чужого Україні життя лишається цілковитим представителем українського генія? Українська (штучна) поезія та белетристика, хоч, звісно, й іде за ходом розвою всеї російської суспільності, але формами та скусними способами швидше подібна творам західнослов'янських літератів, ніж російських, на очевидну свою шкоду містячи в собі і тенденційність та манеру часу "Певца в стане русских воинов" та "Светланы"[33] і віршів та повістей найнаївнійших відтінків російського радикалізму. За сю старомодність і невмілість своїх писань молода українська белетристика та віршоробство карається повною

невагою до неї суспільності. Чи не характерно справді те, що українські губернії займають, після столиць, перше місце щодо скількості вживаного ними літературного товару, як се видно з рахунку в календарі д. Суворіна та з відомостей про число передплатників по губерніям, опублікованих свого часу "Современником" та "Экономическим указателем", а тепер "Вестником Европы" та "С[анкт]-П[етер]б[ургскими] ведомостями"? А тим часом твори місцевої лірики та белетристики, невважаючи на нікчемне число екземплярів, у яких друкуються, зсипаються у книгарів та дістаються нарешті в такі закамарки, з яких не вирвати їх і найпалкійшому бібліофілові. Швидший розхід творів Шевченка та перших оповідань М. Вовчка, увага, яку до них показувала критика та публіка в цілій Росії, доказує, що коли українські літерати наскакують на теми й порядок ідей, що відповідає життєвим інтересам суспільності, то їм нічого жалуватися на байдужість як місцевої, так і великоруської публіки. Відсталість же та мертвеччина новійших писань українських белетристів і поетів, їх скупа плодючість, неясність ідей — ось головна причина, чому й місцева публіка, коли й читає іноді ті писання, то майже завсігди похитуючи головою, а сі прикмети, вкупі з усе більше змагаючимся відпливом українських земляків від роботи в столичній літературі, се й є причина, чому й ся остатня дивиться на всяке оброблення українських тем як на щось дуже вже спеціальне та провінціальне, забуваючи хоч те, що добру дозу її читачів чинить публіка українських губерній. Таким чином, народне життя України, колись осередка руської цивілізації та лицевої, європейської сторони Росії, лишається майже без оброблення, і прикмети народного українського характеру та плоди давнійшої цивілізації народу, що все рвався до волі й ніколи не переривав зносин із народами західними, не лише що лишаються без користі задля повноти руської культури, але й розкладаються, як усе

застояле та не освіжуване духом критики; а виводи та суди про руський нарід, що повстають у літературі та суспільності по обсерваціям лише над одною північною половиною Росії, засуджені на неминучу односторонність, шкідливу часто й практично.

ПРИМІТКИ

Цей том наукових праць М. Драгоманова вперше у практиці його видань комплексно представляє його як філолога (досі тільки фольклористичний доробок друкувався окремо), причому літературознавчі статті вміщуються не "врозсип", як у двотомнику, а у другому-третьому томі цього видання. Як і у попередньому двокнижжі, в основному відтворено правопис автора, його відмінкові форми ("по принципам"). Збережено бібліографічні поклики автора, курсиви першодруку, редакційні коментарі, цінні пояснення видавців тощо.

Малороссия в ее словесности

Ця студія-публікація, вміщена у травневому томі часопису "Вестник Европы" за 1870 р. та підписана криптонімом П. Т-ев (Толмачев), постала як розширена, в часі дещо спізнена рецензія на анотовану на початку статті працю знаного російського фольклориста Івана Прижова. Стаття ввійшла до львівського видання Наукового Товариства імені Шевченка 1899 р. під назвою "Драгоманов М. Розвідки про українську народню словесність і письменство", котре підготував М. Павлик. Подається за першодруком.

1 ***Буслаєв*** Федір (1818-1897) — російський філолог, історик мистецтва, автор "Історичної хрестоматії церковнослов'янської і староруської мови" (М., 1861).

2 ***Збірник Максимовича*** — мова про "Збірник українських пісень" (К., 1849).

3 ***Мокоша*** — давньоруська богиня плодючості й урожаю.

[4] ***Думи***, укладені за ***Рубаном і Конiським*** — мова про праці "Короткі географічні, політичні та історичні відомості про Малу Росію" (СПб, 1773), "Короткий літопис Малої Росії з 1506 по 1770" (СПб, 1777) збирача і видавця цих матеріалів Василя Рубана (1742-1795), а також "Історію Русів", яку довго приписували Георгію Конiському (1717-1795), письменнику й священослужителю високого рангу.

[5] ***Погодін*** Михайло (1800-1875) — російський письменник, історик, журналіст, професор Московського університету. Був одним із натхненників російських панславістів і галицьких москвофілів, оборонцем "офіційної народності". Автор не сприйнятої українськими вченими (М. Драгомановим, І. Франком і ін.) антинаукової теорії, згідно з якою буцімто в Україні до татаро-монголів жили не українці, а предки росіян.

[6] ***Стасов*** Володимир (1824-1906) — російський письменник, історик і теоретик мистецтва, археолог, музичний критик. Його думки про походження билин Драгоманов охарактеризував у статті "Новий погляд на великоруський богатирський епос Влад. Стасова", вміщеній у "Правді" за 1869 р. (№№26-31).

[7] ***Гірей-Менґлі*** (?-1515) — хан Криму, васал турецького султана. Як союзник царя Московії Івана III за його намовою зруйнував Київ у 1482 р.

[8] ***Літопис начальний, київський і волинський*** — мова про "Початкове, або Києво-Печерське зведення 1097 р.", "Київський літопис" про події XII ст. і "Галицько-Волинський літопис" (бл. 1290).

[9] ***Длуґош*** Ян (1415-1480) — краківський канонік і найбільший польський літописець, автор 12-томних "Анналів" — історії Речі Посполитої, важливої й для

української історії. На Длуґоша часто посилалися українські письменники XVII ст.

[10] ***Кромер*** Мартин (1512-1589) — польський письменник, учасник релігійної полеміки з протестантами.

[11] ***Ваґніні*** (Ґваґніні) Олександр (1538-1614) — польський історик італійського походження, автор латиномовного "Опису європейських сарматів..." (1578), де писав про Польщу, Україну, Литву, Московщину та ін. Його творами користувалися автори козацьких літописів.

[12] ***Омир*** — Гомер, автор "Іліади" та "Одіссеї".

[13] ***Синопсис*** — з грецької: стислий історичний огляд в оповідній формі. Зразком в українському давньому письменстві є "Синопсис" (Київ, 1674) архімандрита Іннокентія Ґізеля, перший підручник української історії.

[14] ***Поцей*** (Потій) Іпатій (у світі Адам, 1541-1613) — український церковний діяч — єпископ володимирсько-берестейський, згодом київський митрополит, магнат, сенатор Речі Посполитої. Родом із Підляшшя, навчався в Ягеллонському університеті (Краків). Талановитий проповідник і активний полеміст, борець за унію, засновник релігійних шкіл у Вільно і Бересті. Автор полемічних творів "Антиррізис", "Унія", "Оборона собору Флорентійського". "Гармонія святої восточної церкви з костелом римським", "Листів до князя Острозького". Переклав українською працю П. Скарґи про Берестейський собор.

[15] ***"Апокрозис"*** ("Апокризис") — полемічний трактат українського письменника Христофора Філалета (існувала версія, згідно з якою його автором був поляк Мартин Броневський, неточно — М. Бронський). Написаний із протестантських позицій і виданий у 1597 р. по-польськи, а у 1598 р. — українізованою церковнослов'янською мовою, трактат був відповіддю на "Synod brzeski" П. Скарґи, протиставлений унії, католицизму й папству.

[16] ***Іоанном, мнихом із Вишні,*** називав себе український письменник середини XVI — перших десятиліть XVII ст. Іван Вишенський. Крім інших творів, він — автор "Краткословного ответу Петру Скарзі".

[17] ***Скарґа*** (Павенський) Пйотр (1536-1612) — польський єзуїт і найбільший проповідник, один із провідників Брестської унії. Як письменник — автор трактатів, казань і житій святих — вів полеміку з православними.

[18] ***Самойлов*** Олександр (1744-1814) — російський державний і військовий діяч, генерал-прокурор, державний скарбник.

[19] ***Комедії і містерії Довгалевського*** — цей професор піітики Київської академії написав "великодню" драму "Властотворний образ человіколюбія Божия" (1737), "різдвяне" "Комическое дійство" (1736) та п'ять інтермедій — кращих у тодішній літературі.

[20] ***Марковича записки*** — мова про щоденник ("Дневні записки" за 1717-1767) лубенського полковника і ґенерального підскарбія Якова Марковича. У пам'ятці багато цінних відомостей про тогочасну Україну.

[21] ***Рум'янцевський опис Малоросії*** — за розпорядженням графа Петра Рум'янцева (Задунайського) було зроблено ґенеральний опис України 1765 р. Матеріали цього найважливішого джерела з економічної історії Лівобережжя зберігаються в архівосховищі Києва.

[22] ***Лазаревський*** Олександр (1834-1907) — видатний український історик (представник народницької історіографії). Походив із шляхетського роду, юрист. Навчався у Петербурзькому університеті, познайомився з Т. Шевченком. Брав участь у здійсненні аграрної реформи на Чернігівщині. Працював і у архівах, познайомився з Рум'янцевським описом. Автор численних праць із історії селянства, козацької старшини та шляхетських родів, капітальних

"Описаний Старой Малороссии" в 3 томах (1882-1893), найкращий знавець Гетьманщини.

[23] ***Ріґельман*** Олександр (1720-1789) — український історик німецького походження та російський інженер-ґенерал. Учився в Петербурзі, був відряджений в Україну для топографічно-інженерних робіт. Жив серед запорожців, зводив укріплення, в т. ч. під Києвом. Залишив "Летописное повествование о Малой России...". Це повне і систематичне видання історії України від найдавніших часів до 1787 р. цінне ще й 28 малюнками українського вбрання того часу роботи Т. Калинського.

[24] ***Міллер*** Орест (1833-1889) — російський історик літератури, дослідник народної поезії (представник міфологічної школи), слов'янофіл, професор Петербурзького університету. М. Драгоманов полемізував із міркуваннями його студії "О великорусских былинах сравнительно с малорусскими думами".

[25] ***Немирич*** Юрій (1612-1659) — український шляхтич і великий землевласник, здобув високу освіту в Лейденському та Базельському університетах, соцініанин. На чолі власних хоругов брав участь у війнах Польщі з Московщиною у 1630-х рр. Підкоморій київський, лідер українських протестантів, інтереси яких боронив на соймах і у Люблінському трибуналі. Один із фундаторів Аріанської академії на Волині. Значний політик, він був творцем Гадяцької унії, автором первісного варіанту Гадяцького договору й маніфесту українського уряду до європейських держав (1658), канцлером Великого князівства Руського. Боровся проти козаків за Хмельниччини, потім проти Польщі, Московщини (бився під Конотопом), а 1655 р. перейшов до шведів. Командувачем частини гетьманського війська був убитий на Чернігівщині повстанцями. Автор теологічних праць латиною, виданих за кордоном.

26 ***Шульгін*** Віталій (1822-1878; не Яків, як помилково прокоментовано у "Вибраному" М. Драгоманова 1991 р. видання) — російський історик, професор університету Св. Володимира у Києві, автор підручників і праць із історії України, ворог українського руху.

27 "***Киевлянин***" — російська щоденна чорносотенна газета, заснована 1864 р. у Києві Віталієм Шульгіним для боротьби з "польською інтригою" й "українським сепаратизмом". По смерті Віталія часопис видавали його син Василь — російський шовініст, депутат Державної думи, а перед ним — Д. Піхно. Виходила газета до 1919 р.

Исторические песни малорусского народа с объяснениями В. Антоновича и М. Драгоманова

Першодрук як вступної статті відбувся у збірнику "Исторические песни малорусского народа" (У 2 тт. — К., 1874. — Т. 1), що познайомив світ із творчістю українського народу й значною мірою ним самим та здобув численні схвальні відгуки вчених із Росії та з-за кордону. Двотомник здобув Уваровську премію. Подається за першодруком.

1 ***Ольґерд*** Ґедиминович (1321-1377) — великий князь литовський, який об'єднав литовські, білоруські та значну частину українських земель. Воював із Московщиною, прийняв християнство. Прихильно ставився до української культури, церкви. За його правління українська (руська) мова стала офіційною у Великому князівстві Литовському.

[2] ***Вітольд*** (неточно, — невно, Вітовт, 1350-1430) — великий князь литовський, який прогнав татар, розширив межі держави до Чорного моря, переміг у Ґрюнвальдській битві.

[3] ***Стефан Баторій*** (1533-1586) — семигородський воєвода, у 1576-1586 рр. польський король. Відвоював в Івана Грозного Полоцьк, протистояв магнатам. Продовжував організацію реєстрових козаків, заснував козацький шпиталь у Трахтемирові. Намагався асимілювати Лівобережжя.

[4] ***Гільдебрандт*** Петро (1840-1905) — російський історик, археолог, етнограф, видав працю "Сборник памятников..." (М. Драгоманов випустив у її назві перше слово).

[5] ***Коялович*** Михайло (1828-1891) — російський історик, зокрема дослідник братств і унії, професор духовної Академії у Петербурзі, слов'янофіл.

[6] ***Ржевуський*** Вацлав (1765-1831) — польський громадський діяч, блискучий офіцер, волинський дідич. Мандрував сходом, здобувши в арабів прізвисько "Золотобородий Емір". Після східної подорожі встановив у своєму дворі в подільському Саврані бедуїнсько-кочовий стиль життя з двірськими козаками й музиками-теорбаністами, ввівши відповідну моду серед шляхетської молоді. Організував школу лірників, поклав на ноти українські пісні поета Тимка Падури, який присвятив йому вірш "Золотая Борода" і мріяв бачити його гетьманом краю, визволеного спільними зусиллями поляків і козацьких нащадків. Отаман "Ревуха" (так він зветься у присвяченій йому пісні) очолив загін польських повстанців, але загадково зник у горнилі битви під Дашевом.

[7] ***Стецький*** Тадеуш Єжи (1833-1888) — польський письменник і вчений, автор етнографічно-статистично-історичних розвідок про Луцьк і Волинь, Рівне.

[8] ***Пероговський*** (Перогівський) Василь (1824-1881) — мировий суддя на Волині, автор низки монографій із її історії, етнограф, який записував українські народні пісні.

[9] "***Athenaeum***" — віленський науково-літературний журнал, виходив у міжчасі 1841-1851 рр. під редагуванням Й. Крашевського.

Ученая экспедиция в Западнорусский край

Ця рецензія на семитомне зведення українського фольклору П. Чубинського була вперше надрукована в "Вестнике Европы" (у березневій книжці) 1877 р. за підписом М. Т.-овъ. Увійшла до того ж видання, що й стаття "Малороссия в ее словесності", подається за першодруком.

[1] ***Щапов*** Афанасій (1830-1876) — російський історик, дослідник російського селянства і народних релігійних рухів, Земських соборів і церковного розколу. Засланий на Сибір за революційні симпатії.

[2] ***Чечет*** (Чечот) Ян (1797-1847) — білорусько-польський письменник, і фольклорист, приятель А. Міцкевича, один із засновників товариства "Філоматів". Збирав і навіть сам складав білоруські пісні.

[3] ***Зенькевич*** (Зенкевич) Ромуальд (?-1868) — білоруський етнограф, укладач збірника "Гмінні пісні пінського люду" (1851), де вміщено зразки й українського поліського фольклору.

[4] ***Кіркор*** Адам Гонорій (1818-1886) — польсько-білоруський археолог (у т. ч. дослідник Поділля і Покуття) й етнограф, публіцист. Історик Литви, Білорусі й України,

автор короткої історії слов'янських літератур, де згадав і українське письменство.

[5] ***Шеін*** (Шейн) Павло (1826-1900) — російсько-білоруський етнограф єврейського походження, збирач пісень, казок, легенд.

[6] ***Носович*** Іван (1788-1877) — білоруський фольклорист та етнограф, укладач "Сборника белорусских пословиц" (опубл. 1869), видавець пісень і загадок.

[7] ***Рахмани, сироїди*** — рахмани, видозмінене брахмани, за українським народним віруванням, блаженні люди, які живуть у раю й не знають ліку часу. Сироїди в народному уявленні — дикі хижі й ворожі племена, які харчуються сирим м'ясом (у карпатських переказах — татаро-монголи).

[8] ***Книга Голубина*** — збірник духовних віршів.

[9] ***Веди*** *(див. примітку 37 до статті "Положение и задачи науки древній исторіи" М. Драгоманова, кн. 1 т. 1 цього видання).* Тут українськими Ведами образно названі народні колядки через їх релігійний характер.

[10] ***Індра*** — первісно найшанованіший бог індійців, верховний у ведійській релігії. Далі поступився місцем Вішну і Шіві.

[11] ***Лель*** — бог кохання у давній слов'янській міфології.

[12] ***"Беседа"*** — слов'янофільський журнал, політичний і науково-літературний, який виходив у Москві на початку 70-х рр. XIX ст.

[13] ***Манджура*** (Манжура) Іван (1851-1893) — український письменник і видатний етнограф. Дійсний член Історико-філологічного товариства при Харківському університеті (з 1877) та Московського "Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии" (з 1891). За життя вийшла його збірка "Степові думи та співи" (за сприяння його родича О. Потебні, 1889) та збірник українських

казок і приказок. Підготував також збірку "Над Дніпром", книжку "Казки та приказки і таке інше". Фольклорно-етнографічні матеріали Манжури друкувалися у збірнику українських пісень В. Антоновича і М. Драгоманова (1875). Листувався з М. Драгомановим.

14 ***Стоянов*** Олександр — український етнограф, член київської Старої Громади. Учителював у Полтаві, з 1878 р. директор Кутаїської гімназії.

15 ***Шишков*** Олександр (1754-1841) — російський державний діяч, міністр освіти, письменник.

16 ***Іконников*** Володимир (1841-1923) — історик, професор Київського університета, голова Історичного Товариства Нестора Літописця, редактор "Университетських известий", автор "Опыта русской историографии" й ін. праць.

Нові українські пісні про громадські справи (1764-1880)

Ця, датована автором 28 вересня 1881 р. автокоментуюча післямова до читачів, — із однойменного женевського видання пісенного українського фольклору, що здобуло позитивні оцінки наукових кіл. Післямова, видрукувана наприкінці тієї книжки, подається за першодруком.

Фатальна вдова

Вперше опубліковано у грудневому числі журналі "Киевская старина" за 1888 р. Підпис — П. К. Друкується за виданням "Розвідки Михайла Драгоманова про українську

народню словесність і письменство" (Т. 2. — Львів, 1900), що вийшло у "Збірнику філологічної секції" НТШ накладом Товариства — як том III збірника. До видання вибраних праць М. Драгоманова в двох і одному томі розвідка не входила.

[1] ***Метлинський*** Семен (?-?) — письменник та етнограф, брат Амвросія. Під псевдонімом С. Родина видав у 1858 і 1864 рр. дві збірки віршів "Мова з України", а під псевдонімом М. Онук — драматичні сцени "Мотря Кочубеївна".

[2] ***Ганенко*** Євген (?-?) — фольклорист, автор статті у часописі "Древняя и новая Россия" за 1875 р.

[3] ***Косівська пісня*** — пісня з м. Косова, нині райцентр Івано-Франківської обл.

Література російська, великоруська, українська і галицька

Вперше надруковано у "Правді" (1873. — №№4-6, 16-19, 21; 1874. — №№1-9) за псевдонімом "Українець", після чого розвідка вийшла ще й окремою відбиткою. Подається за першодруком.

[1] ***Згода між "русинами" і "руськими"*** — мова про редакційну статтю "Правди" під назвою "Чи може у нас бути згода між "русинами" і "русскими" (1873. — №№1-3).

[2] ***"Боян"*** — назва українських музичних товариств XIX — поч. XX ст. у Галичині й на Буковині. Перший "Боян" організовано у Львові 1891 р., далі ще в кількох містах Галичини, а у 1904-1905 рр. — також у Києві, Полтаві. Радянська влада ліквідувала "Бояни".

[3] ***Дідицький*** Богдан — *див. примітку 17 до статті "Антракт з історії українофільства" М. Драгоманова в кн. 1 першого тому цього видання.*

[4] ***"Современная летопись" "Московских ведомостей"*** — щотижневий додаток до московської газети, який виходив у 1863-1871 рр.

[5] ***"Роксолана"*** — драма на популярну в українській літературі тему, автором якої є Гнат Якимович (1831-1878), галицький письменник, священик.

[6] ***Садова*** — чеське село, біля якого пруссаки у 1866 р. перемогли австрійців.

[7] ***Аксакови*** Константин (1817-1860), філолог і історик, та Іван (1823-1886) — громадський діяч, письменник (залишив студію про українські ярмарки) і журналіст — брати, що були у Росії чільними слов'янофілами.

[8] ***"Русская беседа"*** — *див. примітку 7 до вищеназваної статті (там само).*

[9] ***Говорський*** Ксенофонт (?-?) — редактор журналу "Вестник Юго-Западной Руси", великодержавний шовініст, який боровся з польським рухом і з поширенням творів Т. Шевченка серед народу.

[10] ***"Дело"*** — петербурзький журнал, виходив у 1866-1888 рр. за редакцією спочатку Г. Благосветлова, згодом К. Станюковича.

[11] ***"Неделя"*** — *див. примітку 3 до статті "Что такое украинофильство?" М. Драгоманова у кн. 2 першого тому цього видання.*

[12] ***Перевод п. Нечуєм...*** — йдеться про його переклад щедрінської казки "Повість про те, як мужик харчував двох генералів" (опубліковано у "Правді" за 1871 р.).

[13] ***"Слово"*** — мова про "москвофільську" газету, яку Б. Дідицький видавав у Львові з 1861 по 1887 р.

[14] ***"Neue freie Presse"*** — віденська ліберальна газета, виходила з 1864 р.

15 "***Проповіді*** ***Гречулевича*** — Василь Гречулевич (1791-1884), український духовний діяч і письменник, родом із Поділля. Протоієрей, відомий насамперед своїми "Проповедями на малороссийском языке", які виходили окремо у 1849-1856 рр. Друге їх видання (1857) переробив П. Куліш.

16 "***Основа***" — львівська народовська газета початку 70-х рр., речник угодовської українсько-польської політики. Заснував її Ю. Лаврівський, редактори — Т. Леонтович і К. Климкевич.

17 ***Статті*** "***Санкт-Петербургских ведомостей***" — маються на увазі такі з них, як "Славянский съезд в Москве 1867 г. и искажение славянского дела шовинизмом" та надруковане наступного (після вказаного у назві) року "Славянское литературное обозрение".

18 "***Страхопуд***" — гумористично-сатиричні часописи галицьких "москвофілів": у 60-х рр. XIX ст. виходив у Відні (неперіодично), а у 1872-1913 рр. у Львові (з перервами).

19 ***Стебельський*** Володимир (1847-1891) — галицький письменник і публіцист, редактор "Страхопуда" на початку 70-х рр. Спершу народовець, а потім "москвофіл" і врешті полонофіл.

20 ***Поп*** (Поуп) Александр (1688-1744) — англійський поет, автор поем, сатир, "Нарису про критику".

21 ***Віардо-Ґарсія*** Мішель Поліна (1821-1910) — французька співачка, композитор, вокальний педагог. Подруга І. Тургенєва.

22 ***Ральстон*** Вільям (1829-1889) — англійський письменник, фольклорист, знавець міфології, побуту і звичаїв східних слов'ян. Дослідник українського (історичні пісні) й російського фольклору (1872 р. у Лондоні вийшла його праця "The Songs of the Russian People"). В англійській

періодиці друкувалися його статті про збірник українських історичних пісень В. Антоновича і М. Драгоманова та чумацьких пісень. Перекладач українських і російських казок англійською мовою. Був приятелем Драгоманова.

[23] ***Наумович*** Іван — *див. останню примітку до статті "Чудацькі думки про українську національну справу" М. Драгоманова у кн. 2 першого тому цього видання.*

[24] ***Рутенці*** (від латинської назви українців "рутени") — зневажлива назва галицьких українців в Австро-Угорщині, що підкреслює їхню ретроградність і вірнопідданість та є до певної міри відповідником східноукраїнському "малорос". Типи рутенців 60-70-х рр. сатирично зобразив І. Франко в циклі оповідань "Рутенці".

[25] ***Духінський*** Франц (1817-1883) — польський письменник українського походження, творець теорії про туранське (азійське) походження росіян, що виявляється й у мові, й у національних звичках. Проти теорії виступили М. Драгоманов, М. Костомаров і Бодуен де-Куртене.

[26] ***Туран*** — пустинно-степова низовина між Каспійським морем та Паміром.

[27] ***Партицький*** Омелян (1840-1895) — галицький філолог, історик і педагог. Перекладач і дослідник "Слова о полку Ігоревім", автор "Німецько-руського словаря", "Старинної історії Галичини", праць зі слов'янської старовини, дослідник германо-скандинавських впливів у княжі часи, на початку 80-х рр. редактор журналу "Зоря".

[28] ***Литава*** — права притока Дунаю, що дала стару назву австрійським землям Передлитавія (Цислейтанія), а угорським — Залитавія (Транслейтанія).

[29] ***Есмань*** — річка на північній Чернігівщині.

[30] ***Митрополита Петра*** — мова про Петра Могилу.

[31] ***Іноземцев*** Федір (1802-1869) — лікар у Росії, винайшов краплі на шлункові хвороби, названі його іменем.

[32] ***Огоновський*** Омелян (1833-1894) — галицький філолог, професор Львівського університету, голова "Просвіти". Автор праць з історії української мови,"Історії літератури руської", історичних драм і підручників.

[33] ***Поль*** Вінценти (1807-1882) — польський письменник-романтик німецького походження з Галичини, географ, який досліджував природу північного сходу Європи, Карпати й ін.

[34] ***Тацит*** — *див. примітку 4 до першої статті т. 1 (кн. 1) цього видання.*

[35] ***Беккарія*** Чезаре (1738-1794) — відомий італійський історик права, прибічник енциклопедистів. У праці "Злочин і кара" (1763) виступив проти смертної кари і тортур.

[36] ***Сміт*** Адам (1723-1790) — англійський економіст, засновник політекономії. Автор "Теорії моральних почувань" і ін. праць, речник індивідуальної свободи людини.

[37] ***Бентам*** Джеремі (1748-1832) — англійський філософ і правник, представник утилітаризму і пацифізму.

[38] ***Гамалія*** Стівен (1743-1822) — філософ-містик, вихованець Київської Академії. Прибічник Новікова.

[39] ***Ґізо*** Франсуа (1787-1874) — французький політик та історик, автор "Історії цивілізації Франції".

[40] ***Тьєррі*** (Тієррі) Оґюстен (1795-1856) — французький історик, автор "Історії завоювання Англії норманами", "Оповідання про часи Меровінгів" й ін. праць.

[41] ***Прескот*** — *див. примітку 50 до статті "Борьба за духовную власть..." у кн. 1 першого тому цього видання.*

[42] ***Маколей*** Томас (1800-1859) — англійський політичний діяч, історик і публіцист. Автор "Історії Англії" у 5 томах.

[43] ***Шлоссер*** (Шльосер) Фрідріх Хрістоф (1776-1861) — німецький історик, автор багатотомної "Всесвітньої історії".

[44] ***Ґервінус*** Ґеорґ Ґотфрід (1805-1871) — німецький історик (автор "Історії XIX в. "). Як літературознавець написав "Історію німецької поезії".

[45] ***Мілль*** — *див. примітку 63 до статті "Положение и задачи науки древней истории" М. Драгоманова в кн. 1 першого тому цього видання.*

[46] ***Боккль*** — *див. примітку 86 до тієї ж статті (там само).*

[47] ***Літтре*** Еміль (1801-1881) — французький письменник, учений-енциклопедист, приятель і популяризатор О. Конта. Автор "Історії французької мови", словника цієї ж мови, праць із медицини тощо.

[48] ***Блан*** Луї (1811-1882) — французький соціаліст, член республіканського уряду, депутат. Автор праць "Історія французької революції", "Організація праці" й ін.

[49] ***Прудон*** П'єр Жозеф (1809-1865) — французький теоретик соціалізму й анархізму. Автор праць "Економічні суперечності або філософія вбогості", "Що таке власність" (характеризував її як крадіжку) тощо.

[50] ***Лайєль*** Чарльз (1797-1875) — англійський природознавець-дарвініст, автор тритомної "Історії геології". Розробив учення про зміни земної поверхні. Президент Геологічного товариства, що в його честь встановило у Лондоні щорічну медаль за наукові осяги.

[55] ***Еркман-Шатріан*** — це псевдонім двох французьких письменників, Еміля Еркмана (1822-1899) й Александра Шатріана (1826-1890), відомих "Історією одного селянина", творами про історію й звичаї Ельзасу.

[56] ***Вінкельман*** Йоган Йоахім (1717-1768) — німецький мистецтвознавець, засновник класичної археології. Автор "Історії мистецтва старовини" — праці, що, перекладена

багатьма мовами, лягла в основу системи сучасного мистецтвознавства. Палкий прихильник античного мистецтва.

57 ***Тен*** Іпполит (1828-1893) — французький філософ, історик і критик, теоретик мистецтва, засновник культурно-історичної школи. Головні праці — "Філософія мистецтва", "Початки сучасної Франції" й ін.

58 ***Рилєєв, коли не помиляюсь, був родом з Чернігівської губернії...*** — насправді з-під Петербурга.

59 ***Кружок Петрашевського*** — ліберальний гурток у Петербурзі, що прагнув до суспільних реформ у самодержавній Росії. Згуртувався довкруг Михайла Петрашевського-Буташевича (1821-1867) — російського громадського діяча українського походження, прихильника Фур'є. Гурток було розгромлено владою, Петрашевського у 1849 р. засуджено на довічну каторгу, де він і помер.

60 Слабосилі поети ***Куліш і Конисський*** — оцінка не цілком слушна; у творчості цих поетів були свої осяги, які М. Драгоманов міг і не знати.

61 ***Амвросій Могила, Ієремія Галка*** — псевдоніми письменників Амвросія Метлинського та Миколи Костомарова.

62 ***Заесманська словесность*** — російська література.

63 ***Один шановний галичанин*** (нижче "один шановний товариш наш") — мова все про кореспондента М. Драгоманова адвоката, громадського діяча і етнографа Мелітона Бучинського (1847-1903). Їх листування видало Наукове товариство ім. Т. Шевченка заходами М. Павлика. Автор "Студій до історії унії".

64 ***Отець Матвій*** — мова про Матвія Константиновського, який мав вплив на М. Гоголя. Тут у множині — реакціонери.

65 ***Міряна проза*** — ритмізована, наближена цим до поетичної мови.

[66] ***Мальчевський, Залеський і т. п. "перекинчики" польсько-української літератури*** (Чайковський, Падура) — мова про представників української школи польської літератури, авторів творів на українські теми Антоні Мальчевського (1793-1828), Богдана Залєського (1802-1886), Міхала Чайковського (Садик-Паша, 1808-1886) й Тимка (Томаша) Падуру (1801-1871).

[67] ***Після Шафариків, Палацьких, Ґаїв, Гавлічків...*** — мова про діячів чехо-словацького національного відродження письменників і вчених Павла Шафарика (1795-1861), Франтішека Палацького (1798-1876), поета, журналіста і громадського діяча Карела Гавлічка-Боровського (1821-1856) та діяча хорватського відродження Людевіта Ґая (1809-1872).

[68] ***Хом'яков*** Олексій (1804-1860) — російський лідер слов'янофільства, автор поезій і трагедій.

[69] ***Язиков*** Микола (1803-1847) — російський поет і слов'янофіл. Його вірш "Нелюдимо наше море" по-українськи переробив П. Грабовський ("Сміло, браття, доки в силі").

[70] ***Кукольник*** Нестор (1809-1868) — петербурзький письменник і видавець українського походження, автор повістей, трагедії "Роксолана".

[71] ***Полєвой*** Микола (1796-1846) — російський письменник, критик і видавець виливового часопису "Московский телеграф".

[72] ***Загоскін*** Михайло (1789-1852) — російський повістяр ("Юрій Милославский", "Аскольдова могила"), драматург і журналіст.

[73] ***Лозинський*** Йосип (1807-1889) — галицький громадський діяч і письменник, автор букваря і граматики. Запропонував для української мови латинську графіку,

якою й видрукував етнографічний збірник "Ruskoje wesile" (1835).

[74] ***Левицький*** Йосип (1801-1860) — священик, який, будучи нагуєвицьким парохом, хрестив немовлям І. Франка (змальований ним в образі о. Квінтіліана у романі "Великий шум"), професор богослов'я і організатор хору в Перемишлі. Письменник і перекладач, автор першої граматики української мови в Галичині (німецькою мовою),

[75] ***Осадця*** (Осадца) Михайло (1836-1865) — український філолог, учень Міклошича. Автор шкільної української граматики етимологічним правописом, що вийшла трьома виданнями у 60-70-х рр.

[76] ***Лавровський*** Петро (1827-1886) — російський славіст та історик, професор слов'янознавства у Харківському університеті, куратор Одеського навчального округу. Досліджував особливості "малорусского наречия", у суперечці М. Максимовича з М. Погодіним стояв на боці останнього.

[77] ***Даль*** Володимир (1801-1872) — російський філолог родом із України, укладач "Толкового словаря живого великорусского языка". Під псевдонімом "Казак луганский" писав оповідання. На українську тему — його казки "Відьма", "Упир", оповідання "Небувале в булому".

[78] ***Захер-Мазох*** Леопольд фон (1836-1895) — австронімецький письменник зі Львова, де його батько був шефом поліції. Цей модний сьогодні галичанин, автор німецькомовних повістей і оповідань із галицького життя, здобув письменницьке ім'я психологічно-сексуальними творами на зразок "Венера у хутрі". Від нього пішов термін "мазохізм". М. Драгоманов у статті "Галицько-руське письменство" критикував його за неправдивість повістей у малюванні "русинів" та еротоманські тенденції.

79 "*В один час малорусину вучитись по-великорусски*" — брошура Б. Дідицького.

80 *Ґверрацці* Франческо Доменіко (1804-1873) — італійський письменник-романтик, діяч революції 1848-1849 рр. Міністр тосканського уряду і член Тріумвірату, він згодом став диктатором Тоскани, потрапив у тюрму. Повернувся, став помітним діячем мадзіністських робітничих організацій. Автор романів "Битва при Беневенто", "Облога Флоренції" (розвинув цим твором ідеологію Рісорджіменто), "Беатріче Ченчі" (1853, російський переклад 1863). Залишив також "Мемуари".

81 *Аверкієв* Дмитро (1836-1905) — російський письменник, автор "Комедії про російського дворянина Флора Скобєєва", мелодрам, "Щоденника письменника".

82 *Стебницький* М. — псевдонім М. Лєскова.

83 *Щирий святоюрець* — тут: "москвофіл".

84 "*Зорі*" — серія читанок для селян. Кілька їх випусків умістили твори Г. Квітки-Основ'яненка, Ю. Федьковича, Я. Головацького, С. Воробкевича, П. Куліша, О. Стороженка й ін. авторів.

85 *Катеринослав* — зараз м. Дніпропетровськ.

86 *Дзєдушицький* (Дідушицький) Войцех (1845-1913) — польський граф, політик і письменник, професор естетики Львівського університету.

87 *Ленартович* Теофіль (1822-1893) — польський поет, автор творів з народного життя й історичних поем.

88 "*У тому примічанню до моєї першої статті...*": йдеться про таку редакційну примітку в "Правді" за 1873 р. (Ч. 4. — С. 158-159):

"Подаючи у перший раз в "Правді" довшу оригінальну статтю нашого друга п. Українця, ми мусимо зараз на початку пояснити мотто, поставлене на чолі своєї праці. Наші читателі легше б його порозуміли, коли б ми

могли були (а в[исоко]поважний автор нехай нам на сей раз буде вибачний, що не можемо, — бо хотіли б ми нинішню статтю, закриваючу поставлене нами недавно питання, подати скоро), коли б ми, отже, були могли перед сим умістити статтю ш[ановного] автора "Народна освіта і література на Україні", прислану нам давніше. Але стаття ся — надто довга, як щоб могла поміститись у 2-х, а хоч-би і 3-х н-рах, і ми думаємо, що ш[ановний] автор не прогнівається на нас, коли її лишимо до дальших н-рів "Правди": для наших читателів вона чи тепер чи пізніше все буде мати велику ціну. Скажемо натепер тільки, що так із сеї згаданої розправи, як і з довшої переписки пізнали ми у нашім приятелю чоловіка з багатим знанням і широким поглядом, але передо всім чоловіка з критичним, на підставі позитивних фактів, а не симпатій або антипатій і бажаній, а ргіогі рішаючим судом — одним словом, чоловіка, якого нашій молодій, самопас, без критики, без ясно витичених доріг блукаючій літературі дуже і дуже потрібно.

"Українець", стоючи, у згаданій розправі ("Народна освіта... і т. д. ") сам на становиську нейтральнім поміж рухом духовим великоруським а українською літературою, що йому яко (далеко не послідньому) публіцисті російському тим легше приходить, заставляє нас самих з його становиська обізріти те все, що у нас, а іменно на Україні, доселі доброго і нездалого зроблено. Широкі — в прикладі до нашої літератури — розміри духовного життя великоруського, у котрім наш автор так, як на домашнім полі обертається, винні тому, що порівняння і роззір у нього виходить у кінці на остру, хоч не безосновну, але все дуже песимістичну критику усього того, що у нас на Україні і в Галичині доселі діялось, а іменно того періоду стагнації, який наступив по живих часах діяння Шевченка

і товаришів, коли ще наша література могла свобідніше дихати на Україні.

Годячись на конечність самокритики для наших літературних прямувань і признаючи ш[ановному] авторові "Народної освіти і літератури..." з його знанням літератур, його студіями подібних нашому прямувань у прочій Європі і широким горизонтом його загального знання, компетентність до такої критики, ми все-таки у довшій переписці полемізували з п. Українцем за його песимізм, виражаючийся таким легковаженням усіх тих невеликих появів життя (мало)руського хоч у нас, хоч і в Росії, котрі задрібні, правда, на те, щоб мали знаменувати дальший поступ "українофільського" напрямку на Україні, а все ж таки доказують, що "українофільство", навіть в Росії, під усею благодаттю цензури і "адміністративних мір", жити не перестало, вижидаючи тільки спосібнішої хвилі, щоби показатись у правдивій своїй силі до життя. У однім такім полемічнім листі назвав один з наших і п. Українця приятелів його критику "безпощадною негацією існуючого вже у нас, котра руйнує, а не будує на сій руїні нічого". Отже против тому закиду (по нашій гадці надто далекосяглому) і другим подібним, які могли б у нас піднестись, — вимірне м о т т о нинішньої розправи. П[ан] Українець признає, що він справді руйнує, — але на те, щоб нам легше було будувати. Позитивні мисли, піднесені ним у нинішній розправі, доказують правдивість сеї гадки найліпше.

Стільки мусили ми сказати для пояснення слів, з якими п. Українець нам подає руку і поміч до нашої праці. Ш[ановні] читателі нехай сказане уважають заразом яко наше передне слово до статті "Народна освіта і література на Україні", котру начнемо также печатати незабаром. — *Ред.*

[89] ***Леже*** Луї Поль (1844-1923) — французький філолог, засновник славістики у країні. Автор статей про Україну, зокрема про Шевченка; перекладач українських казок. Першим у Франції викладав курс української мови у Колеж де Франс. Знав Костомарова, Антоновича і Драгоманова.

[90] ***Рамбо*** Альфред (1842-1905) — французький історик (співредактор "Всесвітньої історії") та політичний діяч, автор праць із історії французько-російських взаємин, учений-українознавець. Учасник III Археологічного з'їзду в Києві (1873). Досліджував українські народні пісні, переспівував кобзарські думи.

[91] ***Гамалія*** Семен (1743-1822) — вихованець Київської академії, член московського масонського гуртка, прибічник Новикова, містик, перекладач.

[92] ***Новиков*** Микола (1744-1818) — російський громадський діяч, письменник і видавець, масон. Заснував першу в Москві бібліотеку. За просвітницьку діяльність був ув'язнений.

[93] ***Григорович*** Дмитро (1822-1900) — російський письменник, автор творів антикріпосницького звучання (повість "Антон Горемика" й ін.). У його літературних "Спогадах" (1892-1893) є згадка про зустрічі з Т. Шевченком.

[94] ***Єретик Гус*** — Ян Гус (бл. 1369-1415), чеський релігійний реформатор, професор богослов'я у Карловому університеті у Празі. Автор 59 проповідей, перекладу писань Д. Вікліфа, викладу Євангелія, релігійних трактатів, побожних пісень. Спалений на вогнищі, після чого у Чехії почалися гуситські війни. Герой поеми "Єретик" Т. Шевченка.

[95] ***Местр Жозеф де*** — *див. примітку 24 до розвідки "Борьба за духовную власть..." М. Драгоманова з першого тому (кн. 1) цього видання.*

[96] ***Шлеґелі*** — брати Авґуст Вільґельм (1767-1845), мовознавець, письменник і перекладач, та Фрідрих (1772-1829), письменник-романтик, критик, філолог та індолог.

[97] ***Балагули*** — гурт правобережних польських поміщиків 1830-1840-х рр., ідентичний до лівобережного товариства "мочемордів". Балагули виявляли свої поверхові симпатії до народу, наслідуючи селянські звичаї, зокрема не найкращі (пияцтво, лайка). "Королем балагулів" називали Антона Шашкевича, якому І. Франко присвятив статтю .

[98] "***Кидала грязюкою на Котляревського і самого Гоголя...***" — мова про "Обзор украинской словесности" П. Куліша, що друкувався в "Основі" (1861).

[99] "***В Полтаві, напр.., усі найголовніші з українофілів зостались цілісінькі...***" — це місце М. Драгоманов пізніше доповнив такою допискою:

"У ч. 2-ім "Правди" за 1874 р., в статті "Література російська, великоруська, українська і галицька", описуючи взаємини між так званими "космополітами" і українофілами в Полтавщині 1861-63 р., я сказав між іншим: "найголовніші з українофілів зостались цілісінькі". Се — помилка, котору вважаю обов'язком поправити. Адміністративні кари зачепили деяких українофілів, як і космополітів. Врешті, діло не в карах, которі діло случайне, а в напрямку, в погляді на насутні праці громадські, в відносинах до усяких шарів громадських — панства, попівства, крестянства і т. п. Ми старались намалювати, як могли, відміни між напрямками т. зв. космополітів і українофілів на Україні 60-х рр. не для того, щоб будити старі непорозуміння, а для того, щоб вияснити минувше і прослужи-

тись до того, щоб старі шкодливі непорозуміння не верталась. *Українець*" ("Правда", 1874, ч. 20 і 21, стор. 817-872).

Під розумнішим із українофілів М. Драгоманов мав на увазі соціолога О. Строніна.

100 ***Всхідня війна 1854-1856 рр., погром 1847 р.*** — мова про Кримську війну і розгром Кирило-Мефодіївського братства.

101 "***Сидить Абдул, губи надув...***" — цитата з вірнопіддансько малохудожнього вірша П. Гулака-Артемовського "На победы русских над турками".

102 ***Макулатури Шевченка*** — мова про епігонське наслідування його манери.

103 ***Стороженко*** Олекса (1805-1874) — український письменник. Визнавши його природний хист, М. Драгоманов скритикував його за відданість уже задавненим "часам гофманівщини" (тобто архаїчній романтичній манері у дусі німця Е. Т. А. Гофмана). Під твором "Убогий Марко" мається на увазі повість "Марко Пароклятий".

104 "***Опанас Крутъ***", "***Новий чоловік***" ц. Нечуя... — це відповідно оповідання "Рибалка Панас Крутъ" та друкована під цією назвою у "Правді" за 1873 р. частина роману "Хмари".

105 "***О простонародності украинской литературы***" — мова про статтю "Простонародность в украинской словесности" (опубл. в першому числі "Основи" за 1862 р.). "Очаківська біда" й "Сіра кобила" — оповідання, а "Півпівника" — дитяча казочка того ж П. Куліша.

106 ***Стронін*** Олександр (1827-1889) — російський громадський діяч, соціолог, арештований і засланий царатом 1862 р. Автор праць "Історія і метода", "Політика як наука". Вплинув на формування М. Драгоманова (був його вчителем у Полтавській гімназії).

[107] ***Шейковський*** Каленик (1835-1902) — український етнограф і педагог, співробітник "Основи", автор "Быта подолян" (1859-1860), "Збірки народних казок і приказок" (1871), "Опыта южнорусского словаря" й українського перекладу "Слова о полку Ігоревім". Засланий?

[108] ***Мороз*** Данило (1841-1894, псевдоніми П. Констянтинович, П. Недоля) — український письменник, чи не найвідоміше оповідання котрого "Безталання" вмістила "Основа", член Київської "Старої Громади", уклав підручник арифметики.

[109] ***Отець Опатович*** — *див. примітку 4 до статті "Антракт з історії українофільства (1863-1872)" у кн. 1 тому 1 цього видання.*

[110] "***Народна просвіта і література на Україні***" — стаття М. Драгоманова, вміщена у "Санкт-Петербургских ведомостях" за 1866 р. під назвою "Народные школы в юго-западном крае".

[111] ***Приказки п. Номиса*** — мова про фольклорне видання "Українські приказки, прислів'я і таке інше" (1864) письменника, етнографа і педагога Матвія Симонова (Номиса, 1823-1900).

[112] ***Шановного очерка п. Нечуя*** — йдеться про студію І. Нечуя-Левицького "Світогляд українського народу в прикладі до сьогочасності".

[113] ***Аріман*** — у зороастризмі злий дух, ворог доброго духа Ормузда; батько брехні, джерело темряви і смерті.

[114] "***Основа***" (основана на гроші великоруса) — мова про щедре спонсорство росіянина Н. Катеніна, родича видавця журналу В. Білозерського.

[115] "***Мета***" — народовський літературно-науковий місячник, який у Львові в указані роки видавав кулішівкою Ксенофонт Климкович.

116 "***Казки*** *п. Рудченка* — збірник Івана Рудченка (псевдонім Білик, 1845-1905), українського етнографа (видавця, крім казок, іще й чумацьких пісень), письменника — співавтора з братом Панасом Мирним роману "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" й повісті "За водою".

117 "***Пісні***" *п. Лисенка* — мова про "Збірник українських пісень" (1869) батька української музики Миколи Лисенка (1842-1912)

118 ***Обруситель з татарського роду*** — князь Ширинський-Шахматов, попечитель Київського навчального округу.

119 ***Бейстова політика*** — йдеться про внутрішню політику в Австро-Угорщині, пов'язану з діяльністю Фр. Бейста (1809-1886).

120 ***П. Руський*** (насправді не Руський, а Русин) — це псевдонім згаданого вище Василя Білозерського.

121 ***Качала*** Степан (1815-1888) — галицький священик і політик (депутат віденського парламенту і галицького сейму), народовець, оборонець рівноправності українців із поляками. Член-засновник товариства ім. Т. Шевченка і "Галицько-руської Матиці". Представляв українців на слов'янському з'їзді у Празі. Автор популярних брошур та "Короткої історії Руси" (1884).

122 "***Січ***" — віденське студентське товариство.

123 "***Перший період козаччини***" — назва праці П. Куліша. вміщеної у "Правді" за 1868 р.

124 ***Геббель*** Фрідрих (1813-1863) — німецький драматург, автор "Юдити" й ін. п'єс.

125 ***Ґрот*** Клаус (1819-1899) — нижньонімецький поет, автор збірки "Quickborn". Був професором німецької мови і літератури в Кільському університеті.

[126] ***Консієнс (Консіанс, Консіанс)*** Гендрік (1812-1883) — голландський письменник, здебільшого писав селянські повісті з фламандського життя.

[127] ***Матейко*** Ян (1838-1893) — польський художник, майстер історичного жанру ("Проповідь П. Скарги", "С. Баторій під Псковом", "Бій під Ґрюнвальдом", "Ян Собєський під Віднем" і ін.).

[128] ***Бона*** Сфорца (1494-1558) — королева Речі Посполитої, друга дружина польського короля Зиґмунда Старого. Запросила до Польщі гуманістів, сприяла розвитку культури. Її ім'ям названо гору в українському Крем'янці на Волині.

[129] ***Мей*** Лев (1822-1862) — російський поет, драматург і повістяр, переклав поезії Т. Шевченка.

[130] "***Стоглав***" — постанови церковно-державного собору в Московії з 1551 р. (названі так тому, що складалися зі 100 глав).

[131] ***Григор'єв*** Аполлон (1822-1864) — російський поет і літературний критик, близький до слов'янофілів. Автор громадської лірики. поеми "Вгору по Волзі". Автор статті про Т. Шевченка (1861), де назвав його "першим великим поетом нової великої літератури слов'янського світу".

[132] ***Фет*** Афанасій (1820-1892) — російський поет єврейсько-німецького походження; його ліричні твори вельми музичні.

[133] ***Тредьяковський*** Василь (1703-1769) — російський письменник і філолог, підносив цінність народних пісень, обстоював правописну реформу.

[134] ***Царство Польське*** — "підросійська" частина поділеної натрое Польщі

[135] ***Гончаров*** Іван (1812-1891) — російський письменник, автор повістей "Обломов" і "Обрыв".

[136] "***Фармазони***" — комедія Ю. Федьковича.

137 "***Révue des deux Mondes***" ("Огляд двох світів") — один із найповажніших літературних журналів у Франції, виходив із 1831 р.

138 ***Гогенварт*** — *див. примітку 19 до статті "Турки внутренние и внешние" (т. 1, кн. 1).*

139 ***Ілоти*** — землеробці у стародавній Спарті, були власністю держави, неодноразово повставали.

140 ***Пейпус*** — Чудське озеро на межі Росії з Естонією.

141 ***Магницький*** Михайло (1778-1855) — російський діяч-реакціонер, один із натхненників "Священного союзу".

142 ***Загірний*** Никола — псевдонім С. Качали.

Українське письменство 1866-1873 років

ПРИМІТКИ

Уперше надруковано по-українськи у "Літературно-науковому віснику" (1902. — Т. 20. — Ч. II) — саме у такому літературно-науковому виданню-ревю, про появу якого на Україні мріяв Драгоманов. Переклав розвідку з російської мови М. Павлик. Публікацію І. Франко спорядив такою зауважою: "Отся праця написана була в кінці 1873 або в початку 1874 р. ц[ід] н[азвою] "Очерки новейшей литературы малорусского наречия"; перша її половина була надрукована в вересневій книжці "Вестника Европы" за 1874 р. з увагою: "Окончание будет". Докінчення було також уже набране, але цензура вирізала всю першу половину праці і зробила неможливим друкування цілості. Недовго перед своєю смертю пок[ійний] Драгоманов прислав мені сю вирізку з "Вестника Европы" та коректурні листи другої часті з пододаваними декуди на маргінесах своїми увагами; все те подаю тут перекладом на нашу мову, не зміняючи ніде тексту, який треба вважати документом тодішніх поглядів пок[ійного] письменника."

Подається за ЛНВ.

[1] ***Подушка*** Іван, ***Павлусь*** — *див. перші коментарі до статті "Антракт в історії українофільства (1863-1872)" М. Драгоманова, кн. 1 першого тому.*

[2] ***Ратай Павло*** — псевдонім П. Куліша.

[3] ***Носенко*** — Павло Білецький-Носенко (1774-1856), український письменник і філолог.

[4] ***Брізе*** Жульєн (1806-1858) — французький поет, перекладач "Божественної комедії".

[5] ***Люзель*** Франсуа Марі (1821-1895) — французький письменник, професор, фольклорист. Опублікував "Оповідання Нижньої Бретані".

[6] ***Західноруські діалекти, білоруський і український*** — попри вимушене (через розрахунок на підцензурний друк) і ситуативне користування М. Драгомановим загальноприйнятим у Росії до 1905 р. визначенням самостійних мов як діалектів, царська цензура все одно вилучила статтю.

[7] "***Дещо про світ божий***" — географічне видання, що вперше вийшло у Києві 1863 р. заходами і коштом місцевого студентського гуртка.

[8] ***Матузаїлів вік*** — згаданий у Біблії гебрей Мафусаїл буцімто жив 969 років. У переносному сенсі так характеризують довгожителів.

[9] "***Марьина роща***" — твір Василя Жуковського.

[10] ***Славні рескрипти 20-ого листопаду 1857 р.*** — ідеться про повеління Олександра II створити губернські комісії для аграрної реформи.

[11] "***Ініціатива пішла від українського письменника***" — йдеться про О. Кониського.

[12] "***Ганнуся***" — опера Г. Лядави (1870).

[13] ***Константинович*** — Мороз Д.

[14] "***Способи творива часів Правдолюбових, Негодяєвих..., суздальських образків "Страшного суду" або "Миші кота хоронять***" — мова відповідно про чорно-білу

манеру творення характерів у літературі доби класицизму в Росії та про лубочні малюнки для простолюду.

15 "*До світа*" — оповідання О. Конисського, точна назва якого "Перед світом".

16 "*Панургові стада*" — мова про бульварного ґатунку роман "Панургові стада" російського автора Вс. Крестовського.

17 "*Пан Комарчук*" *Данила Медівника* — *див. примітку 19 до статті "Антракт з історії українофільства (1863-1872)" кн. 1 першого тому цього видання.*

18 "*Украинский вестник*" — перший в Україні літературно-художній, науковий і громадсько-політичний журнал. Виходив щомісяця у Харкові 1816-1819 рр. за редакцією Є. Філомафітського, Р. Гонорського, Г. Квітки-Основ'яненка.

19 "*Світогляд українського народу відносно до сучасності*" — точна назва статті "Світогляд українського народу в прикладі до сьогочасності".

20 "*Вечір перед різдвом*" — у дійсності "Ніч перед різдвом".

21 *Замойські, Чарторийські* — польські впливові і маєтні магнатські родини.

22 "*Русский человек добро помнит*" *и* "*Жизнь за царя*" — офіціозні вистави. В основі, наприклад, другої з них — монархічний твір Ф. Розена, що став джерелом для опери "Іван Сусанін" М. Глинки.

23 *Міклошич* Франьо (1843-1891) — один із найбільших славістів XIX ст. і творець у цій науці порівняльно-історичної школи (з неї повиходили українські вчені Осадца, Огоновський, Смаль-Стоцький — учні цього професора Віденського університету), за походженням словінець. Видавець давньоукраїнських пам'яток; одним із перших довів самостійність української мови. Автор "Етимологічного словника слов'янських мов", їх порівняльної граматики та ін. Методологія Міклошича визна-

чила характер українського мовознавства в Галичині й на Буковині до самої появи структуралізму.

[24] ***"Казка"*** д. Нечуя — йдеться про казку "Запорожці", "Новий чоловік" — "ідеологічний герой роману "Хмари" українофіл Павло Радюк.

[25] ***Майков*** Василь (1728-1778) — російський поет-псевдокласицист, перекладач Овідія і Вергілія.

[26] ***Аскоченський*** Віктор (1813-1879) — журналіст і історик, автор "Історії Київської духовної академії".

[27] ***Жертвування доньки Єфаєм*** — ізраїльський князь Єфай (Єфтай) приніс у жертву Богу власну доньку, бо склав таку обітницю. Цей біблійний сюжет успішно опрацювали в українській літературі М. Старицький, Леся Українка.

[28] ***Лафонтен*** Жан (1621-1695) — французький байкар, який мав значний вплив на світове байкописання.

[29] ***Трутовський*** Кость (1826-1893) — український художник і графік, професор Мистецької школи у Москві. Автор реалістичних полотен із поміщицького і селянського життя України, ілюстратор творів, окрім Крилова, М. Гоголя, Т. Шевченка, Марка Вовчка.

[30] ***Кракус*** — легендарний польський король, який заснував Краків.

[31] ***Любуша*** — легендарна чеська княгиня, котра провістила Празі славу.

[32] ***Кельсієв*** Василь (1835-1872) — російський публіцист, політемігрант, близький до О. Герцена. Здався російській владі, написавши покаянну книжку спогадів "Пережитое и передуманное".

[33] ***Манеру часу "Певца в стане руських воинов" та "Светланы"*** — романтичну у дусі В. Жуковського, автора названих творів.

ЗМІСТ

МАЛОРОССИЯ В ЕЕ СЛОВЕСНОСТИ 3

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ
МАЛОРУССКОГО НАРОДА 68

УЧЕНАЯ ЭКСПЕЛИЦИЯ
В ЗАПАДНОРУССКИЙ КРАЙ 91

НОВІ УКРАЇНСЬКИ ПІСНІ
ПРО ГРОМАДСЬКІ СПРАВИ (1764-1880) 124

ФАТАЛЬНА ВДОВА
(КАРНО-ПСИХОЛОГІЧНА ТЕМА
В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ ПІСНІ 133

ЛІТЕРАТУРА РОСІЙСЬКА, ВЕЛИКОРУСЬКА,
УКРАЇНСЬКА І ГАЛИЦЬКА 151

УКРАЇНСЬКЕ ПИСЬМЕНСТВО 1866-1873 РОКІВ 326

ПРИМІТКИ 406